Максим Гуреев
Жить между двумя островами
Биография: опыт прочтения
Иосиф Бродский
ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Новая биография русского поэта и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Биографический жанр – особый. Факты, события, сменяющие друг друга, попытка реконструировать жизнь поэта сама по себе абсурдна, на первый взгляд, однако писатель Максим Гуреев, с присущей ему деликатностью, сумел из Мифа сотворить Легенду… Максим Гуреев закончил филфак МГУ и семинар прозы Андрея Битова в Литинституте. Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь». Режиссер документального кино, автор более 60-ти картин. Член русского ПЕН-центра.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Максим Александрович Гуреев

Иосиф Бродский. Жить между двумя островами
Я хочу, чтобы вы отметили различие
между устрашающим и трагическим.
Иосиф Бродский

© М.А. Гуреев, 2017
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017

* * ***Коммос**

В древнегреческой трагедии скорбный плач, который играет роль кульминации и одновременно финального обобщения.

– Мы очень сожалеем о случившемся, но просим вас сконцентрироваться и подробно рассказать о том, что произошло в ночь с 27 на 28 января 1996 года.

– Мне очень трудно сейчас говорить об этом.

– Мы приносим вам свои искренние соболезнования, но нам необходимо соблюсти процедуру и по возможности восстановить ход всех событий этой печальной ночи.

– Хорошо, я постараюсь, но мне очень тяжело, я могу ошибаться.

– Ничего страшного, мы слушаем вас.

– В субботу вечером он собирал рукописи и книги, он готовился к началу семестра.

– Почему господин Бродский этим занимался именно в субботу вечером, ведь занятия начинались только в понедельник, и впереди было еще воскресенье?

– Ну что вы! Он был очень щепетилен в этих вопросах и всегда готовился к занятиям заблаговременно.

– Понятно. Пожалуйста продолжайте.

– Потом, когда все было собрано, он сказал, что ему нужно еще поработать. Он пожелал мне спокойной ночи и поднялся к себе в кабинет.

– В поведении господина Бродского было что-то необычное, как вам показалось?

– Нет, пожалуй, все было как всегда. Хотя, конечно, он выглядел усталым, очень усталым…

– Почему?

– В последнее время он плохо себя чувствовал. Он мне не говорил, конечно, но я видела это.

– Вы говорите о его душевном состоянии или физическом?

– Я говорю о его больном сердце…

– Что было потом?

– А потом я обнаружила его только утром, мне невыносимо тяжело об этом вспоминать…

– Вы слышали ночью какой-то шум?

– Нет.

– Нет – вы его не слышали, или этого шума не было?

– Я не слышала, я спала.

– Мы понимаем, что вам трудно, но просим вас подробно рассказать о том, что вы увидели, когда утром вошли в кабинет господина Бродского. Это очень важно.

– Иосиф лежал на полу. Он был полностью одет.

– Значит, он не ложился спать, не собирался ложиться?

– Получается, что так.

– Скажите, как он лежал: лицом вниз или вверх?

– Не могу точно сказать, кажется, лицом вверх, а его очки лежали на столе рядом с книгой.

– Что это была за книга?

– Греческие эпиграммы.

– Прибывший на место происшествия утром 28 января наряд полиции показал, что тело господина Бродского лежало лицом вниз, а его очки разбились. Как бы вы это могли объяснить?

– Не знаю…

– Вы переворачивали тело до приезда полиции?

– Нет… я не помню… это ужасно…

– Мы сочувствуем вам, но еще один очень важный вопрос – ночью 27 января господин Бродский совершал телефонные звонки кому-либо?

– Нет, не совершал.

– А мы располагаем информацией, что господин Бродский звонил господину Барышникову. Что вы знаете об это звонке?

– Ничего не знаю! Оставьте меня в покое! Я сказала вам все, что смогла вспомнить! Мне очень тяжело сейчас, вы это можете понять?

– Конечно, мэм, конечно, можем. Но мы всего лишь делаем свою работу.

1 февраля 1996 года в Епископальной приходской церкви Благодати в Бруклине прошло отпевание Иосифа Бродского. На следующий день гроб с телом покойного был временно помещен в склепе, расположенном на кладбище при храме Святой Троицы, что на берегу Гудзона, где он находился до июня 1997 года.

21 июня 1997 года тело поэта было перезахоронено на протестантской части кладбища Сан-Микеле, расположенного на острове имени Святого Михаила Архангела в Венецианской лагуне.

На деревянном кресте было написано – Joseph Brodsky.

Впоследствии крест был заменен каменным памятником в античном стиле, изображение креста на котором предусмотрено не было.

Joseph Brodsky.
Stockholm.
1987.
Nobel lecture:

«Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться, что называется, "урби эт орби" с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.

Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что – по причинам прежде всего стилистическим – писатель не может говорить за писателя, особенно – поэт за поэта; что, окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Оден, они невольно бы говорили за самих себя, и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость. Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда меньшей, чем любая из них, в отдельности. Ибо быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были, заставляют меня часто – видимо, чаще, чем следовало бы – сожалеть о движении времени. Если тот свет существует – а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой – если тот свет существует, то они, надеюсь, простят мне и качество того, что я собираюсь изложить: в конце концов, не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится…».

Лекция длится 29 мин 57 секунд.

Затем под аплодисменты Joseph Brodsky сходит с трибуны.

Хор тоже покидает орхестру вслед за сыном Эсона и Полимеды, предводителем аргонавтов Ясном:

Никто никогда не знает, что боги готовят смертным.

Они способны на все: и одарить несметным,

и отобрать последнее, точно за неуплату.

оставив нам только разум, чтоб ощущать утрату.

Многоязыки боги, но с ними не договориться,

Не подступиться к ним, и от них не скрыться:

боги не различают между дурными снами

и нестерпимой явью.

И связываются с нами.

По крайней мере так это описано в Прологе и Хорах из трагедии Еврипида «Медея», переводом которых Иосиф Александрович Бродский занимался незадолго до своей смерти.

Эписодий Первый

В древнегреческой драме эписодий представляет собой речевую сцену, расположенную между партиями хора, равнозначен явлению в новой драме.

1984 год. Литейный проспект. Дом № 24. Квартира № 28.

Посреди комнаты на стуле сидит пожилой человек и смотрит программу «Время».

Диктор Вера Шебеко зачитывает медицинское заключение о болезни и причине смерти Председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Владимировича Андропова, скончавшегося в возрасте 69-ти лет 9 февраля 1984 года в 16 часов 50 минут.

Пожилой человек думает о том, что он старше Андропова на 11 лет, и вот его – Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя КГБ СССР уже нет, а он еще жив.

Потом начинается показ траурных митингов, на которых трудящиеся страны произносят торжественные слова, опускают глаза долу, замирают в скорбном молчании под гудки заводских сирен.

Пожилой человек подходит к телевизору и выключает его. В комнате, разгороженной декоративной стеной, наступает тишина.

Вернее сказать, в полутора комнатах, что получились в результате этой замысловатой выгородки, наступает давящая тишина, которую усиливают мавританского стиля буфеты из

черного лакированного дуба. Они уходят куда-то под потолок, словно пытаются прорасти к соседям сверху (те не знают об этом). Они напоминают небоскребы в Нью-Йорке, которые пожилой человек, разумеется, никогда не видел, но их ему показывали в передаче «Международная панорама».

В недрах этих циклопических размеров сооружений из черного лакированного дуба хранится вся прежняя жизнь и даже та жизнь, которая была до нее, до прежней.

Доисторическая жизнь, то есть.

Список предметов (они же музейные экспонаты) может выглядеть следующим образом и, что понятно, всегда будет требовать своих дополнений:

– старые фотоаппараты – ФЭД-НКВД, «Москва-4», «Зенит-С», «Салют»

– кюветы и бачки для проявки и печати снимков

– фотоувеличители «Ленинград» и «Нева»

– старые журналы «Огонек»

– посуда, фарфор

– белье, скатерти

– серебряные бритвы «Золинген»

– красные фотофонари

– обувные коробки с ботинками, в которые вставлены деревянные колодки

– инструменты

– старые морские кители

– бинокли, объективы

– шляпы, фуражки

– кинопроектор «Veimar 3» для пленки 8 мм

– круглая коробка с целлулоидными и хлопчатобумажными подворотничками

– разноцветные кимоно

– черный гипсовый бюст Ленина

– мраморный бюст женщины в чепце (вероятно, Крупской)

– карманные фонари, по большей части уже не работающие

– коробки с правительственными наградами

– фотографический портрет товарища Сталина, выполненный фотографом Андреем Петровым и по неосторожности залитый чернилами

– папки с почетными грамотами

– книги

– фаянсовые изваяния

…что-то еще, разумеется, но нет ни желания, ни сил вспоминать все это.

Пожилой человек возвращается к стулу, стоящему посреди

комнаты, садится на него и смотрит в потухший экран телевизора, в котором он видит свое мутное, нерезкое отражение.

Рекомендуется далее: Александр Израилевич (Иванович по понятным причинам) Бродский, родился в 1903 году в Петербурге на углу Газа и Обводного канала. В 1924 году окончил географический факультет Ленинградского университета, а затем Институт красных журналистов. В апреле 1940 года был прикомандирован к Политическому управлению 8-ой армии, к армейской многотиражке «Ленинский путь» в качестве фотокорреспондента. Участвовал в боевых действиях с финнами. Приказом Военного Совета Ленинградского военного округа от 15 марта мне была вынесена благодарность как участнику войны за безопасность северо-западных границ СССР и города Ленина.

Моя жена – Мария Моисеевна Вольперт, 1905 года рождения.

Скончалась в прошлом году…

Из автобиографии Марии Вольперт:

«Я родилась в семье мещанина Вольперт Моисея Борисовича в г. Двинске (ныне Даугавпилс). Семья наша состояла из семи человек – отец, мать и 5 детей. Детство мое ничем не отличалось от детства миллионов других детей. Отец работал, мать растила ребятишек. Во время Первой империалистической войны семья наша вынуждена была бежать из Двинска от наступавших тогда немцев, и в качестве беженцев, проскитавшихся на Украине около года, мы переехали в Ленинград».

Александр Израилевич (Иванович) продолжает рекомендоваться: 25 мая 1940 года у нас родился сын, которого мы назвали Иосифом.

Войну я прошел фотокорреспондентом «Известий», ЛенТАСС, а также сотрудничал с газетами «Советская Балтика», «Моряк Балтики», «Северо-Западный водник».

Снимал блокадный Ленинград, а также участвовал в прорыве блокады в начале 1943 года.

В 1944 году от газеты «Известия» перевелся на Черноморский флот. Принимал участие в десанте на Малой земле. Войну закончил в Румынии.

В 1945 году был откомандирован на Дальний Восток, на войну с Японией.

В Ленинград вернулся в 1948 году в звании капитана 3-го ранга и был направлен на работу в Военно-морской музей, где заведовал фотолабораторией.

В 1950 году в ходе ждановских «чисток» офицерского корпуса от лиц еврейской национальности был демобилизован. После 1953 года работал фотографом и журналистом в ленинградских газетах и Балтийском морском пароходстве. Впоследствии

возглавлял общественный факультет фотожурналистики при Ленинградском доме журналистов.

В 1957 году перенес инфаркт…

Наконец, Александр Иванович отрывает свой взгляд от подслеповатого экрана.

Наверное, сюжет о кончине Юрия Владимировича Андропова там уже закончился, и можно включить телевизор.

Так оно и есть – передают прогноз погоды:

– Завтра на Камчатке и на Сахалине –5, –10, возможна метель, штормовой ветер.

В Магаданской области –28, –33.

В Якутии –35, –40 градусов.

В Приморском крае и в Читинской области –2, –7…

Как в Ленинграде.

Впрочем, это и понятно – морской климат.

А что было потом?

А потом Александр Иванович ложился на огромную двуспальную кровать, купленную по дешевке Марией Моисеевной еще в 1935 году, подкладывал руки под голову и смотрел в потолок, украшенный гипсовой лепниной в мавританском стиле, испещренный трещинами и разводами от протечек.

Потолок напоминал карту.

Каждый вечер в это время (под прогноз погоды) по телевизору звучала мелодия «Manchester et Liverpool» (а ведь никто и не догадывался тогда, что эту песню исполняла французская певица и актриса Мари Лафоре), но сегодня этой мелодии, от которой всякий раз хотелось плакать, не было, потому что вся страна скорбела и могла слушать только классические сочинения Чайковского, Глинки, Бородина и Модеста Петровича Мусоргского.

Действительно, потолок напоминает карту мира, и откуда-то оттуда, из самой ее глубины, из сердцевины, из этих трещин, отвалившейся побелки и гипсовой лепнины, вчера позвонил Иосиф.

– Папа, представляешь, – голос сына звучал бодро, и это не могло не радовать отца, – вчера мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что мне нужно отсюда, из Гринвич-Виллиджа, отправиться куда-то на 120-ю или 130-ю улицу. И для этого мне надо сесть в метро. А когда я подхожу к метро, то вдруг вижу, что весь этот Бродвей – то есть отсюда, скажем, Гарлема или даже дальше – поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица внезапно превратилась в жуткий небоскреб. И поэтому метро перестает быть метро, а становится лифтом. И я поднимаюсь куда-то,

ощущая при этом, что Бродвей становится на попа! Ты представляешь?

– Конечно, – отвечал Александр Иванович и даже пытался вообразить себе эту фантасмагорическую картину здесь, в Ленинграде.

– Это было потрясающее зрелище, – звучал голос на другом конце провода. – И доехав таким образом до 120-й улицы, я выхожу из лифта на перекресток, как на лестничную площадку. Это был совершенно новый для меня масштаб сна, папа!

Нет, представить себе такое на Невском абсолютно невозможно, ведь тогда Адмиралтейство нависнет над Александро-Невской лаврой, или, наоборот, Лавра нависнет над Адмиралтейством, и обрушение станет неизбежным, что приведет к многочисленным жертвам и хаосу.

Александр Иванович встает с кровати и проходит во вторую полу-комнату, где раньше он занимался проявкой и печатью фотографий.

К этому занятию своего мужа Мария Моисеевна всегда относилась со сдержанным пониманием, ведь порой фотографирование было единственным источником дохода семьи Бродских. Другое дело, что ей постоянно казалось, что Сашу обманывают и не доплачивают, или что он ее обманывает, а при таком повороте дел семейные ссоры были неизбежны.

Теперь ее нет.

Она умерла в 1983 году, посвятив последние одиннадцать лет своей жизни бесполезным попыткам встретиться со своим сыном.

Она писала письма, посещала ОВИРы, снова писала письма, кому-то звонила, с кем-то встречалась.

Конечно, она знала, что существует такое письмо:

«Дорогая мама!

Это письмо официально подтверждает, что я приглашаю приехать тебя ко мне в Соединенные Штаты следующей весной. Я хотел бы, чтобы ты приехала на месяц, то есть на четыре недели где-нибудь в марте. Я оплачу твои дорожные расходы, а также твои расходы во время твоего пребывания здесь, в Соединенных Штатах. Разумеется, ты будешь жить со мной в Анн-Арборе, Мичиган, месте моего пребывания. Это письмо является частью официального приглашения, или вызова, требуемого ОВИРом».

А еще она уже знала, что больна, но надежды не теряла и до последнего дня была уверена, что увидит своего Иосифа.

Из эссе Иосифа Александровича Бродского «Полторы комнаты»:

«Несмотря на девичью фамилию (сохраненную ею в браке), пятый пункт играл в ее случае меньшую роль, чем водится, из-за

внешности. Она была определенно очень привлекательна североевропейским, я бы сказал, прибалтийским обликом. В некотором смысле это было милостью судьбы: у нее не возникало проблем с устройством на работу. Зато она и работала всю сознательную жизнь. По-видимому, не сумев замаскировать свое мелкобуржуазное происхождение, она вынуждена была отказаться от всякой надежды на высшее образование и прослужить всю жизнь в различных конторах секретарем или бухгалтером. Война принесла перемены: она стала переводчиком в лагере для немецких военнопленных, получив звание младшего лейтенанта в войсках МВД. После капитуляции Германии ей было предложено повышение и карьера в системе этого министерства. Не сгорая от желания вступить в партию, она отказалась и вернулась к сметам и счетам. “Не хочу приветствовать мужа первой, – сказала она начальству, – и превращать гардероб в арсенал”. Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса – мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом. За исключением Кисы все они были ласкательными производными от ее имени Мария. Киса, эта нежная кличка кошки, вызывала довольно долго ее сопротивление. “Не смейте называть меня так! – восклицала она сердито. – И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!” Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению… Имя Киса все-таки к ней пристало, в особенности когда она совсем состарилась. Круглая, завернутая в две коричневые шали, с бесконечно добрым, мягким лицом, она выглядела вполне плюшевой и как бы самодостаточной. Казалось, она вот-вот замурлычет. Вместо этого она говорила отцу: „Саша, заплатил ли ты в этом месяце за электричество» Или, ни к кому не обращаясь: “На следующей неделе наша очередь убирать квартиру”. И это значило мытье и натирку полов в коридорах и на кухне, а также уборку в ванной и в сортире. Ни к кому не обращалась она потому, что знала: именно ей придется это проделать».

Нет, Александр Иванович уже давно не фотографировал, не проявлял пленку и не печатал фотографии.

Вполне возможно, что и заблуждался на сей счет, но твердо находил это занятие избыточным и в высшей степени бессмысленным в его годы. Все уже давно снято, право, зачем смешить людей и бегать перед ними с фотографическим аппаратом, пусть этим занимаются молодые, которым он передал

свой богатый опыт. Без остатка!

Каждый следующий день Бродского-старшего был похож на предыдущий, и в этом он видел смысл своего нынешнего существования – соблюдение режима, то, чему его всю жизнь учили на службе, то, чему он потом учил других.

Сына, в первую очередь…

Сейчас он садится в кресло рядом с письменным столом, на котором теперь вместо печатной машинки Иосифа стоит ламповый электрофон «Юность».

Здесь же стопка пластинок: «Черноморская песня», «Лунный вечер», «Иоланта», «Чико-Чико но Фуба», «Песни советских композиторов», «Евгений Онегин», «Рождественская оратория» Баха.

Когда они жили вместе, почему-то именно Бах вызывал особенное его раздражение. Может быть, потому что ритм той жизни был совершенно другим, а «Рождественская оратория» настойчиво требовала остановиться, перевести дыхание, успокоиться, увидеть то, что было скрыто от взгляда пожелтевшими от времени пачками газеты «Правда» и «Красная звезда». Это, разумеется, возмущало, воспринималось как неуместный дидактизм и заканчивалось скандалом, потому что Иосиф наотрез отказывался выключать эту невыносимую музыку.

Конечно, иногда приходилось прибегать и к услугам ремня. Особенно когда сын остался на второй год, получив двойки по точным наукам и английскому.

Отец понимал, что Иосиф сделал это специально, но не понимал, зачем он это сделал специально.

Как, например, не понимал, зачем его сын написал это:

Вижу колонны замерших звуков,

гроб на лафете, лошади круп.

Ветер сюда не доносит мне звуков

русских военных плачущих труб.

Вижу в регалиях убранный труп:

в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей,

блеском маневра о Ганнибале

напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо в опале,

как Велизарий или Помпей.

Теперь, когда они уже давно не виделись, и надежда на то, что им вообще суждено увидеться, таяла с каждым днем, Александр Иванович приходил к такому убеждению: в том, что он не мог понять своего сына, не было ничего страшного, непереносимого и преступного. Это было естественно, потому как хоть они и были родными людьми, они были разными людьми.

Конечно, жаль, что он понял это так поздно.

И вот теперь отец включает электрофон «Юность» и ставит на него «Рождественскую ораторию».

Из интервью Иосифа Бродского:

«В принципе я думаю, что… просто я был частью его, по сути я – это он. Отец был человеком принципа “или – или”, как, впрочем, и все их поколение. Мы же себя очень уважаем за то, что мы люди нюансов. Нам кажется, что мы больше понимаем, больше знаем, что мы лучше чувствуем и т. д. В то время как, если уж говорить совершенно серьезно, то вот эти их “или – или” включали в себя всю ту амплитуду, которую мы артикулируем очень подробно и детально, но это и приводит нас к такому, как бы сказать, состоянию полной импотенции по отношению к действительности. А те люди при всем том, могли совершать какие-то выборы. Отец, например, не был ни членом партии, всего этого “добра” он не терпел, просто не выносил. И еще он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался, всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать генетический момент, кровный. Я действительно думаю, что “он” – это я. Ведь пока они живы, мы думаем, что мы – другие, что мы – это что-то самостоятельное, а мы на самом деле – часть той же самой

ткани».

Музыка звучит ровно, накатывает волнами, и Александр Иванович засыпает, сидя в кресле.

Ему снится сон, будто он в сумерках переходит Дворцовый мост.

Проезжая часть пуста, и поэтому можно безбоязненно идти к колоннаде Военно-морского музея мимо мигающих светофоров. Совершенно непонятное время года – то ли ранняя весна, то ли солнечная теплая осень, из тех дней, которые в Ленинграде можно пересчитать по пальцам одной руки.

Он поднимается по лестнице и видит Иосифа с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и пистолетом в кобуре на правом боку. Сын открывает отцу огромную двустворчатую дверь, и они входят в здание музея. Однако, оказавшись тут, он не обнаруживает хорошо знакомых ему экспонатов. На самом же деле Иосиф вводит отца в Парфенон, где из-за колоннады появляется хор, который движется слева направо и исполняет строфу из Пролога к «Антигоне»:

Никто никогда не знает, откуда приходит горе.

Но потому что нас окружает море,

на горизонте горе заметней, чем голос в хоре.

Оно приходит в Элладу чаще всего с Востока.

Волны податливы, и поступь его жестока.

Оно находит дорогу, ибо оно стооко.

Но будь оно даже слепо, будь освещенье скудно,

горю дорогу в море к нам отыскать нетрудно,

ибо там наследило веслами наше судно.

– Ты же знаешь, как я люблю в музее ту часть экспозиции, которая посвящена парусному флоту, – обращаясь к сыну, говорит

Александр Иванович.

– Конечно, папа, знаю, – отвечает с улыбкой Иосиф и тут же начинает перечислять: – Модель английского 50-пушечного фрегата «Седжмур», модель 20-пушечного шлюпа «Солебей», модель яхты «Дружба» 1826 года, модель 25-баночной галеры «Двина», модель гребного фрегата «Евангелист Марк», модель Сиракузской трехмачтовой пентеры…

А потом отец и сын возвращаются домой. По пути они заходят в магазины, покупают продукты, а также фотопринадлежности – пленку, реактивы, фотобумагу.

Наконец, Иосиф и Александр Иванович останавливаются перед Домом книги на Невском.

Переглядываются.

– Зайдем?

– Зайдем…

И вот Иосиф в мундире капитана 3-го ранга с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и пистолетом в кобуре на правом боку поднимается по парадной лестнице магазина на второй этаж, туда, где продаются книги по искусству. Он выбирает альбом фотографий Миши Барышникова и вручает его отцу.

Александру Ивановичу снится, как он смотрит фотографии Барышникова, на которых изображен его сын. Ему нравится работа фотографа, ведь он сам фотограф и прекрасно чувствует руку мастера, но при этом он решительно не понимает, почему на этих карточках его сын такой старый и лысый.

Он резко оборачивается к Иосифу:

– Скажи честно, ты продолжаешь смолить как паровоз?

– Да, отец, – звучит в ответ, – продолжаю.

– Это очень плохо, врачи запретили тебе курить, – лицо отца мрачнеет.

– Да, я знаю, но…

– Нет, Иосиф, дело даже не в том, что ты огорчил меня, и не в том, что ты не выполняешь предписания врачей, а в том, что ты сейчас очень огорчил нашу маму…

Александр Иванович открывает глаза.

Игла уже давно зависла над остановившейся пластинкой «Рождественская оратория» И.-С. Баха.

А ведь этот электрофон, кажется, был приобретен вместо радиоприемника «Филипс», чей удел оказался незавиден…

Из эссе Иосифа Бродского «Трофейное»:

«Когда мне было двенадцать лет, отец, к моему восторгу, неожиданно извлек на свет божий коротковолновый приемник. Приемник назывался “филипс” и мог принимать радиостанции

всего мира – от Копенгагена до Сурабаи. Во всяком случае, на эту мысль наводили названия городов на его желтой шкале. По меркам того времени “филипс” этот был вполне портативным – уютная коричневая вещь 25х35 см, с вышеупомянутой желтой шкалой и с похожим на кошачий, абсолютно завораживающим зеленым глазом индикатора настройки. Было в нем, если я правильно помню, всего шесть ламп, а в качестве антенны хватало полуметра простой проволоки. Но тут и была закавыка. Для постового торчащая из окна антенна означала бы только одно. Для подсоединения приемника к общей антенне на здании нужна была помощь специалиста, а такой специалист, в свою очередь, проявил бы никому не нужный интерес к вашему приемнику. Держать дома иностранные приемники не полагалось – и точка. Выход был в паутинообразном сооружении под потолком, и так я и поступил.

Конечно, с такой антенной я не мог поймать Братиславу или тем более Дели. С другой стороны, я все равно не знал ни чешского, ни хинди. Программы же Би-би-си, “Голоса Америки” и радио “Свобода” на русском языке все равно глушились. Однако можно было ловить передачи на английском, немецком, польском, венгерском, французском, шведском. Ни одного из них я не знал. Но зато по “Голосу Америки” можно было слушать программу “Time for Jazz”, которую вел самым роскошным в мире бас-баритоном Уиллис Коновер.

Этому коричневому, лоснящемуся, как старый ботинок, “филипсу” я обязан своими первыми познаниями в английском и знакомством с пантеоном джаза. К двенадцати годам немецкие названия в наших разговорах начали исчезать с наших уст, постепенно сменяясь именами Луиса Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Клиффорда Брауна, Сиднея Беше, Джанго Райнхардта и Чарли Паркера. Стала меняться, я помню, даже наша походка: суставы наших крайне скованных русских оболочек принялись впитывать свинг. Видимо, не один я среди моих сверстников сумел найти полезное применение метру простой проволоки. Через шесть симметричных отверстий в задней стенке приемника, в тусклом свете мерцающих радиоламп, в лабиринте контактов, сопротивлений и катодов, столь же непонятных, как и языки, которые они порождали, я, казалось, различал Европу. Внутренности приемника всегда напоминали ночной город, с раскиданными там и сям неоновыми огнями. И когда в тридцать два года я действительно приземлился в Вене, я сразу же ощутил, что в известной степени я с ней знаком. Скажу только, что, засыпая в свои первые венские ночи, я явственно чувствовал, что меня выключает некая

невидимая рука где-то в России.

Это был прочный аппарат. Когда однажды, в пароксизме гнева, вызванного моими бесконечными странствиями по радиоволнам, отец швырнул его на пол, пластмассовый ящик раскололся, но приемник продолжал работать. Не решаясь отнести его в радиомастерскую, я пытался, как мог, починить эту похожую на линию Одер – Нейсе трещину с помощью клея и резиновых тесемок. С этого момента, однако, он существовал в виде двух почти независимых друг от друга хрупких половинок. Конец ему пришел, когда стали сдавать лампы. Раз или два мне удалось отыскать, через друзей и знакомых, какие-то аналоги, но даже когда он окончательно онемел, он оставался в семье – покуда семья существовала».

В 1972 году Иосиф уехал из страны.

В 1983 году умерла Маруся.

Семьи больше нет.

29 апреля 1984 года, сидя на стуле посреди комнаты перед телевизором, от сердечного приступа в возрасте 81 года скончается Александр Израилевич Бродский.

Таким его и обнаружит сосед по коммуналке.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:

«Жил-был когда-то мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Ею правили существа, которых по всем человеческим меркам следовало признать выродками. Чего, однако, не произошло. И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать. Рано утром, когда в небе еще горели звезды, мальчик вставал и, позавтракав яйцом и чаем, под радиосводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под военный хор, исполнявший гимн вождю, чей портрет был приколот к стене над его еще теплой постелью, бежал по заснеженной гранитной набережной в школу. Широкая река лежала перед ним, белая и застывшая, как язык континента, скованный немотой, и большой мост аркой возвышался в темно-синем небе, как железное небо. Если у мальчика были две минуты в запасе, он скатывался на лед и проходил двадцать-тридцать шагов к середине. Все это время он думал о том, что делают рыбы под таким толстым льдом. Потом он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал сломя голову до самых дверей школы. Он влетал в вестибюль, бросал пальто и шапку на

крюк и несся по лестнице в свой класс. Это была большая комната с тремя рядами парт, портретом Вождя на стене над стулом учительницы и картой двух полушарий, из которых только одно было законным. Мальчик садится на место, расстегивает портфель, кладет на парту тетрадь и ручку, поднимает лицо и приготавливается слушать ахинею».

Хор неподвижно стоит на ступенях Военно-морского музея (он же Биржа, он же Парфенон) и поет на французском языке (в древнегреческой драме это неподвижное исполнение называется *стасим*):

Manchester et Liverpool

Je me revois flânant le long des rues

Au milieu de cette foule

Parmi ces milliers d'inconnus

Manchester et Liverpool

Je m'en allais dans tous les coins perdus

En cherchant ce bel amour

Que près de toi j'avais connu

Je t'aime, je t'aime

Que j'aime ta voix

Qui me disait:

«Je t'aime, je t'aime»

Et moi j'y croyais tant et plus…

Антифоном звучит голос диктора Центрального телевидения Веры Шебеко:

– По сведениям Гидрометцентра СССР, завтра в Нечерноземье ожидается 5–7 градусов тепла, в среднем Поволжье плюс 7 – 10,

дожди, в Мурманской области и Карелии плюс 6–8, в Ленинграде такая же температура, кратковременный дождь, возможна гроза.

Эписодий Второй

5 марта 1953 года Иосиф проснулся, как всегда, по звонку будильника.

С трудом выбрался из-под одеяла.

Выглянул в окно – темно, тускло горят уличные фонари.

Долго стоял перед рукомойником.

Ковырял пальцем зубной порошок «Экстра». Думал о том, что он похож на пудру, которой пользовалась мать. Зачем-то вымазал им щеки.

В комнате на столе его уже ждал завтрак – яйцо и чай.

Жевал безо всякого удовольствия, давился кипятком.

По радио передавали новости, а потом пел дважды краснознаменный хор имени Александрова.

Со словами «иди уже, а то опоздаешь», мать провожала сына по коридору.

Иосиф выходил на лестничную площадку, дверь захлопывалась за ним, чем тут же и обрезала звуки хорового пения.

Брел мимо Спасо-Преображенского собора.

Здесь, в подвале, по рассказам матери, они прятались во время бомбежки, а его, годовалого, укладывали в свечной ящик, где он спал.

Переходил Литейный в сторону Фонтанки.

На улице почти никого не было.

Сворачивал в Соляной переулок и натыкался взглядом на светящееся в утренней мартовской мгле здание школы, напоминавшее пассажирский четырехпалубный лайнер.

Отец рассказывал сыну, что после войны многие пассажирские пароходы СССР получил по репарации от Германии. Например, самый крупный советский паротурбоход «Советский Союз» был построен в Гамбурге и назывался «Albert Ballin».

Иосиф останавливался на какое-то время, раздумывая, идти ли ему на первый урок. При этом он отчетливо представлял себе красное венозное лицо исторички, секретаря парторганизации школы Лидии Васильевны Лисицыной, которая, поймав на несделанном домашнем задании, начинала истошно орать: «Вон из класса, слабоумный!», а орден Ленина, приколотый у нее на пиджаке (как говорили, самим Ждановым), начинал трястись, будто бы от страха. И это было невыносимо смешно, ведь в школе учили, что Ленин ничего не боится.

Поморщился.

Представил себе, что пассажирский четырехпалубный лайнер

издал протяжный гудок как при отплытии и начал выполнять маневр разворота.

Иосиф развернулся и быстро пошел к Фонтанке.

Здесь спустился на лед, под которым плавали невидимые рыбы.

Рыбы зимой живут.

Рыбы жуют кислород.

Рыбы зимой плывут,

Задевая глазами лед.

Туда.

где глубже.

Где море.

Рыбы.

рыбы.

рыбы.

Рыбы плывут зимою.

Рыбы хотят выплыть.

Рыбы плывут без света.

Под солнцем

зимним и зыбким.

Рыбы плывут от смерти

Вечным путем

рыбьим.

Рыбы не льют слезы;

Упираясь головой

в глыбы,

В холодной воде

Мерзнут

Холодные глаза

Рыбы.

Рыбы

всегда молчаливы…

Если бы родители узнали, что он вышел на лед, отец, наверное, убил бы его.

Но так как тут нет ни души, то никто об этом и не узнает.

Только невидимые рыбы, но они, слава Богу, не умеют говорить, они *молчаливы*.

Время пролетело незаметно, и надо возвращаться в школу, ко второму уроку.

Иосиф уже придумал, что ответить на обвинения в прогуле занятий – сломался будильник, а родители рано ушли на работу.

Однако уже в вестибюле он почувствовал что-то неладное. Особенно это стало очевидным, когда в коридоре Иосиф наткнулся на Лисицыну. Приготовился объясняться, выслушивать ругань в свой адрес, но она вместо того, чтобы орать за опоздание, сдавленно бросила ему: «Бродский, немедленно поднимайся в актовый зал».

В глазах у нее стоят слезы.

А ведь никогда и не думал, что она умеет плакать!

Актовый зал был набит битком.

Такого Иосиф еще никогда не видел.

Что-то немыслимо гнетущее, замогильное висело в воздухе.

Терпко пахло навощенным паркетом, табаком и потом.

Лисицына медленно поднялась на сцену и страшным гробовым голосом выдавила из себя:

– На колени!

По залу разнесся гул недоумения.

Это мать рассказывала, что в Спасо-Преображенском соборе люди иногда встают на колени, когда молятся, а раньше ставили

на горох в качестве наказания.

Гул недоумения накатывает, но тут же и затихает, словно натыкается на невидимую стену.

– Я сказала – на колени! – срывается на пронзительный бабский визг историчка, лицо ее перекашивает судорога, уже при одном виде которой все как подкошенные валятся на пол – ученики, учителя, уборщицы, безногий сторож-инвалид дядя Миша, у которого этих коленей и нет, а есть протезы.

– Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!

И все начинают плакать под «Marche funebre» Шопена, который уже включил школьный радист Галимзянов.

Из эссе Иосифа Бродского «Размышления об исчадии ада»:

«И люди заплакали. Но они плакали, я думаю, не потому, что хотели угодить “Правде”, а потому, что со Сталиным была связана (или, лучше сказать, он связал себя с нею) целая эпоха. Пятилетки, конституция, победа на войне, послевоенное строительство, идея порядка – сколь бы кошмарным он ни был. Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознания, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, – как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть – от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство ее неизбежности, как четырех времен года. Люди взрослели, женились, разводились, рожали, старились, умирали, – и все время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать. Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал».

Когда Иосиф вернулся домой, то обнаружил, что в коммунальной квартире, где он жил с родителями, все тоже рыдают.

Плакала и мать.

Было что-то сюрреалистическое в этом безутешном плаче, в этом настоящем вое с заламыванием рук, с возгласами «увы мне!», в этом массовом психозе, который так напоминал хор из Пролога трагедии Еврипида «Медея»:

Снова слышен тот стон, безутешный плач.

Не удержать боль, хоть за стену прячь.

То с остывшего ложа, где бред горяч,

шлет проклятия мужу Колхиды дочь

и к Фемиде взывает, увлекшей дочь

ее из дому, чтоб, говорят, помочь

мореходам вернуться, спустя года,

к тем, кто ждал их там, как ее – беда,

к берегам Эллады родной – туда,

где пучина гонит свой вал крутой,

и предела нет у пучины той.

Только отец лежал на кровати и с невозмутимым видом перелистывал «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Альбертовича Куна. Отец увлекался древностью, находя ее возвышенной, благородной, почти идеальной и достойной всяческого подражания.

Заметив сына, он подмигнул ему и загадочно улыбнулся.

Нет, Александр Иванович никогда не потакал своему сыну, видел в нем разгильдяя и бездельника, был с ним строг и требователен, опять же, не чурался и телесных наказаний, а в гневе бывал страшен, но при этом между ними существовала какая-то таинственная, недоступная для понимания чужих связь, взаимопонимание, которое никогда не выпячивалось, дружба, которая как будто бы и скрывалась от постороннего докучливого взора.

Так, однажды, когда вопрос об отчислении Иосифа из школы был практически решен, Бродского-старшего вызвали на педсовет, чтобы поставить его в известность и высказать ему все о его непутевом сыне. Выслушав неистовых критиков, Александр Иванович встал и неожиданно для всех принялся горячо защищать своего мальчика. Потрясение педагогов было столь велико, что они так и не смогли ничего возразить капитану 3-го ранга. Иосиф был оставлен в школе.

С 1947 по 1955 год он поменял пять школ.

Спустя годы Иосиф Бродский скажет: «Я бросил школу в возрасте пятнадцати лет. Это было не столько сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Сделать это было

трудно из-за родителей, из-за того, что ты сам страшишься неведомого. И вот однажды без всякой видимой причины я встал среди урока и мелодраматически удалился. Это был инстинктивный поступок…»

Тогда удалился на Обводный по Нарвскому проспекту и пошел в сторону Балтийского вокзала.

При этом то и дело подходил к парапету, перевешивался через него и смотрел на воду.

Плывет в глазах холодный вечер,

дрожат снежинки на вагоне,

морозный ветер, бледный ветер

обтянет красные ладони,

и льется мед огней вечерних,

и пахнет сладкою халвою,

ночной пирог несет сочельник

над головою.

Шел вдоль Обводного канала и снова думал про рыб, которые плывут в глубине и сейчас, вероятно, смотрят на него.

Вот они как-то пережили блокаду, войну, зиму и теперь перемещаются в поисках корма, изредка поднимая глаза вверх (исключительно любопытства ради). Старо-Петергофский, Розенштейна, Шкапина давали о себе знать пронзительными сквозняками, что вырывались из уличных проемов, более напоминавших ущелья, в которых жили первобытные люди.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:

«Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный – и вследствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. Худое, жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных окон… За этими величественными выщербленными фасадами – среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) – слабо затеплилась

жизнь. И помню, как по дороге школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция. Рим, Египет – все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон».

На Балтийском вокзале зашел в буфет.

Путевые обходчики здесь пили пиво, громко разговаривали, смеялись. Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом. Иосиф посмотрел на нее и тут же вспомнил свою мать в переднике, ее раскрасневшееся лицо, чуть запотевшие очки, ее коротко стриженные, крашенные хной седые волосы и блестящую от пота верхнюю губу, когда она на кухне отгоняет его от плиты: «Отойди! Что за нетерпение!» А потом она приносила угощения в комнату, где они с отцом уже сидели за столом и держали в руках вилки с маркировкой «нерж».

В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.

После первой блокадной зимы, 21 апреля 1942 года, Марии Моисеевне Вольперт вместе с сыном Иосифом и родителями (бабушкой и дедушкой Иосифа) удалось выехать из Ленинграда в эвакуацию в город Череповец Вологодской области.

Сначала они поселились в деревянном бараке на улице Ленина, а затем перебрались в дом Басалаевых в Новом переулке, что находился на окраине города близ Северного шоссе.

Жизнь в бараке Иосиф Бродский впоследствии описал следующим образом: «Я помню спуск в нашу полуподвальную квартирку… три или четыре белых ступеньки ведут из прихожей на кухню. Я еще не успеваю спуститься, как бабушка подает мне только что испеченную булочку – птичку с изюминкой в глазу. У нее немного подгоревшие крылышки, но там, где должны быть перышки, тесто светлее. Справа стол, на котором катается тесто, слева печка. Между ними и лежит путь в комнатку, где мы все жили: дедушка, бабушка, мама и я. Моя кроватка стояла у той же стены, что и печь в кухне. Напротив – мамина кровать и над ней окошко, выходящее, как и в кухне, на улицу».

Вот из этого окошка и был виден город, стоящий при

впадении реки Ягорбы в реку Шексну близ Рыбинского водохранилища.

Во время войны в Череповце находился штаб 286-ой стрелковой дивизии, части Вологодско-Череповецкого округа ПВО, завод по ремонту авиационных двигателей на территории бывшего Воскресенского монастыря, механический завод «Красная звезда», а также лагерь ОГПУ НКВД № 158 для военнопленных и освобожденных из немецкого плена военнослужащих Красной армии, куда в должности секретаря-переводчика устроилась работать Мария Моисеевна.

В своих знаменитых «Диалогах с Бродским» Соломон Волков приводит следующие воспоминания поэта о том времени: «Несколько раз она брала меня с собой в лагерь. Мы садились с мамой в переполненную лодку, и какой-то старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. Помню, в первый раз я даже спросил: “Мама, а скоро мы будем тонуть?”.

Переплывали Шексну как Стикс.

Старик, чьего лица было не разглядеть, кутался в плащ и напоминал Харона.

А на причале уже стоял хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА и как в античной трагедии пел попеременно.

Первое полухорие:

Как тюремный засов

разрешается звоном от бремени,

от калмыцких усов

над улыбкой прошедшего времени,

так в ночной темноте,

обнажая надежды беззубие,

по версте, по версте

отступает любовь от безумия.

Второе полухорие:

Через гордый язык,

хоронясь от законности с тщанием,

от сердечных музык

пробираются память с молчанием

в мой последний пенат

– то ль слезинка, то ль веточка вербная, —

и тебе не понять,

да и мне не расслышать, наверное,

то ли вправду звенит тишина,

как на Стиксе уключина.

То ли песня навзрыд сложена

и посмертно заучена.

Эпическое, торжественное зрелище на фоне низкого свинцового неба.

Вся жизнь в Череповце военной поры вращалась вокруг железнодорожного вокзала, через который транзитом с северо-запада на Котлас и Воркуту шли эвакопоезда, а с востока на запад – военные эшелоны. К 1941 году после затопления Рыбинского водохранилища часть города ушла под воду, в результате чего старые постройки почти не сохранились. Под нужды фронта Череповец отстраивался, по сути уже находясь на военном положении. Вагоноремонтные мастерские, отстойники паровозов, одноколейки, протянутые к лагпунктам и судоремонтному заводу, лесопилки, мастерские, склады, постоянный запах угля, солярки и креозота, надписи на деревянных лабазах, домах и заборах, сделанные белой краской: «кипяток», «сборный пункт», «госпиталь», «бомбоубежище», «запретная зона», «штаб», «вход воспрещен», «стой, стреляют», нескончаемый поток эвакуированных, раненых, заключенных. Для маленького человека, который уже научился читать, – это был истинный Вавилон.

Из «Послесловия к “Котловану”» А. Платонова» Иосифа

Бродского:

«Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай – тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в Хронос – в связи с чем и вводится понятие вечной жизни. То же относится и к Аду. Бытие в тупике ничем не ограничено, и если можно представить, что даже там оно определяет сознание и порождает свою собственную психологию, то психология эта прежде всего выражается в языке. Вообще следует отметить, что первой жертвой разговоров об Утопии – желаемой или уже обретенной – прежде всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности».

Вот Мария Моисеевна везет на саночках маленького Иосифа мимо бывшего Воскресенского собора, где сейчас работает фабрика по ремонту авиационных двигателей. Вечернее небо подсвечивают прожектора части ПВО, что расположена на восточном выезде из Череповца на Вологду.

Все это скорее напоминает некое масштабное и непостижимое действо, частью которого стали обитатели Череповца, а также попавшие сюда эвакуированные, раненные и заключенные.

«Язык не поспевает за мыслью», и потому время обретает черты абсолютно условные, ничто отныне не является абсолютом, и особенно это становится очевидно во время войны, когда жизнь может оборваться сейчас, завтра, послезавтра, или, напротив, не закончиться никогда, превратившись в бессмертие в виде мемориальных досок на стенах домов, памятников, аляповатых портретов и торжественных митингов, перегруженных бессмысленными речами. Почему бессмысленными? Да потому что «язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении»! О каком тут смысле можно вообще говорить!

И вот когда почва окончательно уходит из-под ног, начинается миф – например, миф о дружной жизни в коммунальных квартирах, миф о тайном (разумеется, в те-то годы) богоискательстве, миф о довольстве и в то же время о непроходящем ужасе ожидания ареста и расстрела, наконец, миф о добром Сталине или, напротив, о кровожадном Сталине.

Из разговора Иосифа Бродского с Соломоном Волковым:

«Никаких особенных чувств к Сталину я не испытывал точно.

Скорее он мне порядком надоел. Честное слово! Ну везде его портреты! Причем в форме генералиссимуса – красные лампасы и прочее. И хотя обожаю военную форму, но в случае со Сталиным мне все время казалось, что тут кроется какая-то лажа. Эта фуражка с кокардой и капустой, и прочие дела – все это со Сталиным как-то не вязалось, казалось не очень убедительным. И потом эти усы! И между прочим, в скобках, – знаете, на кого Сталин производил сильное впечатление? На гомосексуалистов! Это ужасно интересно. В этих усах было что-то такое южное, кавказско-средиземноморское. Такой папа с усами!… здесь начинается чистый Фрейд. Я думаю, что значительный процент поддержки Сталина интеллигенцией на Западе был связан с ее латентным гомосексуализмом. Я полагаю, что многие на Западе обратились в коммунистическую веру именно по этой причине. То есть они Сталина просто обожали!»

Ад и Рай, а между ними Хронос.

Лагерь ОГПУ НКВД № 158 и Череповец I, а между ними Шексна.

И еще, конечно, пронзительные паровозные гудки в любое время дня и ночи, к которым, впрочем, быстро привыкли.

В 1944 году вернулись из эвакуации в Ленинград.

Иосиф Бродский: «Тогда же все рвались назад, теплушки были битком набиты, хоть в Ленинград пускали по пропускам. Люди ехали на крыше, на сцепке, на всяких выступах. Я очень хорошо помню: белые облака на голубом небе над красной теплушкой, увешанной народом и выцветших желтоватых ватниках, бабы в платках. Вагон движется, а за ним, хромая, бежит старик. На бегу он сдергивает треух и видно, какой он лысый; он тянет руки к вагону, уже цепляется за что-то, но тут какая-то баба, перегнувшись через перекладину, схватила чайник и поливает ему лысину кипятком. Я вижу пар».

Детская память сохранила именно эту картину – пар, поднимающийся с лысины хромого старика и переливающийся в лучах солнца, вагон гремит на стыках, из открытого рта бабы вылетают слова, разобрать которые невозможно, мимо проплывают постройки вокзала.

Все это складывается в какую-то немыслимую какофонию, которая со временем (когда поезд набирает ход, а старик с дымящейся головой окончательно отстает) превращается в музыку.

Спустя годы на которую Иосиф напишет такие слова:

Ария птиц

Мы, певцы, и мы, певицы,

именуемые «птицы»,

вместе с песнями смогли

оторваться от земли.

Но при этом с каждой рощей

мы язык находим общий,

и идёт зимой и летом

в небе опера с балетом…

Ария рыб

Слышат реки и озёра

песню, скрытую от взора.

Над глубокими местами

дирижируем хвостами.

Мы хористы и солисты.

Наши песни серебристы.

Но ни слова нет, ни слова

не дойдёт до рыболова…

Ария деревьев

Мы, деревья, сами – звуки.

Меж собой всегда в разлуке,

разбредаемся по рощам,

умоляем, шепчем, ропщем.

Разбредаемся лесами.

Всё-то делаем мы сами:

и кручинимся, и блещем,

и поём, и рукоплещем…

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда.

Конечно, те, кто остались в живых, знали этот город другим, но для 4-летнего Иосифа Ленинград всегда был именно таким – состоящим из развалин, прикрытых фанерными щитами с нарисованными на них фасадами домов, с огородами в городских скверах, а также среди величественных руин дворцов классической архитектуры, с заросшими травой историческими площадями и забранными сколоченными из горбыля футлярами статуями в Александровском саду.

Все это напоминало античные руины в стиле Гюбера Робера, чьи полотна хранились в Эрмитаже: благородная древность и посеченные осколками колоннады, неумолимое время и развороченные во время бомбежек портики, одухотворенное одиночество и пустые перспективы Васильевского острова, осознание собственного ничтожества перед лицом анфилад пустых комнат, уходящих за горизонт.

В своем эссе «Путеводитель по переименованному городу» Иосиф Бродский писал: «Для смягченной мифологии Петербург слишком молод, и всякий раз, когда случается стихийное или заранее обдуманное действие, можно заприметить в толпе словно бы изголодавшееся, лишенное возраста лицо с глубоко сидящими побелевшими глазами и услышать шепот: “Говорят же вам, это место проклято!” Вы вздрогнете, но мгновение спустя, когда вы попытаетесь еще раз взглянуть на говорившего, его уже и след простыл. Тщетно вы будете вглядываться в медленно толочущуюся толпу, в мимо ползущий транспорт; вы не увидите ничего – лишь безразличные пешеходы и, сквозь наклонную сетку дождя, величественные очертания прекрасных имперских зданий. Геометрия архитектурных перспектив в этом городе превосходно приспособлена для потерь навсегда».

Пережив блокаду, город постарел на несколько веков, а взгляд его, и без того изрядно безумный, как-то еще более помутнел, словно удостоился видения чего-то потустороннего. Таким взглядом обладает человек, переживший клиническую

смерть.

По воспоминаниям Иосифа Бродского, вернувшись из эвакуации, они с матерью обнаружили их комнату в коммуналке на Рылеева опечатанной (у отца была комната на углу Газа и Обводного канала). После известного рода процедур Марии Моисеевне Вольперт комнату все же вернули, и лишь в 1955 году две «однушки» удалось поменять на полторы комнаты в доме Мурузи на Пестеля.

После того как в 1948 году Александр Иванович вернулся в Ленинград с Дальнего Востока, они вместе с сыном часто ходили в Соляной городок на Фонтанку, где находился Музей обороны города, и там бродили до позднего вечера.

Из книги Льва Лосева «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии»: «В нескольких минутах ходьбы от дома Бродских, в Соляном городке, находился Музей обороны Ленинграда, где были выставлены образцы советской и немецкой военной техники вплоть до тяжелой артиллерии, танков и самолетов. Решающие битвы изображались на диорамах с манекенами атакующих и павших солдат на переднем плане в натуральную величину… Отец по возвращении из Китая два года заведовал фотолабораторией в Военно-морском музее. Девяти-десятилетний Иосиф пользовался привилегией бродить по музею после закрытия: “Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы в анфас и в профиль – в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине”. Живое ощущение только что закончившейся войны и победы сливалось с имперскими мифами так же, как на улицах города следы недавней войны были неотделимы от обильной в Петербурге ампирной символики. Из окна своей комнаты мальчик видел ограду Спасо-Преображенского собора, сделанную из трофейных пушек, а на другом конце улицы Пестеля (Пантелеймоновской) стояла Пантелеймоновская церковь, построенная в честь победы русского флота при Гангуте. Мечи, копья, дротики, секиры, щиты, шлемы, дикторские фасции с топориками украшали Пантелеймоновский мост через Фонтанку, как и многие другие ограды и фасады бывшей столицы империи. Неоклассицистический архитектурный декор способствовал не только воспитанию патриотического чувства. «Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги».

Хор, составленный из гладко выбритых адмиралов и гоплитов, вооруженных мечами, копьями, дротиками, секирами и тяжелыми гоплонами, в конце второго эписодия исполняет второй стасим:

«Дети обречены, и спать идут раньше взрослых».

«Того, что спешит под парусом, не обогнать на веслах».

«И темный ужас, как море, захлестывающее остров,

детей поглощает первых». «Как следует зная дело,

зло нарушает душу, но начинает с тела».

«И дети обречены». «Да, для детей стемнело».

Медленно разгораются уличные фонари.

Петроградскую сторону от левого берега отрезает паровой буксир с включенными бортовыми огнями. Он уходит в сторону Володарского моста, а его надрывный гудок еще долго тянется над Невой и затихает только когда захлопывается дверь в парадной на Пестеля.

Эписодий Третий

На Балтийском вокзале зашел в буфет. Путевые обходчики тут пили пиво, громко разговаривали, смеялись.

Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом.

В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.

Спорили в основном о защитнике Марке Геке и полузащитнике Стасе Завидонове, а еще конечно ругали Алова, который развалил команду и довел «Зенит» до задворок турнирной таблицы.

На задворках вокзала шла разгрузка товарняка, рабочие лениво переругивались, по репродуктору сообщили о прибытии почтово-багажного из Пскова на третий путь.

Иосиф вышел на улицу, и город впервые показался ему совершенно незнакомым, чужим, надменным, абсолютно выдуманным, впрочем, в этом была и своя польза.

Спустя годы Бродский скажет: «Если кто и извлек выгоду из войны, то это мы – ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий».

Город, в котором можно жить лишь придуманной жизнью.

Так невозможно жить в Череповце или Москве, Вологде или Смоленске, Пскове или Новгороде, а в Ленинграде по-другому жить просто не получится. Иначе можно сойти с ума, если будешь ежедневно и ежечасно вдаваться в подробности и хитросплетения этих перспектив и дворов-колодцев, набережных и напоминающих взлетно-посадочные полосы военных аэродромов проспектов.

Из «Путеводителя по переименованному городу» Иосифа Бродского: «Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков. Неудивительно, что порой этот город производит впечатление крайнего эгоиста, занятого исключительно своей внешностью. Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных. Неистощимое, с ума сводящее умножение всех этих пилястров, колоннад, портиков, намекает на природу этого каменного нарциссизма, намекает на возможность того, что, по крайней мере в неодушевленном мире, вода может рассматриваться, как сгущенное Время».

Время течет мимо гранитных берегов.

Мимо Александро-Невской лавры.

Мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства, Биржи и стоящих на рейде военных кораблей.

Если вот так идти по набережной, то возникает ощущение того, что ты на равных со Временем, что можешь либо опережать его, ускоряя шаг, либо отставать от него, оказываясь в прошлом, в древности, снисходительно взирая при этом на убегающую вперед черную воду Невы. Почему снисходительно? Да потому что ты уже был там, впереди, в будущем, и уже все знаешь о нем.

Конечно, такое знание весьма искусительно, оно рождает чрезмерные амбиции, до поры скрываемые, а порой и доходит (знание) до крайних своих проявлений – истеричности, нетерпимости к тому, что никак не вписывается в сложившуюся панораму реальности. Вернее сказать, ирреальности, того мифа, который и стал обыденностью.

Когда вернулся домой на Пестеля, то обнаружил весь свой класс сидящим в полутора комнатах – полный сюрреализм!

Мать лишь развела руками, увидев бешеный взгляд сына.

– Зачем явились?

И сразу, как из рукомойника на кухне полились

нечленораздельные, вихляющие речи, забарабанили по дну бурой раковины о том, что Иосиф не должен бросать школу, что советской стране нужны молодые образованные люди, что надо соблюдать дисциплину и чтить преподавателей, которые отдают своим ученикам душу.

Что-то в этом услышалось дьявольское – душа исторички, секретаря парторганизации школы, кавалера ордена Ленина Лидии Васильевны Лисицыной переселяется в учеников, и они становятся похожими на нее, ходят строем, вместе поют песни, занимаются общественно-полезной работой, участвуют в субботниках, получают на уроках только пятерки.

И тут же сделалось невыносимо тоскливо:

Развалины есть праздник кислорода

и времени. Новейший Архимед

прибавить мог бы к старому закону,

что тело, помещённое в пространство,

пространством вытесняется. Вода

дробит в зерцале пасмурном руины

Дворца Курфюрста; и, небось, теперь

пророчествам реки он больше внемлет,

чем в те самоуверенные дни,

когда курфюрст его отгрохал. Кто-то

среди развалин бродит, вороша

листву запрошлогоднюю. То – ветер,

как блудный сын, вернулся в отчий дом

и сразу получил все письма.

Да, он живет в развалинах, и потому дышит свободно, а они ходят жить в новостройках, где подача кислорода, кипятка и

электричества строго лимитирована.

В результате все закончилось скандалом, в школу Иосиф больше не вернулся, а одноклассники ушли, возмущенно хлопнув входной дверью, и в наступившей тишине можно было только слышать, как соседи сверху что-то сверлят.

Видимо вешают полку или картину.

Например, «Архитектурный пейзаж с каналом» Гюбера Робера из коллекции Государственного Эрмитажа, который они вырезали из «Огонька», вставили в рамку под стекло, и вот теперь эта величественная колоннада, нависшая над водой, убранная папоротником и побегами бананового дерева, освещает комнату в доме № 24 по Литейному проспекту – угол Пестеля, предзакатным светом Средиземноморья.

Нездешним светом, разумеется, абсолютно нездешним.

Впрочем, Александр Иванович Бродский предпочитал вешать на стенах своей квартиры фотографии собственного производства, потому как был уверен в том, что настоящий мужчина должен уметь все делать сам, своими руками, и украшать свое жилище в том числе.

К уходу сына из школы он отнесся сдержанно (по крайней мере, внешне), ведь по идее все к тому и шло, а когда узнал, что Иосиф устроился помощником фрезеровщика на завод № 671 (более известный в городе как «Арсенал»), едва сдерживал гордость за своего мальчика.

Однако постижение рабочей профессии оказалось непродолжительным.

Далее в трудовой книжке молодого фрезеровщика первого разряда появились следующие отметки: кочегар в бане, матрос на маяке, рабочий-коллектор в геологической партии, помощник прозектора в морге.

Из воспоминаний Иосифа Бродского, записанных Соломоном Волковым:

«Когда мне было шестнадцать лет, у меня возникла идея стать врачом. Причем нейрохирургом. Ну нормальная такая мечта еврейского мальчика. И вслед появилась опять-таки романтическая идея – начать с самого неприятного, с самого непереносимого. То есть с морга. У меня тетка работала в областной больнице, я с ней поговорил на эту тему. И устроился туда, в морг. В качестве помощника прозектора. То есть я разрезал трупы, вынимал внутренности, потом зашивал их назад. Снимал крышку черепа. А врач делал свои анализы, давал заключение… в юности ни о чем метафизическом не думаешь, просто довольно много неприятных ощущений. Скажем, несешь на руках труп старухи, перекладываешь его. У нее желтая кожа,

очень дряблая, она прорывается, палец уходит в слой жира. Не говоря уже о запахе. Потому что масса людей умирает перед тем, как покакают, и все это остается внутри. И поэтому присутствует не только запах разложения, но еще и вот этого добра. Так что просто в смысле обоняния, это было одно из самых крепких испытаний… Но все это продолжалось сравнительно недолго. Дело в том, что тем летом у отца как раз был инфаркт. Когда он вышел из больницы и узнал, что я работаю в морге, это ему, естественно, не понравилось. И тогда я ушел».

Быть античным героем во всем, или хотя бы в том, чтобы вслед за Орфеем спуститься в Аид, причем, в прямом смысле – морги в советских больницах, как правило, занимали подвальное помещение.

Притом что Харона – старика в плаще – маленький Иосиф уже видел в Череповце при форсировании реки Шексны в переполненной («вода была вровень с бортами») лодке.

Тогда все остались живы, и обманувших Танатоса (бог смерти в греческой мифологии) на причале встречал хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА.

И воспевал:

Рекам бежать назад время, как зверю – в нору.

Горним вершинам рушиться наземь впору,

вместе с богами уподобляясь сору.

Мало осталось в мире правды и меньше чести.

Сердце мужское они покидают вместе.

Времени ход не значит, что торжествует правый,

и все же наша печаль нам обернется славой;

сильный лишь выживает. Переживает – слабый.

Подсознательная игра с эстетикой руин и брутальных ленинградских окраин, промзон и рабочих бараков, моргов и прозекторских, с эстетикой упадка и смерти, в конце концов, продолжилась, но уже в качестве сублимации и переосмысления собственной *инаковости*, непохожести на тех, кто тебя окружает.

При том, что Иосиф нарочито восхищался своими

одноклассниками в последней школе на Обводном канале (в основном это были дети рабочих и путейцев с Балтийского вокзала) и с презрением отзывался о «полуинтеллигентной шпане» из центра, он тем самым интуитивно пытался снять напряжение, которое вызывала его персона в чуждой ему среде.

Попытка «опроститься», стать таким, как все, имела перед собой лишь одну очевидную цель – перенаправить негативную энергию, негативные переживания в конструктивное и комфортное бытование в агрессивной обстановке. «Романтические фантазии», меж тем, настойчиво культивируемые как единственная возможность сбежать от «свинцовой» действительности, оказались не такими уж и безобидными, как, впрочем, и любое (даже самое благое) начинание, доведенное до крайности.

Безэмоциональное наблюдение за препарированием трупов, за вскрытием черепных коробок, а также за посмертной дефекацией вовсе не было результатом психической патологии, но именно доведенного до крайности метафизического нечувствия, юношеского максимализма (цинизма, нигилизма), ставших закономерным результатом внутренних страхов и комплексов, рожденных на социальной и национальной почве. И как результат, происходит рождение того, что у Фрейда называется «структура мотивов, наличие которой мы должны рассматривать как основу более высокой социальной и культурной организации».

Впрочем, к Фрейду Бродский всегда относился с недоверием, видимо, ему претила всякая «структура», всякая «арифметика», когда себя видишь в подчиненном, зависимом положении. Впрочем, в Петербурге в свое время эту тему исчерпал бывший студент Родион Романович Раскольников, вооруженный топором, – Родина, Романовы, Раскол:

Доктор Фрейд, покидаю Вас,

сумевшего (где-то вне нас) на глаз

над речкой души перекинуть мост,

соединяющий пах и мозг.

Адье, утверждавший «терять, ей-ей,

нечего, кроме своих цепей».

И совести, если на то пошло.

Правда твоя, старина Шарло.

Еще обладатель брады густой,

Ваше сиятельство, граф Толстой,

любитель касаться ногой травы,

я Вас покидаю. И Вы правы.

Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.

Ваш не успев осмотреть дворец,

в Вашей державе слагаю скит:

Время – волна, а Пространство – кит.

Стало быть, есть время и Время.

Время со *строчной* – это когда умирает Сталин, когда после блокады инвалидов и душевнобольных из Ленинграда выселяют на Валаам в бывший Спасо-Преображенский монастырь, когда «Зенит» оказывается в конце турнирной таблицы, когда рабочие завода «Арсенал» идут на обеденный перерыв, а школьники принимают участие в Ленинском субботнике…

А есть Время и с *прописной* – эта та метафизическая субстанция, с которой имеет дело поэт, подвергая ее постоянной реорганизации за счет изменения ритма и отсечения всяческих клише, находя при этом перфекционизм смыслом существования своего лирического героя, категорически не терпящего ничего банального и вторичного.

А еще есть Пространство, которое перемещается по воле Времени как исполинский кит или как левиафан, о котором сказано в Книге Иова: «Круг зубов его – ужас; крепкие щиты его – великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются… из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит

ужас… Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости».

Хотя уже в XVII веке Томас Гоббс наделил это мифическое существо иными функциями (в новейшей истории этот подход видится более актуальным): «В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа, должностные лица и другие представители судебной и исполнительной власти – искусственные суставы; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле; благосостояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, salus populi, безопасность народа, – его занятие; советники, внушающие ему все, что необходимо знать, представляют собой память; справедливость и законы суть искусственный разум (reason) и воля; гражданский мир – здоровье, смута – болезнь, и гражданская война – смерть».

Пространство, таким образом, переиначивает фрейдовскую «структуру мотивов», потому что в ее основу отныне заложена «искусственная душа» с ее «искусственными суставами» и «функциями в естественном деле».

И тогда из глубин русской словесности в образе Поддонного царя (сам весьма напоминающий левиафана) выплывает рязанский, тверской ли губернатор Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, страшно вращает глазами и говорит, словно пишет: «Градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова… Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали…

Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не

обследована».

А ведь ничем, право, не отличается описанный классиком терминатор XIX-го столетия от Лидии Васильевны Лисицыной (и ей подобных), что раздает по частям свою душу питомцам, позвякивая при этом орденом Ленина, приколотым на лацкане пиджака с левой стороны.

Раздает и все никак не может раздать до конца. Может быть, потому что душа бессмертна? У Иосифа нет ответа на этот вопрос…

Меж тем так называемое «градоначальническое вещество» заполняет актовые залы и кабинеты, присутственные места и общественные здания, аудитории и райсобесы, в которых так или иначе приходится бывать даже античному герою, переплывшему Стикс и посетившему Аид.

Следовательно, конфликт неизбежен.

Однако интересно заметить, что юный Бродский не бунтовал против окружавшего его мира абсурда и не конфликтовал с действительностью (по крайней мере открыто), он просто создавал собственную, вернее сказать, это по умолчанию происходило в его семье: долгие вдумчивые прогулки с отцом по городу, беседы на различные нравственные темы, фотографирование проходных дворов, линий и набережных, общение с родственниками матери, в частности с ее сестрой – актрисой Театра им. В.Ф. Комиссаржевской и БДТ Дорой Моисеевной Вольперт.

И наконец чтение книг.

Из «Послесловия к “Котловану”» А. Платонова» Иосифа Бродского: «Если за стихи капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-молотобойцем в “Котловане” следовало бы признать первым серьезным сюрреалистом. Я говорю – первым, несмотря на Кафку, ибо сюрреализм – отнюдь не эстетическая категория, связанная в нашем представлении, как правило, с индивидуалистическим мироощущением, но форма философского бешенства, продукт психологии тупика. Платонов не был индивидуалистом, ровно наоборот: его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происходящего. Поэтому и сюрреализм его внеличен, фольклорен и, до известной степени, близок к античной (впрочем, любой) мифологии, которую следовало бы назвать классической формой сюрреализма. Не эгоцентричные индивидуумы, которым сам Бог и литературная традиция обеспечивают кризисное сознание, но представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова

выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу. В отличие от Кафки, Джойса или, скажем, Беккета, повествующих о вполне естественных трагедиях своих “альтер эго”, Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость».

В Ленинграде нет тупиков.

Дворы-колодцы соединяются с проходными дворами.

Проходные дворы выводят на линии, а линии в свою очередь впадают в проспекты, которые переходят в набережные, что соблюдают Неву.

Александр Иванович показывает сыну, как нужно правильно фотографировать город: во-первых, все вертикали зданий должны быть ровными, во-вторых, линия горизонта не может быть завалена, и, наконец, важно определиться с освещением, чтобы объем зданий или перспективы проспектов были оптимально подчеркнуты.

Иосиф слушает отца и думает о том, что подобным образом и рождается некий фиктивный мир, от которого взгляд впадает в визуальную зависимость. Парадоксальный город, потому что на самом деле вертикали тут уже давно перекошены, горизонт уходит в зависимости от положения фотоаппарата или поворота головы, и все перпендикуляры относительны, а что же касается до света, то о каком выгодном освещении в Ленинграде вообще можно говорить, если из 365 дней в году 200 тут пасмурные.

Низкое небо, болотные испарения, дождь-конденсат, промозглый ветер с залива, короткий световой день, редкие призрачные прохожие, более напоминающие литературных персонажей, а потому совершенно невыносимые в реальной жизни, – достаточное количество поводов впасть в «философское (читай, интеллектуальное) бешенство», к которому с годами привыкаешь, и даже находишь его весьма привлекательным и комфортным.

… В который раз на старом пустыре

я запускаю в проволочный космос

свой медный грош, увенчанный гербом,

в отчаянной попытке возвеличить

момент соединения…

Момент соединения.

1962 год.

Адмиралтейская набережная.

Иосиф выходит из дома № 10, подходит к Неве и облокачивается на парапет.

Спустя годы, уже находясь в Америке, он так опишет этот эпизод из своей ленинградской молодости: «Я этот момент очень хорошо помню, если вообще у меня были какие-то откровения в жизни, то это было одно из них. Я стоял, положив руки на парапет, они так слегка свешивались над водой… День серенький… И водичка течет… Я ни в коем случае не думал тогда, что вот я поэт или не поэт… Этого вообще никогда у меня не было и до сих пор в известной степени нет… Но я помню, что вот я стою и руки уже как бы над водичкой, народ вокруг ловит рыбку, гуляет, ну и все остальное… Дворцовый мост справа… Я смотрю, водичка так движется в сторону залива, и между водой и руками некоторое пространство… И я подумал, что воздух сейчас проходит между водой и руками в том же направлении… И тут же подумал, что в этот момент никому на набережной такая мысль в голову не приходит… И тут я понял, что что-то уже произошло… И вот это впервые пришедшее сознание того, что с головой происходит что-то специфическое, возникло в тот момент, а так вообще этого никогда не было».

Таким образом, «некоторое пространство» может вместиться между водой и руками. Впрочем, об этом уже шла речь, когда левиафан всплывал из морской (а в данном случае, из речной бездны) и, по словам праведника Иова из земли Уц, становился «царем над всеми сынами гордости».

Проходящие же по набережной люди не обращают ни малейшего внимания ни на молодого человека, стоящего у парапета, ни на морское чудовище, из пасти которого «выходят пламенники», хотя, вполне возможно, что они видят всего лишь проходящий по Неве буксир типа БОР с включенными красными бортовыми огнями.

Буксир надрывно гудит, и Иосиф вспоминает, как в детстве они вместе с отцом часто ходили гулять на Соляной городок, где стояла военная техника времен Великой Отечественной войны, потом выходили на набережную Фонтанки и брели в сторону Невы, по которой против течения, истошно воя, пробирался к Володарскому мосту буксир «Флягин».

Однако после того, как у отца пять лет назад случился

инфаркт, они перестали гулять вместе. Врачи запретили Александру Ивановичу длительные пешие прогулки, и теперь он сидел на скамейке в сквере перед Спасо-Преображенским собором и листал журнал «Огонек». Особенно он любил разглядывать цветные развороты – картины из коллекции Государственного Эрмитажа, репродукции из Лувра или работы студии военных художников или Митрофана Борисовича Грекова.

Отец всегда неукоснительно соблюдал предписания врачей и всякий раз засекал время, сколько ему надлежит провести на свежем воздухе на сей раз, потому что уже не ощущал себя здоровым человеком и не мог позволить себе того, что мог позволить в годы молодости.

В 1962 году 22-летний Иосиф Бродский по статьям 30В (хроническое или неизлечимое заболевание – невроз и врожденное заболевание сердца, стенокардия) и 8В (ограниченно годен к военной службе), а также в связи с временной нетрудоспособностью отца Бродского Александра Ивановича, будучи единственный кормильцем в семье, был освобожден от военной службы.

Через два года обитающий на дне Невы или Финского залива левиафан в очередной раз всплывет на поверхность, исторгнет из своей пасти пламя и возопит голосом начальника Ленинградского Дома обороны товарища Смирнова:

– Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни… У него полностью отсутствует понятие о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына в консультацию в диспансер, и он приносит оттуда справку, которую принял легкомысленный военкомат.

На Дворцовом мосту стоит хор сотрудников «легкомысленного военкомата», который исполняет *стасим* третий из трагедии «Медея» Еврипида:

«Скорей умру, чем покину

отчизны родную глину.

Не дай мне познать чужбину,

где смотрят в лицо, как в спину.

Не дай пережить изгнанья —

изнанки судьбы, незнанья,

праздного назиданья.

Не дай мне увидеть Феба

в пустыне чужого неба».

Эписодий Четвертый

Из письма Иосифа Бродского Элеоноре Ларионовой от 7 августа 1958 года: «Есть на Земле люди, которые стремятся сделать будущее более сносным, нежели настоящее. Это настоящие писатели, настоящие врачи, настоящие педагоги. Настоящие – это значит – творцы. Я хотел бы стать чем-нибудь стоящим. Для этого нужно знать много вещей. Если ты собираешься творить, то необходимо усвоить себе, для кого, для чего ты это делаешь… Необходимо найти фундамент, на который намерен опереться; необходимо проверить его прочность. Необходимо также найти людей, которые верят в ту же самую идею, которые помогут. Это, собственно, главное. Нужно, в общем, очень долго искать.

Я здорово сожалею, что поздно начал, как ты выражаешься, путешествовать. Эти два года, безусловно, не прошли даром. Но тот же самый результат мог быть достигнут и за более короткий промежуток времени. Я, собственно, только начинаю. Только начинаю по-настоящему заниматься делом. Я только начинаю странствовать… Да, я слишком занят собственной персоной. Я раскатал тебе на полтора листа гимн своим взглядам, но я хочу, чтобы ты усвоила содержание моего ответа твердо. Ты вот пишешь, да и говоришь весьма часто, что я перелетная птица, дилетант. Пойми же, Норка, это – поиск.

Я жонглирую своей судьбой не ради чего-то определенного, стабильного для себя. Ну в том смысле, что я вовсе не намерен выбирать себе какую-то иерархическую лестницу и продвигаться по оной… Я уже давно решил вопрос о цели. Теперь я решаю вопрос о средствах. Мне кажется, что я нахожу правильное решение. Это звучит и глупо, и высокопарно. Но это происходит потому, что я популяризирую идею. Я хочу, чтобы ты поняла меня верно. То, что я делаю, это только поиск. Новых идей, новых образов и, главное, новых форм».

Этот манифест (он же программа действий) был написан Бродским в экспедиции в Архангельской области, где он работал в геологической партии в качестве разнорабочего. Тяжелый физический труд, тучи комаров и мошки, спирт, чифирь, тормозная жидкость, предельно аскетические условия проживания, полная удаленность от контролирующих органов и «всевидящего ока» власти – идеальные условия для начала внутреннего странствия, вернее сказать, для его продолжения.

Античные руины города Петра и Ленина уступили место Немейскому лесу, который распростерся от Беломорского побережья до земель Коми, и от Онежского озера до Кольского полуострова. Безобразные демоны и прекрасные нимфы, лютые

хищники и злобные духи тут таятся на заброшенных погостах, одолевают отшельников в уединенных скитах, извергают на одиноких странников кровососущих насекомых и ядовитых болотных гадов.

Из интервью Иосифа Бродского: «Мы делали карту пород, залегающих в этой местности, на Севере. Это была карта четвертичного залегания, то есть слоёв грунта, недалеко уходящих в глубину: глина и так далее. Шурфы бьются на метр-полтора. В день мы нахаживали по тридцать километров, забивали четыре шурфа. Или, поскольку это было в тундре, в болотах, делали прокол. Просто брали шест, забивали и что-то вытаскивали, чего там было. Там, как правило ничего не было… хотелось найти уран, естественно».

Но как только затихали двигатели тракторов и тягачей, лесовозов и трелевочных машин, Иосиф конечно же, слышал над этим уходящим за горизонт пространством истошные вопли Пана, сопровождаемые хоровым пением всех этих Аргосов, Ксанфов, Питид, Фавнов, Филамнов, Фобосов и Эгокоров.

Оказаться здесь по собственной воле (через несколько лет Бродский будет сюда доставлен насильно) есть свидетельство постоянного и весьма напряженного поиска новой формы бытования в стране, где попытка заглянуть внутрь самого себя, отвернувшись от бытия, которое, как известно, определяет сознание, уже само по себе есть уголовно наказуемое деяние.

«Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях, то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый, его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно. Большие реки в тайге надо было часто переходить вброд или сплавляться на лодках. Но была неслыханная рыбалка всегда и охота, обычно голодно не было. Хотя бывали периоды, когда по целым неделям приходилось есть тушенку. Холодно бывало часто», – так отзывались о Бродском его друзья по геологическим партиям.

Впрочем, о его умении быть в коллективе «как все», ничем не выделяясь (причем это могли быть рабочие-фрезеровщики с «Арсенала» и шпана с Обводного канала, санитары областной больницы и геологи с университетским образованием), речь уже шла выше. Вероятно, в этой склонности к социальной адаптации (мимикрии) таился пристальный наблюдатель за жизнью и за людьми. Причем наблюдение это носило в большей степени компаративный характер, и он соотносил собственное поведение и собственную персону с обстоятельствами и персонажами, в

которые попадал и с которым оказывался рядом в силу объективных причин. При этом частая смена декораций и лиц не требовала обязательного погружения в данную конкретную ситуацию или выстраивания длительных взаимоотношений с кем-либо, что называется, без остатка, она (смена-поиск) позволяла преодолевать пространство и время по касательной, напитывая воображение только теми красками и полутонами, место которым в творческой палитре художника было забронировано заранее.

Таким образом, видение этого бытования носило в определенном смысле отстраненный характер, потому что, как замечал сам Иосиф, стоя на берегу Невы летом 1962 года, «никому на набережной такая мысль в голову не приходит». Например, мысль о том, что Время можно опередить или даже остановить, мысль о том, что Пространство подобно огромному киту, в чреве которого томится пророк Иона, или левиафану, напоминающему русского писателя, журналиста и вице-губернатора М. Е. Салтыкова-Щедрина.

И вот Михаил Евграфович чревовещает как пишет: «Человеческая жизнь – сновидение, говорят философы-спиритуалисты, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история – тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно, они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.».

Что же в таком случае можно отнести к яви?

На этот вопрос Иосиф для себя отвечает – только язык, потому что он компрометирует время и пространство, жизнь и смерть. Более того, речь в данном случае может идти только о поэзии, потому что именно она является высшей формой существования языка. По мысли Бродского, «в идеале – это отрицание языком своей массы и законов тяготения, устремление

языка вверх, к тому началу, в котором было Слово». Поэт, следовательно, присваивает себе функции Творца, что с недосягаемых вершин наблюдает за людским столпотворением (муравейником?), за наивной попыткой созданных по образу и подобию Божию обрести славу, богатства, любовь, отечество, место последнего упокоения, наконец.

Можно предположить, что каждое возвращение в Ленинград было своеобразным переходом из одного языкового состояния в другое, когда впечатления от увиденного в Сибири, Средней Азии и на Русском Севере спрессовывались до объема полутора комнат, теснились, искали выхода и не находили его до поры.

До 1959 года.

На вопрос Евгения Рейна, с чего начался Бродский-поэт, спустя годы Иосиф ответит ему: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нем я надыбал Баратынского – издание “Библиотека поэта”. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере я очень завелся, так что Евгений Абрамыч как бы во всем виноват».

Из стихотворения Е.А. Баратынского «Последняя смерть» от 1827 года:

Есть бытие; но именем каким

Его назвать? Ни сон оно, ни бденье:

Меж них оно, и в человеке им

С безумием граничит разуменье.

Он в полноте понятья своего,

А между тем, как волны, на него,

Одни других мятежней, своенравней,

Видения бегут со всех сторон:

Как будто бы своей отчизны давней

Стихийному смятенью отдан он.

Но иногда, мечтой воспламененный,

Он видит свет, другим не откровенный.

Сохранилась фотографическая карточка, снятая в 1959 году Яковом Гординым в якутском аэропорту.

Иосиф стоит на вымощенной плиткой площадке.

За спиной – покосившаяся ограда, белая урна и летное поле, на котором стоит «Ил-14».

Снимок не контрастный, следовательно, пасмурная погода, вполне напоминающая ленинградскую.

Читаем в книге переводчицы, кандидата геолого-минералогических наук Людмилы Яковлевны Штерн «Поэт без пьедестала. Воспоминания об Иосифе Бродском» следующие строки: «У меня есть маленькая память об Иосифе “якутского” периода. За два дня до своего отъезда в эмиграцию, он подарил нам с Витей свою фотографию, сделанную летом 1959 года на якутском аэродроме. Стоит, расставив ноги, руки в карманах, на фоне летного поля с взлетающим (а может, садящимся) самолетом. На обороте надпись: “Аэропорт, где больше мне не приземлиться. Не горюйте”»… Итак, «геологический период» Бродского продолжался приблизительно с 1957 по 1961 год.

Впрочем, и в последующие годы мне несколько раз удавалось нанять его в качестве “консультанта” в институт Ленгипроводхоз, в котором я работала инженером-гидрогеологом после окончания Горного института. Заработок консультанта был мизерный, но все же лучше, чем никакого. Помню нашу совместную работу над проектом “Состояние оросительно-осушительных каналов Северо-западных регионов РСФСР”. Мы мотались по Ленинградской области, обследуя километры каналов на предмет устойчивости их откосов. Состояние этих каналов было плачевным. Не лучше выглядели и откосы. Они обваливались, оплывали, осыпались, зарастали какой-то дрянью. Я их описывала, Иосиф фотографировал. Фотографом он был классным, вероятно, унаследовав отцовский талант. К тому же Александр Иванович разрешил пользоваться его профессиональной аппаратурой. Во всяком случае, при защите моего отчета были особо отмечены “фотографии, блестяще подтверждающие описательную часть проекта”. Возможно, что эти отчеты с Осиными фотографиями до сих пор пылятся в архивах Ленгипроводхоза.

У нас даже возникла шальная идея заработать копейку-другую, написав сценарий для научно-популярного фильма об устойчивости оросительных каналов. Бродский придумал

эффектное название: “Катастрофы не будет”. Имелось в виду, что обвалившиеся откосы никого под собой “не погребут”. Мы написали заявку, и друзья устроили нам встречу с директором “научпопа”, то есть студии научно-популярных фильмов. Он при нас пробежал глазами заявку и сказал: “Это может пойти при одном условии: расцветите сценарий находками”. Мы обещали расцветить и раскланялись, но на другой день идея сценария завяла из-за чудовищной скуки тематики…

Со времен юности Иосиф обладал еще одним редким даром – способностью абстрагироваться от реальной действительности. В такие минуты он был целиком погружен в свои мысли, не заботясь ни о реакции собеседника, ни о его интеллектуальных возможностях. Возможно, именно эти свойства помешали ему сделать блестящую геологическую карьеру».

Конечно, «Баратынский» из Якутска таков – слышит только себя, воспринимает реальность как сон (так говорят «философы-спиритуалисты»), целиком погружен в свои мысли.

Известно, что на следующий год Иосиф вновь отправился в экспедицию в Якутию (о его проблемах со здоровьем – сердце – тут знали и особо не нагружали молодого экспедиционера), однако неожиданно для всех в середине сезона он уехал в Ленинград, объясняя впоследствии свой поступок тем, что его «заели комары», а также несовпадением взглядов на жизнь с начальником партии.

Впрочем, это было и понятно.

Этап накопления впечатлений и жизненного опыта в том виде, каким его находил Бродский, закончился. Было уже бессмысленно играть роль рабочего-геолога-санитара-истопника-сторожа (и так далее), потому что поиск (о котором Иосиф писал Норе Ларионовой в 1958 году) привел к обретению искомого – он будет поэтом и путем отрицания законов тяготения (социальных в том числе) устремит язык вверх, «к тому началу, в котором было Слово».

Так наступило время настоящего умственного и душевного напряжения, когда все, не имевшее прямого отношения к творчеству, к литературе, не имело ровным счетом никакого значения.

В этом смысле вновь интересно привести еще один эпизод из книги Людмилы Штерн: «Бродский попросил меня устроить его в геологическую экспедицию. Я поговорила со своим шефом, унылым мужчиной по имени Иван Егорович Богун, и он пожелал лично побеседовать с будущим сотрудником.

Я позвонила Иосифу: “Приходи завтра на смотрины. Приоденься, побрейся и прояви геологический энтузиазм”.

Бродский явился, обросший трехдневной рыжей щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках…

Итак, Иосиф, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой “Прима”.

Богун поморщился и помахал перед носом ладонью, разгоняя зловонный дым, но этого намека Иосиф не заметил. И тут произошел между ними такой примерно разговор:

– Ваша приятельница утверждает, что вы увлечены геологией, рветесь в поле и будете незаменимым работником – любезно сказал Иван Егорыч.

– Могу себе представить, – пробормотал Бродский и залился румянцем.

– В этом году у нас три экспедиции – Кольский, Магадан и Средняя Азия. Куда бы вы предпочли ехать?

– Не имеет значения, – хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок.

– Вот как! А что вам больше нравится – картирование или поиски и разведка полезных ископа…

– Абсолютно без разницы, – перебил Бродский, – лишь бы вон отсюда.

– Может, гамма-каротаж? – не сдавался начальник.

– Хоть гамма, хоть дельта, один черт! – парировал Бродский.

Богун нахмурился и поджал губы.

– И все же… Какая область геологической деятельности вас особенно привлекает?

– Геологической? – переспросил Иосиф и хихикнул.

Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся и заерзал в кресле.

– Позвольте спросить, – ледяным голосом отчеканил Иван Егорыч, – а что-нибудь вообще вас в жизни интересует?

– Разумеется, – оживился Иосиф, – очень даже! Больше всего на свете меня интересует метафизическая сущность поэзии…

У Богуна брови вместе с глазами полезли на лоб, но рассеянный Бродский не следил за мимикой собеседника.

– Понимаете, – продолжал он, – поэзия – это высшая форма существования языка…

Наконец-то предмет беседы заинтересовал Иосифа Бродского. Он уселся поудобнее, заложил ногу за ногу, снова вытащил “Приму”, чиркнул спичкой и с удовольствием затянулся.

– Видите ли, – доверительно продолжал Иосиф, будто делился сокровенным, – все эти терцины, секстины, децины – всего лишь многократно повторяемая разработка последовавшего

за начальным Словом эха. Они только кажутся искусственной формой организации поэтической речи… Я понятно объясняю?

Ошеломленный Иван Егорыч не поддержал беседы. Он втянул голову в плечи и затравленно смотрел на поэта. Иосиф тем временем разливался вечерним соловьем:

– Я начал всерьез заниматься латынью. Меня очень интересуют различные жанры латинской поэзии. Помните короткие поэмы Катулла? Он очень часто писал ямбом… – Иосиф на секунду задумался. – Я сейчас приведу вам пример…».

Бродский резко встает с кресла и начинает ходить по кабинету Ивана Егоровича Богуна, он размахивает руками и декламирует:

По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,

Поспешил проворным бегом в ту ли глушь

фригийских лесов.

В те ли дебри рощ дремучих, ко святым богини местам.

Подстрекаем буйной страстью, накатившей

яростью пьян,

убелил он острым камнем молодое тело свое.

И, себя почуяв легким, ощутив безмужнюю плоть,

Окропляя теплой кровью кремнистый выжженный луг,

Он взмахнул в руке девичьей полнозвучный,

гулкий тимпан.

Это – твой тимпан, Кивева, твой святой,

о матерь, тимпан!…

Останавливается, замолкает на какое-то мгновение, словно складывает вновь уже сложенные Катуллом строки, и продолжает в полной ажитации:

Брат, через много племен, через много морей переехав,

Прибыл я скорбный свершить поминовенья обряд,

Этим последним тебя одарить приношением смерти

И безответно, увы, к праху немому воззвать,

Раз уж тебя самого судьба похитила злая —

Бедный, коль на беду отнят ты был у меня!

Ныне же, как нам отцов завещан древний обычай,

Скорбный обряд совершу, – вот на могилу дары;

Пали росою на них изобильные братнины слезы.

Их ты прими – и навек, брат мой, привет и прости!

Иван Егорович в ужасе смотрит на неистового стихотворца, и, когда Бродский покидает его кабинет, энергично крутит ему вслед пальцем у виска, потому что так и не понял, кто сейчас перед ним был – клоун или поэт, высоколобый интеллектуал или отпетый мошенник, трезвый или пьяный, больной или здоровый.

А Иосифу неважно, что о нем думает Богун или кто-либо другой, потому что он идет по Невскому, улыбается своим мыслям, размышляет о ямбической силе Катулла, о том, как он виртуозно применил гармонию греческих лирических размеров к латинскому языку, как наполнил эмоциональным эротическим звучанием любовные послания к прекрасной Лесбии и юному Ювенцию.

За этими размышлениями он не замечает, как оказывается перед входом в Дом книги.

Останавливается.

Сам себя вопрошает:

– Зайти что ли?

И отвечает:

– Можно.

Иосиф поднимается по парадной лестнице на второй этаж, где продаются книги по искусству: «Античная коллекция Эрмитажа», «Военная галерея 1812 года Джорджа Доу», «Передвижники», «Советская изобразительная Лениниана»,

«Скульптор Вучетич», «Ленинград в изобразительном искусстве», «Современная советская графика».

Сам не зная почему, он берет с полки именно последнюю, перелистывает ее, всматривается в изображения мускулистых рабочих с закатанными рукавами, колхозниц с огромными бюстами, щекастых детей, космонавтов, напоминающих роботов из школьных конструкторов, большевиков и революционных матросов.

– Будете брать?

Иосиф вздрагивает, как-то суетливо, словно его застали за разглядыванием чего-то непристойного, поднимает глаза и натыкается на оловянного отлива недовольный взгляд продавщицы.

– Нет.

– Ну и поставьте тогда на место!

Иосиф возвращает книгу на полку и выходит на Невский.

Здесь закуривает и думает о том, что все дороги в этом городе ведут к Неве.

С другой стороны, на Невском проспекте едва ли какая-либо другая мысль, касающаяся местной планировки, может прийти в голову.

А на противоположном берегу реки расположены Биржа – Центральный военно-морской музей, Пушкинский Дом, Кунсткамера, университет, Академия художеств. С этой частью города у Бродского тоже были связаны свои воспоминания.

Воспоминание первое

«Ранними вечерами после уроков я пробирался через город к реке, пересекал Дворцовый мост, с тем чтобы забежать в музей за отцом и вместе с ним пешком вернуться домой. Лучше всего бывало, когда он по вечерам оказывался дежурным и музей был уже закрыт. Он появлялся в длинном мраморном коридоре во всем великолепии, с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и парабеллумом в кобуре, болтающимся на ремне на правом боку; морская фуражка с лакированным козырьком и позолоченным “салатом” скрывала его безнадежно лысую голову. “Здравия желаю, капитан”, – говорил я, ибо таков был его чин; он усмехался в ответ и, поскольку дежурство его продолжалось еще около часа, отпускал меня шляться по музею в одиночестве».

Воспоминание второе

«У меня произошла некая фиксация на университете. Я ходил туда вольнослушателем на разные лекции, но это тоже недолго продолжалось. Помню, пошел на лекцию такого человека по фамилии Деркач, который преподавал советскую литературу, и категории, которые он там употреблял – типа “упадочная литература” и т. п. – вывели меня из себя, и я перестал там появляться. Но тем не менее я познакомился с массой людей… Но это было недолго, продолжалось примерно с полгода. И вообще мне больше всего нравился исторический факультет… Впрочем, я думаю, что у меня была некая аллергия, потому что когда я видел какие-то обязательные дисциплины – марксизм-ленинизм, так это кажется называется, – как-то пропадало желание приобщаться… Но все-таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было. Надолго у меня сохранился этот комплекс».

Воспоминание третье

«У меня были два знакомых художника, у которых была мастерская в совершенно замечательном месте, около Академии художеств. Художники были посредственные, хотя талантливые по-своему, прикладники. Довольно забавные собеседники, ужасно остроумные. И у них время от времени собиралась богема, или то, что полагало себя богемой. Лежали на коврах и шкурах. Выпивали. Появлялись какие-то девицы. Потому что художники – они чем привлекательны? У них же натурщицы есть, да? По стандартной табели о рангах – натурщица, она как бы лучше, чем простая смертная. Не говоря уже о чисто порнографическом аспекте всего этого дела…

В основном шли разговоры, окрашенные эротикой. Такое легкое веселье или, скорее, комикование. И трагедии, конечно же: все эти мучительные эмоции по поводу того, кто с кем уходит. Поскольку раскладка была, как всегда, совершенно не та. В общем, такой нормальный спектакль. Были люди, которые приходили на это просто посмотреть, они были зрители. А были актеры. Я, например, был актером…».

Воспоминание четвертое

«И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой.

Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на

правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать».

Моллюск – *Nautilus pompilius* – кораблик обыкновенный.

Вместе с рыбами моллюск плывет на глубине.

Впрочем, все относительно – это *Nautilus pompilius* стоит на месте, а мимо него или даже сквозь него проходит вода.

Плывет в тоске необъяснимой

среди кирпичного надсада

ночной кораблик негасимый

из Александровского сада,

ночной фонарик нелюдимый,

на розу желтую похожий,

над головой своих любимых,

у ног прохожих.

Истошно воя, буксир «Флягин» (типа БОР) прошел наконец под Володарским мостом и вдоль Обуховской обороны продолжил движение в сторону Усть-Ижоры. А его надрывный гудок еще долго тянулся над Невой и затихал только, когда захлопывалась дверь в парадной дома на углу Пестеля и Литейного.

Как правило, Александр Иванович оставался очень доволен прогулками со своим сыном по ленинградским улицам, скверам и набережным. Он шутил, пересказывал супруге забавные эпизоды, имевшие место во время прогулки, цитировал смешные фразы Иосифа и похлопывал его по плечу.

Снимал фуражку и протирал ладонью блестящий от пота лоб.

Иосиф Александрович любил повторять: «Отец, например, не был ни членом партии, всего этого “добра” он не терпел, просто не выносил… и еще он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался, всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в

себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать генетический момент, кровный. У Баратынского есть совершенно феноменальное стихотворение… “Запустение”, где он говорит об отце:

Я познаю его вполне:

Он вдохновением волнуется во мне,

Он славить мне велит леса, долины, воды;

Он убедительно пророчит мне страну,

Где я наследую несрочную весну,

Где разрушения следов я не примечу,

Где в сладостной тени невянущих дубров,

У нескудеющих ручьев,

Я тень священную мне встречу».

В родительской комнате над столом уже включена люстра, и потому резкие тени от высоких спинок стульев перегораживают пространство зубчатым частоколом, напоминающим сооружения на площади Сан-Марко с полотен Каналетто.

Интродукция перед Пятым Эпизодием

1 декабря 1951 года в поточную аудиторию филологического факультета Ленинградского государственного университета имени Андрея Жданова вошли трое молодых людей.

На них были длинные, до колен, рубахи, перепоясанные бечевкой, и посконные брюки, а в руках они держали лукошки. Напевая «Лучинушку», молодые люди заняли места ровно напротив кафедры, достали гусиные перья, свитки бумаги, на которых предполагали записывать лекцию по русской литературе, а также деревянные плошки, в которые, ухарски похлопывая друг друга по плечу, они покрошили черный хлеб и стали разливать принесенный с собой квас.

Достали деревянные ложки:

Лучина моя, лучинушка

берёзовая-о.

Что же ты, моя лучинушка,

не ясно горишь.

Что же ты, моя лучинушка,

не ясно горишь,

Не ясно горишь, не ясно

горишь…

Нарочито серьезное и достаточно громкое исполнение песни (в «поточку» стали заглядывать из коридора) сопровождалось театральными телодвижениями и оперными пассами, отсылающими слушателя и зрителя к образу великого Федора Ивановича Шаляпина, который спел «Лучинушку» в 1907 году.

– Да это же троцкистско-зиновьевская провокация! – раздалось откуда-то с «камчатки».

Далее об этом событии читаем в газете «Комсомольская правда» от 11 декабря 1952 года: «Что это? Когда и где происходило? Не далее, как первого декабря этого года на филологическом факультете Ленинградского университета во время чтения лекции по русскому языку (по другой версии это был курс по русской литературе XIX века). Разыграли эту дикую сцену студенты второго курса Михайлов, Кондратов и Красильников.

Однокурсники, естественно, тут же выпроводили их из аудитории. Общественность университета возмутила безобразная выходка юродствующих “оригиналов”.

Возмущались и в комитете комсомола. Возмущались и смущались. Дело в том, что “герои” описанного выше происшествия – комсомольцы, давно уже снискавшие сомнительную славу своими тихими успехами и не в меру громким поведением.

Еще в прошлом году на филологическом факультете стали поговаривать, что студенты Кондратов, Михайлов, Красильников и Сокольников противопоставляют себя студенческому коллективу, держатся вызывающе и надменно. В то время как их товарищи упорно учатся, накапливая знания, эти невежды,

вызубрив несколько хлестких цитат, жонглируют ими кстати и некстати, выдавая себя за подлинных ценителей литературы.

При этом их оценка литературных явлений носит определенную направленность: глумясь над священными для нас именами Пушкина и Гоголя, они всячески расхваливают гнилую, растленную поэзию символистов и прочих “истов”. С чьей-то легкой руки шумливых недоучек стали называть “неофутуристами”. Хлесткое словечко, видимо, пришлось им по вкусу. Во всяком случае, они против этого названия не протестовали и старались подчеркнуть свою исключительность. Несколько раз приходилось комсомольской группе обсуждать поведение Красильникова и его дружков. Но при этом речь шла только о внешней стороне дела – нарушениях дисциплины и срыве установленного распорядка. Руководители комсомольской организации университета, старшие наставники – преподаватели и профессора не помогли комсомольцам дать политическую оценку “шалостям” так называемых “неофутуристов”. А ведь от этих “шалостей” за версту разит душком мелкобуржуазной разнузданности. И надо было раскрыть, какие враждебные нашим взглядам на жизнь идейки маскируют они шутовством. Но в том-то и беда, что в комсомольской организации университета, как, впрочем, и в некоторых других вузах Ленинграда, не привыкли к любым явлениям студенческой жизни подходить со строго принципиальных и четких идейных позиций. За формой, за множеством “массовых мероприятий” вожаки студенческой молодежи упускают главное – заботу об идейной чистоте, о политической закалке будущего специалиста. А такое упущение неизменно дает себя знать».

После короткого и как в ту пору водилось, яростного разбирательства «юродствующие» студенты – Михаил Красильников (1933–1996) и Юрий Михайлов (1933–1990) были отчислены из университета без права восстановления в течение двух лет. Эдуарда Кондратова (1933–2010) – третьего из любителей испить кваса в университетской аудитории и пропеть «Лучинушку» – пощадили и оставили на курсе.

После смерти Сталина, когда, как мы помним, юного Иосифа Бродского ставили на колени в школе в Соляном переулке, «новых неофутуристов» все-таки восстановили на филфаке, и студенческая жизнь «оригиналов» продолжилась. Более того, к компании Михаила Красильникова присоединились новые яркие и талантливые персонажи: Владимир Уфлянд (1937–2007), Сергей Кулле (1936–1984), Михаил Еремин (1936 г.р.), Леонид Виноградов (1936–2004), Александр Кондратов (1937–1993), Лев Лифшиц (Лосев) (1937–2009).

Владимир Иосифович Уфлянд вспоминал: «24 апреля 1956 года мы с нашим замечательным другом Мишей Красильниковым открывали на Неве перед филологическим факультетом купальный сезон. Плыли по Неве льдины, с Ладожского озера, и мы между льдин ныряли. Кто-то стоял наготове с маленькой водки, чтобы нас быстро согреть, если останемся живы».

О филологах-экспериментаторах тогда в Ленинграде говорили многие.

Это и понятно, ведь они прилагали достаточно усилий, чтобы обратить на себя внимание.

Например, молодые люди могли запросто прилечь среди обескураженных прохожих на заснеженный или высушенный летним зноем Невский, чтобы таким образом лучше всмотреться в звездное небо, читая при этом стихи.

Красильников, как всегда, начинал:

Гроза настигла одиноких,

Тоской потасканных прохожих.

На мостовой царили ноги

В непромокаемых калошах.

Они тела несли на ужин,

От ливня крышею накрытый.

А в это время даже лужи

Приобретали лазуриты.

Деревья долго сокрушались,

Что дождь забудет прекратиться.

Их неустанно украшали

Вдали горящие зарницы.

Печные трубы в лентах дыма

Изображали голос альта.

На них глядел неумолимо

Осмысленный зрачок асфальта.

Отвердевали мысли, вещась,

Глаза цветы срывали с веток.

И тротуар, плывущий в вечер,

Устал тонуть в потоке света.

Потом подхватывал Уфлянд:

Крестьянин

крепок костями.

Он принципиален и прост.

Мне хочется стать Крестьянином,

вступив,

если надо,

в колхоз.

Судьба у крестьянина древняя:

жать,

в землю зерно бросать,

да изредка

время от времени

Россию ходить спасать

от немцев, варяг или греков.

Ему помогает Мороз.

Я тоже сделаюсь крепок,

принципиален

и прост.

Так называемый «поэтический круг Михаила Красильникова» (также известный как «филологическая школа») сформировался в Ленинграде в середине 50-х годов и потрясал гуманитарную общественность города на Неве до начала 60-х. Более того, арест Красильникова в 1956 году по статье 58–10 на 4 года (выкрикивал антисоветские лозунги во время демонстрации, посвященной Великому Октябрю) и три года лагерей в Мордовии лишь добавили «филологам» популярности.

Кстати, следует заметить, что, выйдя на свободу в 1960-м году, Михаил Красильников сумел восстановиться в ЛГУ и закончить его.

Отличительной чертой этого «поэтического круга» было равнение на Маяковского с его радикальным призывом «сбросить с корабля современности» устаревшие и закосневшие формы литературного творчества. «Филологи» охотно примеривали на себя маски футуристов и обэреутов, имажинистов и акмеистов, оригинально и вполне остроумно балансируя на грани взаимоисключающих течений и направлений в поэзии. Как правило, чтение стихов друзья Михаила Красильникова (да и он сам, разумеется) сопровождали хеппенингами (флешмобами, как сказали бы сегодня). Вспоминается известное истребление киселя в университетской столовой, когда «филологи» на глазах иных изумленных студентов употребили все запасы этого студенистого кушанья, сопроводив процедуру чтением своих поэтических опусов.

Столь экзотическая, совершенно недопустимая по тем временам манера выражаться была закономерным результатом интеллектуального поиска свободы (как внутренней, так и внешней) – свободы творчества, поведения и мировоззрения.

В своей заметке «Манера выражаться» Владимир Уфлянд писал: «В детстве я понял, что люблю выдумывать. Точнее делать из того, что вижу, нечто мне более по вкусу. Потом заметил, что эти изделия вымысла многим нравятся. Потом обнаружил, что могу рисовать и писать в рифму.

Потом оказалось, что это называется самовыражением.

Самым дешевым способом самовыражения выходило

сочинение в рифму. В тюрьме (в 1959 году В. И. Уфлянд провел несколько месяцев в «Крестах» по обвинению в хулиганстве – *Прим. авт.*) мне не нужно было ни бумаги, ни карандаша. Я сочинял в уме. Когда вернулся домой, записал на клочках бумаги. Этому способу самовыражения и предавался, пока не сделал еще одно открытие.

То, что я рисовал на клочке примерно в квадратный дециметр, требовало, чтобы описать в словах, например, на машинке, гораздо больше бумаги. Еще один экономный способ выражаться.

Только позже жизнь вынудила создавать пространные вещи: драматургию, прозу.

И все-таки два самых экономных способа самовыражения остаются моими любимыми: рифмованные тексты и рисунки пером. Тем более, что леса для бумаги и карандашей остается на Земле все меньше.

Более громоздкими способами выражаться тоже овладел. Но прибегаю к ним реже».

Другим полюсом студенческого поэтического движения в Ленинграде стало литературное объединение в Горном институте, которое возглавлял поэт-педагог Глеб Семенов (1918–1982).

В объединение входили Александр Городницкий (1933 г. р), Андрей Битов (1937 г.р.), Елена Кумпан (1938–2013), Яков Виньковецкий (1938–1984), Глеб Горбовский (1931 г.р.), Александр Кушнер (1936 г.р.), Владимир Британишский (1933–2015), Олег Тарутин (1935–2000), Александр Гдалин (1933 г.р.), а также Давид Дар (1910–1980).

В отличие от склонных к эпатажу «филологов», «горняки» более тяготели к теоретизированию, к напряженной, доскональной работе над словом (характерно, что многие из них стали впоследствии профессиональными прозаиками и поэтами) и к предельной детализации, а их литературные собрания более напоминали вузовские семинары с аргументированными выступлениями оппонентов и доброжелательными репликами учителей-наставников.

Читает Глеб Яковлевич Горбовский:

Обломок пня, охапка сучьев,

огня и дыма вороха.

Обсушишь ноги – сразу лучше,

захочешь есть – в реке уха.

Дрожащий свет забрался в зелень

и заблудился в трех соснах.

болотный ветер еле-еле

передвигался, полный сна…

Костер ворчит,

я понимаю:

ведь он живой,

поспать не прочь…

Но как уснуть, когда такая

холодная под боком ночь?

…Костер и я…

На всю округу

нас только двое, два звена,

живых, не признающих сна,

почти похожих друг на друга…

Его сменяет Владимир Львович Британишский:

В столице вдруг похолодало:

дул ветер с северных морей,

из Арктики, из-за Урала,

из заполярных лагерей.

Он прямо в горле грубо комкал

всю ложь и фальшь пустых речей,

он снегом беспощадно колким

хлестал по лицам москвичей.

Весь проволочный, злой, колючий,

как заключенный, как беглец,

всю хрупкость их благополучий

он обнаружил наконец.

Он был кошмаром полуночным,

сплошным клубком запретных тем.

Он теми был уполномочен,

кто без него остался б нем.

Уже находясь в Америке, спустя годы Иосиф Бродский признается: «В геологических экспедициях в ту пору подвизался такой поэт – Владимир Британишский… И кто-то мне показал его книжку, которая называлась “Поиски”… я подумал, что на эту же самую тему можно и получше написать».

По-видимому, будущие геологи, геодезисты, маркшейдеры, газовики и нефтяники подходили к литературному творчеству куда как серьезней (кстати, профессиональные советские литераторы к «горнякам» относились с симпатией, помогали с публикациями, чего нельзя было сказать о «филологах»-авангардистах, чьи выходки порой воспринимались не иначе как юношеский инфантилизм, да и просто хулиганство).

Следовательно, отношения между «кругом Красильникова» и «кругом Семенова» были не самыми теплыми.

Жесткая опека со стороны комитета комсомола ЛГУ (особенно после ареста Красильникова) и чрезмерная серьезность, убивающая живую поэзию питомцев Глеба Семенова, открывали список взаимных претензий «филологов» и «горняков».

Однако Владимир Британишский признавал, что «в университетском лито были разные люди, в том числе

талантливые, интересные, достойные, в этом я убедился в декабре 1959-го на вечере университетских поэтов, там я познакомился с Лифшицем (будущим Лосевым – *Прим. авт.*) и услышал Сергея Кулле».

Меж тем насущной проблемой для всех участников этого параллельного официальному литературному процессу движения вне зависимости от их взглядов на творчество была проблема публикаций.

Конечно, читать свои стихи на «квартирниках» и литературных вечерах – это похвально и полезно для стихотворца, но увидеть свои сочинения напечатанными, взять в руки свою книгу или сборник с включенными в него своими стихами, это нечто совсем иное. Иное ощущение, иной статус, иное позиционирование себя в кругу друзей (и недругов) по цеху.

Владимир Львович Британишский так описывал данную ситуацию в то время: «Студенческое поэтическое движение, естественно, соприкасалось и переплеталось с первыми ростками “самиздата” – рукописными и ротаторными журналами, альманахами, сборниками и с оживлением студенческой стенной печати, существовавшей легально, но вышедшей за рамки и подвергшейся разгрому.

Связь того и другого, и третьего довольно четко прослеживает первый секретарь Ленинградского горкома КПСС И. В. Спиридонов в докладе на пленуме горкома КПСС. Текст доклада печатался в ленинградской газете “Смена” от 14 декабря 1956 года. За молодежь взялись и сразу очень крепко после Будапешта, но все, о чем говорится в докладе, все, на что власти вдруг обратили внимание, появилось раньше, это итог развития двух с половиной лет, 54 – 56-го, развития “по восходящей”. Но обратимся к тексту доклада.

«…Среди некоторой части вузовской молодежи стали проявляться нездоровые настроения. Эти настроения особенно заметны у некоторых студентов, участвующих в работе различного рода литературных объединений, кружков художественной самодеятельности, в выпуске газет, альманахов. Например, группа студентов II курса Института инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова выпустила рукописный журнал “Свежие голоса”. Журнал выступил против социалистического реализма, за так называемую “свободу творчества”».

В этом бурлении творческих страстей (поэты, как известно, люди эмоциональные) шел чрезвычайно важный процесс формирования нового подхода к литературному творчеству – не как к заказу, спущенному сверху, со всеми вытекающими отсюда

последствиями (незыблемость редакторской правки, неизбежность вмешательства в процесс создания произведения «третьих» сил, законы цензуры и самоцензуры), а как к глубоко личному, глубинному акту, свободному высказыванию, которое никто не может запретить и тем более контролировать. Разумеется, на рубеже 50–60-х годов этот процесс находился еще в зачаточном состоянии, но уже сам факт того, что это стало возможным, говорил о многом.

20-летний Иосиф Бродский в силу объективных и уже хорошо известных нам причин не попадал ни в ту, ни в другую литературную группировку.

Для «филологов» он был слишком юн и наивен в своих самостоятельных языковедческих штудиях, а для «горняков» слишком юн и дерзок, причем, как всем казалось, абсолютно беспочвенно дерзок, чтобы не сказать нагл.

Ситуацию осложнил один эпизод, имевший место 14 февраля 1960 года на «турнире поэтов» в ДК имени Горького, что у Нарвских ворот. Ведущим мероприятия был Глеб Семенов.

«Турнир» шел своим чередом, и ничто не предвещало конфликта ровно до того момента, когда на сцену не поднялся Бродский.

В свойственной для себя завывающей, медитативной манере он прочитал свое «Еврейское кладбище».

Еврейское кладбище около Ленинграда.

Кривой забор из гнилой фанеры.

За кривым забором лежат рядом

юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.

Для себя копили.

Для других умирали.

Но сначала платили налоги,

уважали пристава,

и в этом мире, безвыходно материальном,

толковали Талмуд,

оставаясь идеалистами.

Может, видели больше.

А, возможно, верили слепо.

Но учили детей, чтобы были терпимы

и стали упорны.

И не сеяли хлеба.

Никогда не сеяли хлеба.

Просто сами ложились

в холодную землю, как зерна.

И навек засыпали…

Молодая аудитория встретила «Еврейское кладбище» с восторгом, однако Глеб Сергеевич выступил неожиданно резко против молодого стихотворца, обвинив его в излишней и неуместной браваде в той области и в той теме, где она категорически недопустима.

Яков Гордин (тоже участник «турнира поэтов») вспоминал: «Высокий поэт, в своей многострадальной жизни приучивший себя к гордой замкнутости, к молчаливому противостоянию, Глеб Сергеевич возмутился тем наивным бунтарством, которое излучал Иосиф, возмутился свободой, казавшейся незаслуженной и необеспеченной дарованиями».

Однако Бродский не смутился и, не желая вступать в словесную перепалку с мэтром, прочел еще одно свое сочинение, которое называлось «Стихи под эпиграфом».

Каждый пред Богом

наг.

Жалок,

наг

и убог.

В каждой музыке

Бах,

В каждом из нас

Бог.

Ибо вечность —

богам.

Бренность —

удел быков…

Зал взорвался бурей аплодисментов, под которые Иосифу уже с трудом удалось довести чтение до конца:

У каждого свой

храм.

И каждому свой

гроб.

Юродствуй,

воруй,

молись!

Будь одинок,

как перст!..

…Словно быкам —

хлыст,

вечен богам

крест.

Эпиграфом к стихотворению стояла латинская поговорка: Quod licet Jovi, non licet bovi – что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Семенов был в бешенстве, свое неудовольствие как от услышанного, так и от поведения этого дерзкого, мало кому известного выскочки выказали и другие «горняки», присутствовавшие на турнире.

Далее, не говоря ни слова, Иосиф спустился со сцены и покинул ДК имени Горького, что только подлило масла в огонь, и дискуссия о его стихах переросла в скандал.

Однако назвать Бродского тогда никому не известным стихотворцем было бы ошибкой. Евгений Рейн, который познакомился с ним в 1959 году, рассказывал, что Бродский часто выступал на всевозможных литературных вечерах, «квартирниках» и в общежитиях, причем порой, читая стихи, он входил в такое экстатическое состояние, что остановить его было уже невозможно. Тогда поэта выгоняли на улицу. Но он не отчаивался и направлялся в другие гости, чтобы продолжить чтение там.

Так было и в тот день, когда он без единого слова вышел из ДК имени Горького и по Розенштейна пошел к Обводному. Ни обиды, ни раздражения на этих людей (на Глеба Семенова, в частности) он не чувствовал. Просто был рад, что ему удалось прочитать два своих текста, и большинству из присутствовавших в зале они понравились. Значит, день прожит не зря.

За этими размышлениями Иосиф вышел к Обводному каналу.

«А ведь это места моего детства», – помыслилось.

Облокотился на парапет, закурил и принялся рассматривать черную воду в расселинах грязного льда, под которым на глубине плыли сонные рыбы.

Наверное, это были те же самые рыбы, что несколько лет

назад из-под воды рассматривали 15-летнего Иосифа, который тогда бросил школу и слонялся по пустынной набережной Обводного канала.

На Балтийском вокзале зашел в буфет.

Путевые обходчики мрачно пили пиво и сиплыми, простуженными голосами обсуждали проигрыши «Зенита» в конце прошлого сезона – тбилисскому «Динамо», столичным «Торпедо» и ЦСК МО.

В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.

Тоже взял пива и пристроился у окна, в которое можно было видеть задворки вокзала, где шла разгрузка товарняка.

Рабочие таскали ящики, ставили их на землю, пинали их ногами, лениво переругивались. По репродуктору сообщили о прибытии на пятый путь почтово-багажного из Пскова.

Поймал на себе благосклонный взгляд буфетчицы и почему-то покраснел. Путевые обходчики тем временем допили пиво и, грохоча кирзовыми сапогами по кафельному полу, стали в молчании покидать буфет.

Вместе с ними на улицу вышел и Иосиф.

В который раз город показался ему совершенно незнакомым, чужим, надменным, абсолютно надуманным, по-февральски болезненным и, конечно, странным.

Из «Путеводителя по переименованному городу» Иосифа Бродского: «Выходцы из аристократии, дворянства или духовенства, все эти писатели принадлежали, если воспользоваться экономической классификацией, к среднему классу, который почти единственный ответственен за существование литературы где бы то ни было. За двумя-тремя исключениями, все они жили писательством, то есть достаточно скудно, чтобы без комментариев или изумления понимать трудности беднейших так же, как и роскошь тех, кто наверху. Последние привлекали их внимание куда меньше, хотя бы потому, что вероятность присоединиться к ним была гораздо ниже. Соответственно, мы имеем весьма подробную, почти стереоскопическую картину внутреннего реального Санкт-Петербурга, поскольку именно прозябание составляет основу действительности; маленький человек всегда универсален. Более того, чем прекраснее то, что его непосредственно окружает, тем более разителен его контраст с оным. Не удивительно, что все они – отставные офицеры, бедные вдовы, ограбленные государственные чиновники, голодные журналисты, униженные псари, туберкулезные студенты и так далее, – увиденные на фоне безупречно классических, утопических портиков, преследовали воображение писателей и наводняли первые главы русской прозы.

Так часто возникали эти персонажи на бумаге, и так много было людей, населявших бумагу ими, и так безупречно владели эти люди своим материалом, и таков был этот материал – слова, – что очень скоро в городе стало твориться нечто странное». И вот теперь, возвращаясь с «турнира поэтов», Иосиф прекрасно понимал, что безупречное владением «материалом» (читай: словом) является единственной для него возможностью постигнуть не только этот непостижимый город, но и окружающий его мир в целом.

Конечно, у каждого разные возможности, исходя из которых вытекают и соответствующие задачи – заработать деньги, стать известным, уехать за границу, нравиться девушкам, постигнуть мир в целом и самого себя в частности. Именно последнюю задачу Иосиф Александрович находил имеющей смысл и актуальной для себя.

Атмосфера поэтического неистовства во второй половине 50-х годов в студенческой среде Ленинграда не могла не накрыть юного Бродского.

По воспоминаниям журналиста, критика театра и кино Натальи Шарымовой, местом частых литературных посиделок в то время были Публичная библиотека на Фонтанке, ресторан «Восточный» и «Крыша».

Также большими компаниями – Виктор Голявкин и Андрей Битов, Сергей Вольф и Сергей Кулле, Владимир Уфлянд и Михаил Красильников, Константин Азадовский и Владимир Британишский, Глеб Горбовский и приезжавший из Москвы Станислав Красовицкий – любили ездить в Солнечное или Комарово, в Пушкин или Павловск.

Иосиф принимал участие в этих поездках и собраниях, однако его знакомства с молодыми поэтами и прозаиками носили, скорее, поверхностный характер, потому что, не найдя своего голоса и не обретя своей интонации, было невозможно на равных общаться с людьми, многие из которых уже неофициально считались классиками неформальной литературы Ленинграда.

Бродский присматривался к этим талантливым и ярким людям, вероятно, перенимая у них стиль и умение себя подать, а также абсолютно святую уверенность в собственной исключительности и гениальности.

При этом чрезвычайно важно было осознание того, что твой путь в литературе должен кардинально отличаться от пути каждого из них, а для этого было необходимо почитать и послушать этих людей, насытиться знанием и атмосферой коллективного творчества, чтобы в какой-то момент сделать шаг вперед и уже больше не оглядываться ни на кого. Как ни странно,

в числе поэтов, сформировавших его главный стихотворный вектор, первым Бродский всегда называл москвича Бориса Абрамовича Слуцкого.

В своей книге «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии» Лев Лосев пишет: «Слуцкий открыл свободное пространство между выдохшимися стиховыми формами девятнадцатого века и камерным чистым экспериментаторством. Оказывается, достаточно только чуть-чуть варьировать классические размеры – и стих, не разваливаясь, приобретает гибкость. Бродский начинает, вслед за Слуцким, осваивать нетронутые ресурсы русского классического стиха…

Вообще притворяющийся почти прозой стих Слуцкого насквозь пронизан скрепляющими его ткань поэтическими приемами – аллитерациями, ассонансами, анафорами, парономазиями (сближением слов по звучанию), каламбурами и прочим. Своего рода поклоном учителю, который научил его использовать игровую стихию стиха для серьезных, неигровых задач, служит начало поэмы Бродского “Исаак и Авраам”».

Читаем у Бродского:

По-русски Исаак теряет звук.

Ни тень его, ни дух (стрела в излете)

не ропщут против буквы вместо двух

в пустых устах (в его последней плоти).

Другой здесь нет – пойди ищи-свищи.

И этой также – капли, крошки, малость.

Исак вообще огарок той свечи,

что всеми Исааком прежде звалась.

И звук вернуть возможно – лишь крича:

«Исак! Исак!» – и это справа, слева:

«Исак! Исак!» – и в тот же миг свеча

колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

У Бориса Абрамовича тоже было стихотворение на эту тему:

Прославляют везде Исаака,

Возглашают со всех алтарей.

А с Исаком обходятся всяко

И пускают не дальше дверей…

Известно, что весной 1960 года Иосиф специально ездил в Москву, чтобы познакомиться со Слуцким лично, показать ему свои стихи и выслушать советы человека, чье творчество молодой Бродский определился для себя как целеуказующее.

Это уже потом будет упомянутый выше Евгений Абрамович Баратынский, чтение стихов которого «по-новому», думается, было бы невозможно без творческого и человеческого общения со Слуцким.

В своей книге Лев Лосев пишет: «Самое существенное, однако, что унаследовал Бродский от Слуцкого, или, по крайней мере, от того, что он прочитывал в Слуцком, – это общая тональность стиха, та стилистическая доминанта, которая выражает позицию, принятую автором по отношению к миру».

В 1975 году Иосиф Бродский скажет о своем учителе: «Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов. Он с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное – конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорит языком XX века… Его интонация – жесткая, трагичная и бесстрастная – способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил».

Пожалуй, ключевыми словами тут являются «расскажет, если захочет»! Можно утверждать, что для Иосифа именно эта невиданная ранее свобода стихотворчества перевесила и тематическое новаторство, и языковые открытия, и виртуозное владение словом Слуцкого, не говоря уж об идеологических разногласиях и абсолютно разном их взгляде на жизнь в целом.

Все это было на периферии его творческого сознания.

Находясь уже Нью-Йорке, Бродский рассказывал Соломону Волкову: «Мне кто-то показал “Литературную газету” с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне тогда было лет шестнадцать, вероятно. Я в те времена занимался самообразованием, ходил в библиотеки. Нашел там, к примеру, Роберта Бернса в переводах Маршака. Мне это все ужасно нравилось, но сам я ничего не писал и даже не думал об этом. А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление».

Удивительно, но именно этот человек – кавалер трех орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды и ордена Знак Почета, медалей «За оборону Москвы» и «За освобождение Белграда», член Союза советских писателей, твердокаменный коммунист, который в 1958 году выступил против Бориса Пастернака и осудил публикацию романа «Доктор Живаго» на Западе, сумел сказать что-то такое, что предназначалось именно недоучившемуся второгоднику, разнорабочему и санитару в морге, истопнику и геологу, начинающему поэту Бродскому.

И что самое удивительное – Иосиф услышал его!

В тот февральский день 1960-го года из ДК, что у Нарвских ворот, Иосиф вернулся домой поздно.

Родители уже спали.

Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить их, он пробрался на свою половину и включил настольную лампу.

Тут все было по-прежнему: стопки исписанных тетрадей, пачки фотографий, в шкафу под стеклом, как под водой, книги, на подоконнике цветы, более напоминающие заросли папоротника и бананового дерева с картины «Архитектурный пейзаж с каналом» Гюбера Робера из коллекции Государственного Эрмитажа.

Иосиф сел к столу.

На глаза попался конверт из крафтовой бумаги с бланком «Фотолаборатория Института челюстно-лицевой хирургии».

А ведь, честно говоря, страшно смотреть, что там внутри, потому что слишком хорошо он все помнит – портрет человека, которому медведь содрал лицо, портрет ребенка с врожденным дефектом верхней губы, портрет женщины, которой отрезали ухо, портрет старика, которого переехал трамвай.

Фотолаборантом в этот институт Иосифа утроил его отец (какой-никакой заработок), но продержаться он там смог не больше двух месяцев.

Выключил настольную лампу, включил настольную лампу.
На улице идет снег.
Мокрый снег летит наискосок.

Уснуло все. Окно. И снег в окне.

Соседней крыши белый скат. Как скатерть

ее конек. И весь квартал во сне,

разрезанный оконной рамой насмерть,

Уснули стены, арки, окна, всё,

Булыжники, торцы, решетки, клумбы,

Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо…

И снова выключил настольную лампу.
Эписодий Пятый

С морем дело легче иметь мужам, чем с пашней.

За морем больше места для подвигов, пьянства, шашней,

Завтрашний день мужам приятнее, чем вчерашний.

Вот отчего аргонавты вступили в борьбу с пучиной.

Праздность была причиной. Ах, нужно быть мужчиной,

чтоб соблазниться – чем? Чужой золотой овчиной

За морем – все другое: и языки, и нравы.

Там не боятся дурной и доброй не ищут славы,

мысли людей корявы, и нет на сердце управы.

Первое полухорие завершает пение и, соблюдая строгую очередность, сходит со сцены дома культуры имени Горького, что означает завершение «турнира поэтов» и начало Пятого Эписодия.

Быть в России прозаиком или поэтом это, как известно, не только быть прозаиком или поэтом, не только заниматься созданием литературных произведений, но и (если вообще не в первую очередь) вступать в определенные отношения с государством. Особенно когда дело доходит до публикации текстов.

По понятным причинам ни о какой публикации перечисленных выше поэтов в официальных советских журналах и издательствах не могло быть и речи. Следовательно, тема «самиздата» назрела сама собой и по определению вступила в неразрешимый конфликт с монополией режима в этой области (как, впрочем, и во всех других областях).

В середине – конце 50-х годов рукописные и машинописные журналы и альманахи возникали повсеместно, а изготовление и чтение их носило по большей части полуподпольный характер.

Хотя бывали и исключения.

В своей статье «Студенческое поэтическое движение в Ленинграде в начале оттепели» Владимир Британишский писал: «Профком позволил нам “издать”, то есть напечатать на ротаторе и переплести, два сборника стихов нашего лито (литобъединения). Первый в конце 55-го тиражом 300 экз., второй в конце 56-го – начале 57-го тиражом 500 экз. Первый сборник мы разослали по вузам страны (и не только геологическим), и он дошел до адресатов, я встречал много позже людей, узнавших наши имена именно по этому сборнику. Второй сборник был сожжен в 1957-м во дворе института, так что сохранились считанные экземпляры. Также была организована публикация “стихов ленинградских горняков” в журнале “Молодая гвардия” в конце 1956 года, но «это была другая “Молодая гвардия”, просуществовавшая года полтора; эта московская публикация, “признание в Москве”, помогли нашему лито продержаться в трудные послебудапештские месяцы, когда власти взялись за молодежь; но в итоге взялись и за наше лито».

В Москве поэтическая жизнь бурлила не в меньшей, если не в большей степени, чем на берегах Невы.

Здесь, в столице, в 1959 году Александр Ильич Гинзбург начал выпускать машинописный альманах поэзии «Синтакис» с периодичностью раз в два с половиной – три месяца.

Арина Гинзбург (вдова Александра Ильича) вспоминала: «На гребне всеобщего увлечения стихами в конце 50-х – начале 60-х гг. Алик Гинзбург, двадцатилетний студент факультета журналистики Московского университета, совершенно

естественно пришел к мысли, что надо бы все эти разрозненные машинописные листочки, которые ходили по рукам, читались на литобъединениях и в маленьких литературных кружках, а потом снова и снова перепечатывались… собрать вместе и сделать сборник».

Журнал распространялся в дружеском кругу с просьбой перепечатать и распространить дальше. В общей сложности в «Синтаксисе» были напечатаны стихи более 30 поэтов, а также проза ленинградского писателя Виктора Голявкина (1929–2001). Тираж «Синтаксиса» колебался от 200 до 300 экземпляров, что для подобного рода изданий было рекордом.

Принципиальным отличием альманаха от современной ему самиздатовской периодики было то, что он издавался открыто, и на его обложке можно было прочитать имя и фамилию издателя, а также его адрес, что, разумеется, воспринималось властями как вызов, а читателем как невиданная доселе смелость главного редактора.

Лев Лосев пишет: «“Синтаксис” был первым самиздатским журналом, получившим широкую известность. Его распространяли в Москве и Ленинграде, о нем узнали за рубежом, на него обрушилась советская пресса: в газете “Известия” был напечатан пасквиль “Бездельники карабкаются на Парнас”. Гинзбург в июле 1960 года был арестован и осужден на два года лагерей».

Александр Ильич успел выпустить три номера и подготовить четвертый и пятый. В частности, четвертый номер должен был быть посвящен ленинградской поэзии, среди авторов значились Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Наталья Горбаневская (хотя Наталью Евгеньевну точнее было бы назвать московско-ленинградским автором), а также Иосиф Бродский.

После закрытия альманаха и ареста его составителя и издателя весь архив «Синтаксиса» был изъят КГБ.

Можно предположить, что именно с этого момента все участники сборника (а некоторые уже и задолго до этого) попали в разработку «конторы».

Следует заметить, что в стихах авторов «Синтаксиса» не было ничего антисоветского в прямом смысле этого слова – критики строя, КПСС и ее партийных лидеров, призывов к свержению советской власти или насмешек над советским человеком. Однако, как утверждает в своей книге «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии» Лев Лосев: «Стихотворения поэтов “Синтаксиса”, в том числе и Бродского, были идеологически неприемлемы для советской цензуры как индивидуалистические или пессимистические… молодых людей вызывали на допросы в

Комитет госбезопасности, стращали искалеченной жизнью и тюрьмой, если они не образумятся. С этого времени, если не раньше, Бродский находился в поле внимания ленинградского КГБ. Сам он объяснял интерес к нему репрессивного учреждения просто тем, что КГБ надо было оправдывать свое существование: “Поскольку эти чуваки из госбезопасности существуют, то они организуют систему доносов. На основании доносов у них собирается какая-то информация. А на основании этой информации уже что-то можно предпринять. Особенно это удобно, если вы имеете дело с литератором… потому что на каждого месье существует свое досье, и это досье растет. Если же вы литератор, то это досье растет гораздо быстрее – потому что туда вкладываются ваши манускрипты: стишки или романы”».

Разгром «Синтаксиса» и посадка Александра Гинзбурга (всего он имел три судимости – в 1960, 1967 и 1978 годах) – события сами по себе, имеющие отношение, скорее, к области общественно-политической, нежели к литературно-художественной, стали рубежами в жизни тех самых тридцати с лишним поэтов, произведения которых увидели свет на страницах альманаха.

Запуская, говоря современным языком, проект «Синтаксис», Александр Ильич не мог не понимать (особенно, когда об альманахе заговорили на Западе), что все его участники окажутся под пристальным вниманием КГБ, и далеко не все найдут в себе силы противостоять этому «пристальному вниманию».

Разумеется, каждый из них был вправе сделать свой вывод из происшедшего, а также из первого (и не всегда последнего) столкновения с «комитетом».

Исключение составила разве что Наталья Горбаневская, исключенная с филфака МГУ (не без участия КГБ) и учившаяся на тот момент заочно на филфаке ЛГУ. Будучи самобытным и одаренным поэтом, Наталья Евгеньевна была уже достаточно известным в Москве диссидентом. Первые столкновения с «конторой» у нее произошли еще в 1956 году.

Свой вывод из происшедшего сделал, надо думать, и Бродский.

С одной стороны, участие в альманахе, безусловно, вдохновило. Молодого поэта пригласили в компанию весьма известных в городе «горняков», которые еще совсем недавно смотрели на него свысока. Можно предположить, что определенный элемент фрондерства в каком-то смысле импонировал 20-летнему Иосифу, ведь он по умолчанию вошел в компанию избранных, за которыми приглядывает всемогущий КГБ.

Конечно, это было утомительно, унизительно, небезопасно, чревато печальными последствиями в конце концов, но в то же время и в чем-то престижно – значит, ты занимаешься чем-то таким, что представляет интерес для секретной службы страны (и неважно, с каким знаком, «плюс» или «минус»).

Из интервью Иосифа Бродского с Соломоном Волковым: «Я думаю, что в принципе идея ВЧК, то есть идея защиты революции от ее внешних и внутренних врагов, – подобная идея более или менее естественна. Если, конечно, принять естественность революции – что, в общем, уже вполне неестественно. Но со временем это неестественное порождение обретает какой-то натуральный, естественный вид, то есть завоевывает определенное пространство».

Более того, оказываясь в этом «неестественном» пространстве, соприкасаясь с ним, начинаешь каким-то подсознательным, даже интуитивным образом подстраиваться под него, начинаешь жить в нем, принимаешь правила этой игры, что порой ведется на грани здравого смысла.

Но, с другой стороны, Бродскому, как и другим участникам «самиздата», по-прежнему приходилось перебиваться скудными заработками, выполняя при этом бессмысленную работу, смиряться с тем, что твои стихи никогда не выйдут миллионным тиражом и едва ли найдут широкого читателя.

Это состояние раздвоенности очень точно передано в стихотворении Натальи Горбаневской «Двойное восьмистишье»:

Донкихотская страна

не родная сторона,

хоть и не чужая.

Ходят волны-буруны

на четыре стороны,

подмывают валуны,

где гнездились вороны,

воронят рожая.

Кто на ослике верхом?

Кто спевает петухом

в свете дня жестоком?

Веют ветры-тайфуны

на четыре стороны,

крошат в крошку валуны,

где сходились форумы

Запада с Востоком.

Хотя для Бродского подобное состояние не было в новинку.

Он уже привык к нему в школе, на заводе, в геологических партиях.

Он словно бы смотрел на себя со стороны, как, например, Лев Толстой смотрел на Максима Горького, и вещал при этом великим старцем: «Не могу отнестись к нему искренно, сам не знаю почему, а не могу… Горький – злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него душа соглядатая, он пришёл откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всём доносит какому-то своему богу. А бог у него – урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

А все происходило следующим образом: на заседании студенческого общества в университете Иосиф цитировал Троцкого и актерствовал, на лито «горняков» был брутален и немногословен, обрушивая на слушателей немыслимые поэтические эскапады, мог быть остроумным интеллектуалом и грубым пошляком.

Искал себя, примеряя маски…

Стало быть, не мог отнестись к самому себе искренно, потому что в первую очередь присматривался к самому себе и самому же себе на себя доносил.

А меж тем круг ленинградских знакомых Бродского рос, в его окружении появлялись поэты и прозаики, геологи и «вечные студенты», переводчики и военные, любители метафизических прений и просто красивые девушки.

Именно в это время в стенах молодежной газеты «Смена», где периодически собирались ленинградские литераторы, Иосиф познакомился с Олегом Ивановичем Шахматовым (1933–2006),

музыкантом и сочинителем стихотворных текстов.

Олег Шахматов вспоминал: «Я встретился с ним, будучи военным лётчиком. Я уже писал стихи, их печатали и хвалили на литературном объединении, где я выделялся (потому что был в военной форме) и всегда был окружён энтузиастами. Бродского я заметил и выделил сразу… Мы вышли с ним на холодный Невский, хотя мне предлагали продолжить наши занятия. Я сам взял у него листки, на которых были написаны его стихи. Он меня об этом не просил. По дороге я читал эти стихи, и, не доходя до Фонтанки, сказал ему, что он – большой поэт».

В интервью, данном Соломону Волкову, Иосиф следующим образом отзывался о своем новом друге: «Мы познакомились с человеком по имени Олег Шахматов. Он был старше нас, уже отслужил в армии, был там летчиком. Из армии его выгнали – то ли по пьянке, то ли потому, что он за командирскими женами бегал. Может быть, и то и другое. Он мотался по стране, не находил себе места…

Между тем Шахматов был человеком весьма незаурядным: колоссальная к музыке способность, играл на гитаре, вообще талантливая фигура. Общаться с ним было интересно. Потом… дали ему год за хулиганство. Он загремел, потом освободился, опять приехал в Ленинград. Я к нему хорошо относился, потому что мне с ним было очень интересно… Потом Шахматов снова уехал и объявился в Самарканде».

В свою очередь Олег Шахматов ввел Бродского в круг Александра Уманского, любителя оккультных наук, исследователя индуизма и поклонника хатха-йоги, который к тому же сочинял музыку, писал статьи по теоретической физике и философии. Информация, которой мы располагаем касательно Уманского, увы, минимальна: Александр Аркадьевич родился в 1933 году в Ленинграде, по образованию был художником-оформителем, предположительно в начале 70-х выехал в США.

Квартира Уманского, где собирались его поклонники (Иосиф в том числе), была классической «берлогой» питерского интеллектуала – шестиметровые потолки, тяжелые шторы на высоких, округлённых сверху окнах, полумрак, творческий беспорядок, рояль, графические этюды на стенах, письменный стол, заваленный рукописями, шкафы с книгами. Здесь читали Гегеля и Бертрана Рассела, Маркса и Рамакришну, спорили, пили вино (хотя Бродский предпочитал водку), музицировали.

Лев Лосев писал о «кружке Уманского»: «Судя по воспоминаниям знакомых, Уманский обладал значительной харизмой и вокруг него всегда был кружок молодежи, включавший тех, кому хотелось обсуждать “вечные вопросы” вне

узких рамок официальной идеологии, художников и музыкантов нонконформистского толка. Эти молодые люди были студентами или работали на случайных работах, но главным содержанием их жизни было раздобывание в то время труднодоступных книг по восточной философии и эзотерическому знанию и разговоры по поводу прочитанного».

Олег Шахматов всячески протежировал своего молодого друга, представляя его как талантливого и самобытного поэта. Уманский же недолюбливал Иосифа, смотрел на него несколько свысока, находя выдаваемые ему Шахматовым авансы сильно завышенными.

Бродский, впрочем, тоже не питал к Александру Аркадьевичу особых симпатий, хотя и не мог не согласиться с тем, что атмосфера его собраний была чрезвычайно привлекательной, а дискуссии на метафизические и духовные темы были весьма плодотворной почвой для человека, жадно впитывающего знания, получить которые в официальных советских вузах было невозможно.

Уже в Нью-Йорке журналист Наташа Шарымова писала: «Я помню какие-то разговоры о том, что Иосифа извлек из геологических экспедиций и направил на поэтическую стезю Александр Уманский, с которым Бродский дружил в конце 50-х – начале 60-х. Уманского я никогда не видела, недавно узнала, что он в Америке, пыталась разыскать его через Гарика Гинзбурга-Воскова (был участником “кружка Уманского”), но – увы… Гарик какую-либо информацию об Уманском сообщить отказался, говорил, что встреча с ним бессмысленна. Ни Гарика, ни Александра теперь уже не спросить».

И вновь Иосиф оказался в «кружке Уманского» в статусе наблюдателя, хориста, что вместе со всеми исполняет песню из Пролога к трагедии Еврипида «Медея», но его голос уже звучит ярче и громче остальных:

Клятвы днесь – что ковер, который в грязи расстелен.

Места, где честь живет, вам не покажет эллин.

Разве – ткнет пальцем вверх; знать, небосвод побелен.

Даром что муж с другой делит твой нынче ложе,

царской крови она, тело ее – моложе.

За морем отчий дом, где тебя вскормили!

За кормой, за бортом! Ты – в неизвестном мире.

И от отчаянья море становится только шире.

В декабре 1960 года Иосиф Бродский согласился выполнить просьбу Александра Аркадьевича – передать в Самарканд Олегу Шахматову, который якобы учился там в консерватории, рукопись его философского трактата.

Далее начинается так называемый «Самаркандский эпизод» в жизни Бродского, начать повествование о котором нам представляется интересным в ретроспективном ключе, а именно со слов Бориса Борисовича Вайля (1939–2010) – писателя, диссидента и политзаключенного.

Итак, в 1963 году в мордовском лагере «спец 10» (классификация – «каторжная тюрьма») появился новый заключенный Олег Шахматов.

Борис Вайль: «Новенький, Олег Шахматов, недавно с воли, но, поскольку он попал к нам, а не на “общак” или на “строгий”, было ясно, что у него не одна судимость. Он был еще молодым человеком (впрочем, оказалось потом, старше меня), черты лица нервные, тонкие губы, голову держал немного набок. Шахматов оказался не в лучшей камере. В отличие от той, в которой сидел я, в его камере заправляли уголовники. И ему с ними было плохо. Но скажем сразу: во многом он был виноват сам. Дело в том, что по прибытии в лагерь он принял странное – я бы даже сказал, безумное – решение: разговаривать с другими заключенными только по-английски. Или не разговаривать вовсе».

О первой судимости Шахматов рассказывал неохотно и сбивчиво. А вот о том, за что сел на сей раз, сообщал с видимой охотой.

Борис Вайль: «Он сидел по ст. 70 ч. 1, бывшая 58–10 (попытка “измены родине”) Он рассказал мне, что у него есть подельник Уманский – очень умный, по словам Шахматова, человек – и еще один, которого “отшили” от их дела – поэт Иосиф Бродский… По словам Шахматова, Бродский был чуть ли не гениальный поэт, чему я, разумеется, просто не поверил. Впрочем, Шахматов ни разу не процитировал мне Бродского – скорее всего потому, что его стихов наизусть он и не помнил».

Из весьма невнятных и путанных рассказов Шахматова вырисовывалась следующая картина. Оказавшись в Самарканде, Олег увлекся поиском каких-то таинственных сокровищ (существует версия, что он поступил в местную консерваторию и

занимался музыкой в местном Доме офицеров). Сюда к нему в гости из Ленинграда и прилетел Иосиф.

Борис Вайль: «Как известно, в Самарканде в декабре 1960 года Бродский и Шахматов хотели, похитив самолет, улететь за границу. Потом передумали. Бродский вернулся в Ленинград, Шахматов – в Красноярск. Кроме того, в Самарканд они возили "антисоветскую" рукопись, автором которой был признан Уманский, в надежде передать ее иностранному туристу.

В учетной карточке Шахматова сказано:

11.09.1961. Красноярск. Арест: незаконное хранение оружия.

20.10.1961. Красноярск, нарсуд (Сталинского р-на): ст. 218 ч. 1: 2 года лишения свободы».

Однако, уже находясь на красноярской зоне, Шахматов имел встречу с представителем КГБ, которому он сообщил дополнительную информацию о существовании «антисоветской группы» Уманский – Бродский – Шахматов – Шульц, а именно о рукописи Александра Уманского и попытке угона самолета из Самарканда в Иран на американскую военную базу в Мешхеде.

29 января 1962 года в Ленинграде были задержаны Александр Уманский, Иосиф Бродский и Сергей Шульц.

Шахматову ст. 218 ч.1 была заменена на ст. 70 ч.1, и он был этапирован в лагерь «спец 10» в Мордовию.

О событиях, имевших место произойти в Самарканде в декабре 1960 года, о которых Олег Шахматов дополнительно сообщил в «комитет», мы можем судить из весьма подробного рассказа самого Иосифа Бродского.

Все началось с того, что в вестибюле гостиницы «Самарканд» молодые искатели приключений неожиданно (хотя возможно ли такое в СССР образца 60-х?) встретили известного американского юриста, адвоката и кинопродюсера Мелвина Белли (1907–1996), которому и было решено передать рукопись метафизического трактата Александра Уманского с последующей ее публикацией на Западе. По словам Бродского, он узнал господина Белли по якобы запомнившемуся ему кадру из какого-то американского фильма.

Дело в том, что впервые на экране Мелвин Белли появился в телевизионном сериале Джина Родденберри Star Trek («Звездный путь») в эпизоде «И дети поведут» в 1968 году, следовательно, через 8 лет после встречи в самаркандской гостинице. И опять же не приходится сомневаться в том, что сериал Star Trek в принципе не мог быть показан по советскому телевидению.

Опять же вызывает удивление, почему именно к юристу,

специализировавшемуся на американском потребительском рынке, а также теле- и кинопродюсеру Иосиф Бродский и Олег Шахматов обратились с просьбой о публикации рукописи (на русском языке)?

И наконец, каким образом господин Белли оказался в Советском Узбекистане, при том, что никаких общих легальных дел у него (юриста и продюсера) в СССР не было?

Вопросы, на которые нет ответа.

Не открывает завесу тайны над происшедшим и то обстоятельство, что в 1963 году Мелвин Белли был адвокатом Джека Руби, застрелившего Ли Харви Освальда (убийцу президента США Джона Ф. Кеннеди), и добился от суда отмены смертной казни Руби, организовав новое судебное разбирательство по этому делу. Также имел весьма непростые отношения с директором ФБР Джоном Эдгаром Гувером. А если учесть, что тема «кремлевского следа» в деле Кеннеди в те годы активно муссировалась, то встреча в гостинице «Самарканд» вообще подпадала под разряд фантасмагорических.

А меж тем, неожиданную (или ожидаемую) просьбу молодых людей в вестибюле гостиницы «Самарканд» господин Белли вежливо отклонил.

Куда впоследствии делась рукопись А. Уманского, неизвестно.

Иосиф Бродский: «Мы с Шахматовым были там крайне неблагополучны: ни крыши над головой не было, ни черта. Ночевали где придется. Вся эта история была, между прочим, чистый роман-эпопея. Короче, в один прекрасный день, когда Шахматов в очередной раз жаловался мне на полное свое неблагополучие (а он считал, что очень натерпелся от советской власти), нам пришла в голову идея – не помню, кому именно… скорее всего мне. Короче, я говорю Шахматову: “Олег, будь я на твоем месте, я бы просто сел в один из этих маленьких самолетов, вроде ЯК-12, и отвалил бы в Афганистан. Ведь ты же летчик! А в Афганистане дотянул куда бензину бы хватило, а потом пешком просто дошел бы до ближайшего города – до Кабула, я не знаю…” Он предложил бежать в Афганистан вдвоем. План был таков. Мы покупаем билеты на один из этих маленьких самолетиков. Шахматов садится рядом с летчиком, я сажусь сзади, с камнем. Трах этого летчика по башке. Я его связываю, а Шахматов берет штурвал. Мы поднимаемся на большую высоту, потом планируем и идем над границей, так что никакие радары нас бы не засекли».

Однако со временем этот план претерпел изменения. Выяснилось, что у Олега Шахматова есть пистолет и можно обойтись без камня. Были внесены изменения и в маршрут

перелета. Решили лететь не в Афганистан, откуда беглецов могли выдать СССР, а в Иран на американскую военную базу в Мешхеде.

Итак, были куплены билеты на рейс Самарканд – Термез (граница с Афганистаном).

Хотя не вполне понятно, как предполагалось осуществить этот замысел, ведь полезная нагрузка Як-12 была лишь два человека.

Иосиф Бродский: «Когда мы уже купили билеты на этот самолет – все четыре билета, все три сиденья, как полагается (в двухместный самолет!) – я вдруг передумал… по тем временам, начитавшись Сент-Экзюпери, я летчиков всех обожал… и я думаю – ну, с какой стати я его буду бить по голове? Что он мне плохого сделал, в конце концов?… я вдруг вспомнил девушку, которая у меня о ту пору была в Ленинграде. Хотя она уже была замужем… Я понял, что никогда ее не увижу. Подумал, что еще кого-то не увижу – друзей, знакомых. И это меня задело, взяло за живое. В общем, домой захотелось… Словом, я сказал Олегу, что никак не могу пойти на этот номер. И мы разными путями вернулись в Европейскую часть СССР».

По версии же Олега Шахматова рейс отменили.

Трудно поверить в то, чтобы после встречи в вестибюле самаркандской гостиницы с Мелвином Белли (если эта встреча вообще была) и попытки передать ему рукопись Александра Уманского, «контора» оставила без пристального внимания двух молодых людей – искателей приключений, а подготовка к «угону» Як-12 проходила без участия «комитета».

Меж тем, спустя несколько месяцев, как нам уже известно, Олег Шахматов был арестован в Красноярске за незаконное хранение оружия.

Видимо, того самого пистолета, с которым и предполагалось бежать в Иран.

На этом «Самаркандский эпизод» в жизни Иосифа Александровича Бродского формально завершился, хотя продолжение, что и понятно, последовало.

29 января 1962 года Александр Уманский, Иосиф Бродский и Сергей Шульц были задержаны в Ленинграде по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 70, частью 1 УК РСФСР.

А пока, по возвращении в Ленинград, внешне (по крайней мере) все выглядело по-прежнему: поэтические вечера, посещения

литературных объединений, выезды на природу, прогулки по городу, эпизодическая работа, встречи с коллегами по цеху в редакциях.

Из воспоминаний Сергея Шульца-мл.: «Первый раз я увидел Иосифа Бродского в феврале 1961 года. В этот вечер в доме бывшего Департамента уделов на Литейном проспекте, 39, где с 1947 года размещался Всесоюзный нефтяной геолого-разведочный институт (ВНИГРИ), состоялся “Вечер молодых поэтов”… Выступавших было довольно много – человек 15. И только во второй половине вечера ведущий объявил: “Иосиф Бродский!” Зал сразу зашумел, и стало ясно, что этого поэта знают и его выступления ждут… Раздался его голос, он был до того торжествен и громок, что мне сначала показалось, что говорит не он, а голос идет откуда-то из-за сцены. Великолепно чувствовались ритм и законченность каждой строки.

Первым Иосиф прочел стихотворение “Сад”… Когда он кончил – мгновенное молчание, а потом – шквал аплодисментов. И крики с мест, показывавшие, что стихи его уже хорошо знали: “Одиночество”! “Элегию”! “Пилигримов”! “Пилигримов”!

И он читал и “Одиночество”, и “Элегию”, и, конечно, знаменитых “Пилигримов”. Но я все еще оставался под обаянием первого прочитанного им стихотворения. Да, он уже вошел в этот великий сад, о котором так удивительно написал. И мысль, которая неизбежно приходила в голову при взгляде на него, стоявшего на этой трибуне, восторженного, вдохновенного, была уже тогда, сразу же: насколько он полон стихией, насколько он не от этого мира. Мы вышли вместе из ВНИГРИ после этого вечера… Оказалось, что он живет совсем недалеко, в доме Мурузи. И он пошел домой, окруженный плотным кольцом восторженных поклонниц».

Великий сад!

Даруй моим словам

стволов круженье, истины круженье,

где я бреду к изогнутым ветвям

в паденье листьев, в сумрак вожделенья.

О, как дожить

до будущей весны

твоим стволам, душе моей печальной,

когда плоды твои унесены,

и только пустота твоя реальна.

Нет, уезжать!

Пускай когда-нибудь

меня влекут громадные вагоны.

Мой дольний путь и твой высокий путь —

теперь они тождественно огромны…

После того, как четыре года назад Александр Иванович Бродский перенес инфаркт, врачи запретили ему совершать длительные пешие прогулки по городу.

Он ходил в Летний сад, который был неподалёку от его дома. Здесь он обычно садился на скамейку, чтобы можно было видеть Фонтанку и Соляной городок, и открывал журнал «Огонек». Александр Иванович любил разглядывать цветные развороты – картины из коллекции Государственного Эрмитажа, репродукции из Третьяковки или работы студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова.

Эписодий Шестой

Иосиф ставит на электрофон «Юность» пластинку «Кончерто гроссо» Антонио Вивальди, и неловкое молчание сразу же теряется в нарастающем чередовании звуков allegro и andante, presto и adagio.

У окна стоит девушка очень бледная, с высоким лбом, голубыми прожилками на висках.

Она сложила руки на груди.

Сквозь газовую занавеску девушка смотрит на улицу, но взгляд ее ничего не выражает, он кажется остекленевшим и оттого ледяным.

Чем-то она напоминает французскую актрису Марию Казарес

из «Пармской обители» Кристиана-Жака.

Занавеска касается ее подбородка, но она не замечает этого.

Девушка молчит. Просто потому что не считает нужным говорить именно сейчас. Она не находит слов, но не потому, что не может их найти, а потому что не ищет.

Окно.

Перекресток Литейного и Пестеля.

Пустые полторы комнаты в коммунальной квартире – Александр Иванович Бродский на прогулке, Мария Моисеевна Вольперт на работе.

Антонио Вивальди.

Чего уж больше, все предельно ясно, говорить не о чем.

Наконец Иосиф нарушает гнетущую тишину и предлагает почитать стихи, те, что родились у него этой ночью.

В ответ девушка лишь пожимает плечами.

Бродский делает звук на электрофоне едва слышным, подходит к столу, берет несколько мелко исписанных листков бумаги, включает настольную лампу, садится спиной к окну и к девушке.

– Марина, послушай, – глухо звучит из глубины полукомнаты, более напоминающей чудовищных размеров шкаф в антикварном магазине:

Предпоследний этаж

раньше чувствует тьму,

чем окрестный пейзаж;

я тебя обниму

и закутаю в плащ,

потому что в окне

дождь – заведомый плач

по тебе и по мне.

Нам пора уходить.

Рассекает стекло

серебристая нить…

С кухни доносится грохот упавших с сушилки мисок и кастрюль, видимо, опять кто-то из соседей задел, неудачно повесили – прямо на входе.

Марина вздрагивает, словно оживает, выходит из забытья, резко отворачивается от окна и смотрит на Иосифа, который, впрочем, не слыша ничего и не замечая никого, продолжает чтение уже самому себе.

А ведь изначально это и было чтение самому себе.

Едва слышно, ведь Иосиф убавил звук, звучит кода «Кончерто гроссо», после чего игла плавно отрывается от полихлорвиниловой дорожки, и «Юность» затихает…

А потом Иосиф и Марина идут по Пестеля в сторону Фонтанки, а в это время по противоположной стороне улицы из Летнего сада возвращается с прогулки Александр Иванович, но они не замечают друг друга.

Накрапывает дождь.

Дойдя до Соляного переулка, Иосиф начинает рассказывать Марине о том, как сумасшедшая историчка с орденом Ленина на пиджаке ставила их на колени, когда умер Сталин.

Марина усмехается в ответ:

– Каждый раз, когда мы проходим это место, ты мне рассказываешь эту историю… Лидия Петровна Лисицына, если не ошибаюсь.

– Она была Васильевна.

– Да какая разница…

С Марианной Павловной Басмановой Иосиф познакомился в 1962 году.

«Питерская художница с глазами-изумрудами была представлена Бродскому на новогодней вечеринке», – вспоминает Евгений Рейн.

По другой версии, встреча произошла 2 марта 1962 года на вечере композитора Бориса Тищенко (1939–2010).

Марина (так ее звали друзья) была на два года старше Иосифа.

По материнской линии она происходила из семьи академика Георгия Федоровича Ланге, а отцом Марины был Павел Иванович Басманов – известный художник и книжный график.

Семья Басмановых жила в доме 15 на улице Глинки, в

бывшей квартире художника Александра Николаевича Бенуа. Особая атмосфера, царившая здесь, не могла не наложить особый отпечаток на характер юной Марианны – она была молчалива, загадочна, замкнута, словно постоянно погружена в мир своих фантазий, музыкальна и, разумеется, бесконечно увлечена живописью.

Людмила Штерн так описала Марину: «Она казалась очень застенчивой. Не блистала остроумием и не участвовала в словесных пикировках, когда мы друг о друга точили языки. Бывало, за целый вечер и слова не молвит, и рта не раскроет. Но иногда в ее зеленых глазах мелькало какое-то шальное выражение. И тогда напрашивался вопрос: не водится ли что-нибудь в тихом омуте?»

Думается, что Иосифа подобные вопросы не волновали.

Он специально водил свою избранницу в Эрмитаж, чтобы тут, поставив Марину рядом с «Мадонной с яблоками» Кранаха, слушать откуда-то из глубины приходящие строки:

В накидке лисьей – сама

хитрей, чем лиса с холма

лесного, что вдалеке

склон полощет в реке,

сбежав из рощи, где бог

охотясь вонзает в бок

вепрю жало стрелы,

где бушуют стволы,

покинув знакомый мыс,

пришла под яблоню из

пятнадцати яблок…

Ради этих минут Бродский был готов на все, потому что знал, что, находясь рядом с Мариной, вдохновение может посетить его в любое мгновенье.

Читаем в книге Людмилы Штерн «Поэт без пьедестала»: «Он не мог отвести от нее глаз и восхищенно следил за каждым ее жестом – как она откидывает волосы, как держит чашку, как смотрится в зеркало, как набрасывает что-то карандашом в блокноте».

Иосиф и Марина могли часами гулять по городу, особенно ими была любима Новая Голландия – места, хоть и расположенные в центре Ленинграда, но все-таки не слишком популярные у гостей города, да и у ленинградцев тоже – завод «Адмиралтейская верфь», кварталы огромных, напоминающих средневековые замки доходных домов, да полузаброшенные особняки в стиле «модерн».

По набережной Ново-Адмиралтейского канала выходили к Неве, на противоположном берегу которой возвышалась Успенская церковь с черными, облупившимися куполами. К выбору своих детей родители Бродского и Басмановой отнеслись с неудовольствием. Иосиф очень переживал, что родители Марины его на дух не переносили и не пускали на порог. В сердцах он ни раз их обвинял в антисемитизме. В свою очередь Марину невзлюбили Александр Иванович и Мария Моисеевна. Бродский-старший часто повторял: «Она такая чужая и холодная, что между ними может быть общего?.. как будто у нее вместо крови по жилам разбавленное молоко течет».

Понятно, что внутрисемейное напряжение, увещевания и угрозы родителей лишь усложняли и без того непростые отношения Иосифа и Марины. Их мирное сосуществование могло внезапно перерасти в скандал на пустом месте, во время которого Бродский впадал в истерическое состояние, а Марина, напротив, затаивалась и замолкала, что производило на Бродского убийственное впечатление. Они могли не общаться неделями, но сходились вновь, и все повторялось снова и снова.

Людмила Штерн вспоминала: «В грозовые дни, после изнурительного выяснения отношений, Иосиф появлялся один, взъерошенный и несчастный, и мы, как могли, старались успокоить и утешить его… Как-то Иосиф пришел среди дня без звонка, и по его побелевшему лицу и невменяемому виду было ясно, что произошел очередной разрыв. Но если б только невменяемый вид! Запястье его левой руки было перевязано грязноватым бинтом. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных. Мы ни о чем не осмелились спросить, и он не дал

никаких объяснений – мрачно съел тарелку супа и ушел».

Итак, миновали Соляной переулок, в глубине которого, напоминая расцвеченный огнями пассажирский четырехпалубный паротурбоход «Albert Ballin», высилась школа № 181. Дошли до Фонтанки и повернули в сторону Невского.

Дождь усилился.

Иосиф спросил Марину, понравились ли ей его новые стихи. Она ответила, что да, понравились. Помолчала и добавила:

– А зачем ты спрашиваешь, ты же все равно знаешь ответ.

Она говорила мало, но порой то, что она говорила, сильно задевало Иосифа, и в какую сторону повернется разговор в подобную минуту, зависело только от него. Он мог взорваться, побледнеть, мог резко сформулировать мысль-вопрос, а затем ответить самому себе, схватить Марину за руку.

Но мог и промолчать.

Так вышло и сейчас.

Иосиф поднял воротник. Ветер с реки плюнул в лицо зарядом ледяных капель.

– Ты обиделся?

– Нет.

На углу Невского и Рубинштейна зашли в кафе.

Зашли, разумеется, случайно, ведь Иосиф не любил это заведение, находя его безнадежно советским, но замерзли, и захотелось выпить чего-нибудь горячего.

Из эссе Иосифа Бродского «Кошачье “Мяу”»: «Поскольку человеческие существа конечны, их система причинности линейна, то есть автобиографична. То же самое относится к их представлению о случайности, поскольку случайность не беспричинна; она всего лишь момент вмешательства другой системы причинности – каким бы затейливым ни был ее рисунок – в нашу собственную. Само существование этого термина, не говоря уже о разнообразии сопровождающих его эпитетов (к примеру, “слепой”), показывает, что наши представления и о порядке, и о случае, в сущности, антропоморфны. Хорошо, если бы область человеческих исследований была ограничена животным царством. Однако это явно не так; она много шире, и к тому же человеческое существо настаивает на познании истины. Понятие истины также антропоморфно и предполагает со стороны предмета исследования – то есть мира – утаивание, если не открытый обман».

Конечно, Иосиф обманул, сказав, что не обиделся.

Конечно, Марина обманула, сказав, что ей понравились

стихи.

Конечно, сейчас надо было бы выпить не горячего кофе из цилиндрического, напоминающего стреляную гильзу от корабельного орудия бака, а водки. Но водку тут не наливали, а наливали только пиво.

А пива не хотелось категорически.

Познание истины не только антропоморфно, но и совершенно интуитивно, напоминает блуждание в черной комнате или в ночном городе, где на квартал есть от силы два мигающих уличных фонаря.

После кафе всякий раз были долгие, до поздней ночи гуляния.

Спустя годы Майк Науменко (1955–1991) напишет песню об этом состоянии души и тела:

Мальчики и девочки ходят по улицам, надеясь

неизвестно на что.

Мальчики и девочки сидят на скамейках,

в парадных и в кино.

Их личная жизнь зависит от жилищно-бытовых

проблем,

И если бы не было этих проблем, то каждый завел бы

себе гарем.

Дома – мама и папа, в гостиницах – мест нет.

В общаге на вахте стоит вахтер, непреклонный,

что твой Магомет.

Целоваться в парадных – это так неудобно, особенно

зимой.

Все члены стынут, люди ходят мимо, отсутствует

душевный покой.

Расстались в огромном как вестибюль станции метро «Автово» парадном дома на Глинки. Марина, сказала, что не может позвать Иосифа в гости, потому что из Китая на несколько дней приехал ее дядя – дипломат Михаил Иванович Басманов, и вся семья в сборе.

Да и поздно уже…

29 января 1962 года Александр Аркадьевич Уманский (1933 г.р.), Иосиф Александрович Бродский (1940 г.р.) и Сергей Сергеевич Шульц (1934 г.р.) были задержаны в Ленинграде по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 70, частью 1 УК РСФСР.

«Самаркандский эпизод» вернулся.

Иосиф Бродский: «Когда меня арестовали в первый раз, я был сильно напуган. Ведь берут обыкновенно довольно рано, часов в шесть утра, когда вы только из кроватки, тепленький, и у вас слабый защитный рефлекс… вас привозят в Большой дом, допрашивают, после допроса ведут в камеру. И когда меня в первый раз в жизни привели в камеру, то мне между прочим, очень там понравилось. Действительно, понравилось! Потому что это была одиночка. кирпичные стены, но они замазаны масляной краской – если не ошибаюсь, такого зелено-стального цвета… Вас запирают. И вы оказываетесь тет-а-тет со своей лежанкой, умывальничком и сортиром. Если не ошибаюсь, восемь или десять шагов в длину. Примерно, как эта моя комната здесь, в Нью-Йорке…

Что еще? Окно, сквозь которое вы ничего не можете увидеть. Потому что там, кроме, как полагается, решетки, еще снаружи намордник… лампочка висит, вделанная в потолок. И она тоже забрана решеткой, чтобы вы не вздумали ее разбить. В двери, естественно, глазок и кормушка… дело в том, что, пока я там сидел, я не видел, как она открывается. Поскольку это была следственная тюрьма. И меня по двенадцать часов держали на допросах. Так что еду, когда я возвращался в камеру, я находил уже на тумбочке. Что было с их стороны довольно интеллигентно».

Сергей Шульц: «Утром 29 января 1962 года в дверь нашей квартиры позвонили, и сразу вслед за звонком раздался громкий стук и крики: “Открывайте немедленно!” Было 5 часов утра… В дверь вошли и сразу же прошли в нашу комнату три кагэбэшника и двое понятых. Возглавлял группу плотный, коренастый

немолодой человек с совершенно бульдожьей физиономией – майор Гайдай. Он протянул мне постановление на обыск…

“Постановление на обыск

26 января 1962 года город Ленинград.

Я, майор Елесин, старший следователь по особо важным делам Следственного отдела УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Уманского Александра Аркадьевича, 1933 года рождения, уроженца города Ленинграда, нашел – на Уманского А. А. возбуждено уголовное дело по 70 ст. 1 ч. УК РСФСР,

По материалам дела Уманского в числе знакомых Уманского и его связей проходит Шульц Сергей Сергеевич, у которого могут находиться материалы, имеющие значение для дела. Руководствуясь статьей 108 УПК РСФСР постановляю: произвести обыск у Шульца Сергея Сергеевича, проживающего в гор. Ленинграде, наб. реки Мойка, 82/11, кв. 49.

Копию постановления направляю прокурору гор. Ленинграда”.

Никакого Уманского я не знал и фамилию эту слышал в первый раз…

После окончания обыска меня вместе с изъятыми у меня рукописями и пленками кинофильмов (снятых как во время экспедиций, так и дома, в городе) отвезли в здание КГБ на Литейном, 4.

После окончания допроса Гайдай принял постановление о моем задержании. В нем было отмечено, что я подозреваюсь в совершении преступления, предусмотренного статьей 70, частью 1 УК РСФСР, и подлежу задержанию в следственном изоляторе УКГБ ЛО. Меня раздели догола, переодели в какой-то балахон без шнурков и пуговиц и спустили на лифте в подвальное помещение, в крохотную одиночную камеру, похожую на колодец. В ней я провел две ночи и два дня – 30 и 31 января, дважды вызывался на допрос… Поздно вечером 31 января меня привезли домой».

По результатам проведенного судебного расследования подозреваемые Бродский и Шульц после проведения с ними «профилактической работы» были освобождены.

Уманский Александр Аркадьевич был приговорен Ленинградским горсудом по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР к пяти годам лагерей с отбытием срока в Дубравлаге (Дубравское лагерное управление в Республике Мордовия) и владимирской тюрьме. Состав преступления – «изготовление антисоветского текста», который так никто и не видел. (Постановлением ПВС РСФСР от 19.01.66 А.А. Уманский был помилован. Освобожден 31.01.66. Реабилитирован 14 июня 1993 г. Заключением прокуратуры г. Санкт-Петербурга на основании Закона «О реабилитации жертв

политических репрессий».) Олег Шахматов, как мы помним, на тот момент уже сидел на одной из красноярских зон.

Писатель-диссидент, политзаключенный Борис Вайль, поднимавший архивы «Самаркандского эпизода», впоследствии недоумевал, почему тема «попытки угона самолета» вообще нигде не фигурировала за исключением внутренней справки Ленинградского УКГБ, где сообщалось, что «установлено также, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора – не выяснено».

С одной стороны, это представляется странным, потому что Иосиф Александрович не скрывал своего авторства в этой безумной затее. Но, с другой стороны, закрытие глаз на предполагаемый «угон» спасло Бродского от предельно суровых последствий.

Например, от таких:

1954 г. Самовольный захват пассажирского самолёта «Ил-12» бортмехаником В. Поляковым в г. Новосибирск. Осуждён к расстрелу, заменённому на тюремное заключение.

1958 г. Попытка захвата пассажирского самолёта «Ан-2» (маршрут Якутск – Безымянный) в аэропорту г. Нижние Кресты (Якутская АССР) с требованием лететь в США. Террористы обезврежены и получили длительные сроки тюремного заключения. 1961 г.

Попытка захвата пассажирского самолёта «Ан-2» в аэропорту г. Ашхабад (Туркменская ССР). Террористы арестованы и получили длительные срока тюремного заключения.

1962 г. Предположительная попытка угона самолета Александром Всеволодовичем Соколовым (более известным как писатель Саша Соколов) для вылета из СССР. Три месяца тюремного заключения с последующим помещением в психиатрическую больницу имени Кащенко.

1964 г. Попытка угона пассажирского самолета из Кишинёва. Один угонщик ликвидирован, другой осужден.

1969 г. Захват самолета «Ил-14», совершавшего внутренний рейс по маршруту Ленинград – Таллин. Террористы ликвидированы.

1970 г. Органами КГБ в ленинградском аэропорту «Пулково» пресечена попытка вооруженного захвата и угона за границу пассажирского самолета группой лиц. Участники группы – Эдуард Кузнецов и Марк Дымшиц были приговорены к расстрелу, впоследствии замененному длительными сроками тюремного заключения.

Все эта информация в те годы была по большей части

полностью засекречена. Едва ли Иосиф мог догадываться о том, что его ожидало, если бы делу дали ход. Впрочем, отрывочные сведения вполне возможно и проникали в окружение Бродского. Многие из друзей Иосифа, как и он сам, слушали «Голос Америки» («Свобода» и «Немецкая волна» тогда почти полностью «забивались»).

После многочасовых обысков, одиночки в следственном изоляторе КГБ, допросов и «профилактических бесед» в «конторе» со всей очевидностью стало ясно, что все участники этой двухсторонней процедуры сделали свой выбор, и по-другому уже не будет.

Из воспоминаний Сергея Шульца: «После того, как его (Бродского. – *Прим. авт.)* выпустили, за ним продолжали непрерывно следить. Шпики ходили за ним по пятам, нагло, в открытую, и это его нервировало и раздражало».

И вдруг выяснилось, что город не настолько уж и велик, как казалось еще совсем недавно, что в нем, как и в полутора комнатах на Пестеля, нельзя было ни от кого спрятаться. Каждое твое движение, каждый жест или слово становились достоянием посторонних людей, что повергало Иосифа в ужас. Если раньше проходные дворы и дворы-колодцы спасали, в перспективах линий и набережных можно было раствориться, затеряться, а в трущобах коммунальных квартир друзей и подруг можно было залечь на дно, то теперь оказывалось, что он словно на ладони, на чужой ладони, которая в любую минуту может сложиться в кулак и раздавить его.

Пожалуй, единственным местом в Ленинграде, где Иосиф чувствовал себя более или менее защищенным от постороннего взгляда, в то время была квартира художника, архитектора и фотографа Юрия Цехновицера (1928–1993) на Адмиралтейской набережной, 10.

Из воспоминаний писателя и геолога Дианы Виньковецкой: «Юрина квартира была уникальна и по расположению на Неве, напротив университета, и по картинам, скульптурам, мебели, умопомрачительной библиотеке. Редчайшие книги, оригинальные издания с дарственными надписями его отцу – журналисту и первому декану факультета журналистики Ленинградского университета. Кажется, некоторые свободные художники подтибривали, прикарманивали себе кое-что из Юриной библиотеки… “Идешь к Цеху, надеваешь шляпу, кругом девушки…” – напишет Иосиф в одном из эссе… В квартире Цехновицера атмосфера была более светская, нежели философская. Слишком много у Цеха, как его называли друзья, было запутанных отношений с красавицами, и ему было не до

абстрактной философии. Гигантская тахта – достопримечательность квартиры, видно, угрожала подсознанию. На этой тахте дремали многие знаменитости, и даже Маяковский».

Также об этой легендарной квартире на Адмиралтейской набережной, 10 оставила воспоминания и Людмила Штерн.

Читаем: «У него (у Юрия Цехновицера) была роскошная (по понятиям того времени) квартира в бельэтаже. Прямо под окнами – Нева, а на другом берегу – Ростральные колонны, Академия наук, Кунсткамера, Двенадцать коллегий. В квартире пятиметровые лепные потолки, массивные ореховые двери с резьбой, карельская береза, бронзовые канделябры, картины в тяжелых золоченых рамах, книжные стеллажи до потолка, копия посмертной маски Пушкина. Цилиндры на круглой вешалке в передней – одним словом, никакого намека на существование советской действительности. Входишь непосредственно в XIX век».

Единственным напоминанием о том, что за окном все-таки XX век, здесь был телефон, висящий в бесконечном, величественном, как декорации к опере Рихарда Вагнера «Парсифаль», коридоре.

Иосиф подносит трубку к уху, втыкает указательный палец в диск, поворачивает его, втыкает еще и еще раз:

Увы,

тому, кто не способен заменить

собой весь мир, обычно остается

крутить щербатый телефонный диск,

как стол на спиритическом сеансе,

покуда призрак не ответит эхом

последним воплям зуммера в ночи.

Трубку берет мать Марины – Наталия Георгиевна, и ледяным голосом сообщает, что в данный момент позвать дочь не может, потому что Мариночка занята.

– Соблаговолите перезвонить через час.

И вешает трубку.

– Мама, кто это звонил? – доносится из глубины квартиры на Глинки, 15.

– Не отвлекайся, детка, это мне.

Бродский в ярости швыряет трубку.

– Что случилось, Иосиф? – доносится из глубины квартиры на Адмиралтейской набережной, 10.

– Ничего, все в порядке…

Затем он выходит из квартиры, спускается на набережную, подходит к Неве и облокачивается на парапет.

Закуривает.

Думает о том, что в эту минуту между ним и водой происходит движение воздуха, что это «между ним и водой» и есть некое живое пространство, существующее вне времени. Вернее сказать, существующее отдельно от времени, когда, опережая течение Невы, время можно опередить, а, остановившись на месте, отстать от него навсегда.

Но время и пространство рядом, повсеместно, в подтверждение чего под Дворцовым мостом со включенной сиреной и красными бортовыми огнями проходит буксир «Флягин».

Иосиф усмехается, потому что этот буксир, оставляющий после себя на воде вспененную воду и масляные разводы, конечно, совсем не похож ни на левиафана, ни на морское чудовище или кита, в чьем чреве пребывает библейский пророк Северного царства Иона.

Разумеется, воображение могло нарисовать сей замечательный образ, но на самом деле все было много прозаичней. Обычный пропахший соляркой и машинным маслом латаный-перелатаный буксир, идущий на Адмиралтейскую верфь, редкие прохожие, наряд милиции, с интересом рассматривающий Иосифа, но проходящий при этом мимо, плывущие на глубине рыбы, которые, конечно, ничего не знают ни о Бродском, ни о том, что Басманова похожа на «Мадонну с яблоками» Кранаха, ни о том, что этих яблок всего пятнадцать.

Час пролетел незаметно.

Перезвонил Марине.

На сей раз трубку взяла она.

Договорились пойти вечером к геологам на Средний проспект.

Из воспоминаний Сергея Шульца: «Мне удалось организовать давно намечавшийся вечер молодых поэтов во ВСЕГЕИ (Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт

им. А.П. Карпинского). По сути, это был вечер Бродского, и вечер триумфальный. Иосиф впервые прочел на этом вечере свои “Стансы” (“Ни страны, ни погоста…”), “Диалог” (“Там он лежит, на склоне…”), прочел “Холмы” и стихи, посвященные Ахматовой».

Когда подойдет к изголовью

смотритель приспущенных век,

я вспомню запачканный кровью,

укатанный лыжами снег,

платформу в снегу под часами,

вагоны – зеленым пятном

и длинные финские сани

в сугробах под Вашим окном…

На следующий день встретились на Финляндском вокзале.

Билеты взяли на 11:15 до Комарово.

Иосиф с Мариной как всегда чуть не опоздали и едва успели вскочить в вагон в последнюю минуту.

Бобышев и Рейн придержали двери.

Найман занял места, разложив газеты и сумки с едой и выпивкой по скамейкам.

Ехали к Ахматовой.

Эписодий Седьмой

1993 год. В Парголово в электричку входит бабка с аккордеоном и молодящегося вида старик в черного сукна морском бушлате и кирзовых сапогах, голенища которых подогнуты внутрь.

Когда поезд трогается, они перемещаются из тамбура к немногочисленным пассажирам и кланяются, после чего старик делает шаг вперед и громким, весьма поставленным голосом возглашает:

– Уважаемые, мы с моей супругой едем в поселок Комарово, чтобы поклониться могиле великого русского поэта Анны Андреевны Ахматовой, которую убил Сталин. Сейчас мы споем вам песню, написанную моей супругой на слова Анны Андреевны. Если у вас есть возможность, помогите бедным музыкантам в память о великом русском поэте.

Затем старик отходит назад, выпуская вперед бабку с аккордеоном.

При более детальном рассмотрении бабка оказывается вовсе и не бабкой, а пожилой, благообразного обличия женщиной в надвинутой на самые глаза мохнатой мохеровой шапке, безразмерном пальто и резиновых ботах, приобретенных на «Красном треугольнике», думается, лет тридцать назад.

Меха аккордеона делают глубокий шипящий вдох, потом выдох, и низкий грудной голос начинает медленно и величаво, на мотив, отдаленно напоминающий «Выхожу один я на дорогу», выползать из-под мохеровой шапки:

Перед этим горем гнутся горы,

Не течет великая река,

Но крепки тюремные затворы,

А за ними «каторжные норы»

И смертельная тоска.

Для кого-то веет ветер свежий,

Для кого-то нежится закат —

Мы не знаем, мы повсюду те же,

Слышим лишь ключей постылый скрежет

Да шаги тяжелые солдат…

На словах «для кого-то веет ветер свежий» к исполнению подключается старик, чей голос, впрочем, едва различим в однообразном грохоте колес на стыках и угрожающем дыхании аккордеона фирмы «Weltmeister».

Эта странная процессия начинает двигаться по вагону.

В древнегреческом театре хоровая песня, которая исполнятся в движении, во время выхода на сцену по открытому коридору, называется *парод*.

Открытый коридор в данном случае тоже движется, раскачивается, хлопает раздвижными тамбурными дверями, а мимо него проносятся бетонные заборы, гаражи, промзоны, садовые участки, платформы.

Платформы «Левашово», «Песочная» и «Белоостров» электропоезд проследует без остановок.

Какие-то пассажиры подают музыкантам, какие-то как занимались своими делами, так и занимаются. Например, мужики на скамейке напротив пьют «Балтику Тройку».

Разве что один из них, пригубив, вдруг выдает, задумчиво уставившись в окно:

– А мне все-таки как-то больше Цветаева нравится…

1962 год.

После Парголово Иосиф еще какое-то время принимал участие в общем разговоре о сути литературного творчества, а потом и совсем замолчал, стал смотреть в окно.

Из эссе Иосифа Бродского «Поэт и проза»: «Всякое сказанное слово требует какого-то продолжения. Продолжить можно по-разному: логически, фонетически, грамматически, в рифму. Так развивается язык, и если не логика, то фонетика указывает на то, что он требует себе развития. Ибо то, что сказано, никогда не конец, но край речи, за которым – благодаря существованию Времени – всегда нечто следует. И то, что следует, всегда интереснее уже сказанного – но уже не благодаря Времени, а скорее вопреки ему. Такова логика речи…

Служенье Муз прежде всего тем и ужасно, что не терпит повторения: ни метафоры, ни сюжета, ни приема. В обыденной жизни рассказать тот же самый анекдот дважды, трижды – не преступление. На бумаге же позволить это себе невозможно: язык заставляет вас сделать следующий шаг – по крайней мере,

стилистически. Естественно, не ради вашего внутреннего (хотя впоследствии оказывается, что и ради него), но ради своего собственного стереоскопического (-фонического) благополучия. Клише – предохранительный клапан, посредством которого искусство избавляет себя от опасности дегенерации. Чем чаще поэт делает этот следующий шаг, тем в более изолированном положении он оказывается.

Многие вещи определяют сознание помимо бытия (перспектива небытия, в частности). Одна из таких вещей – язык».

Перед глазами проносятся покосившиеся деревянные заборы дачных участков, пристанционные магазины, стоящие у подножья железнодорожной насыпи на полосе отчуждения дети, которые машут руками пролетающей мимо электричке.

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому еще ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?

Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,

смотри в окно и думай понемногу:

во всем твоя одна, твоя вина,

и хорошо. Спасибо. Слава Богу…

На подъезде к Комарово допили бутылку Кара-Чанаха.

Сидевшая на соседней скамейке тетка в коротком двубортном пальто, более похожем на пиджак (Иосиф сразу же вспомнил историчку Лисицыну), неодобрительно косилась на компанию.

Потом курили в тамбуре, Бобышев и Рейн даже пытались тут читать свои стихи.

Найман о чем-то оживленно беседовал с Мариной.

Иосиф изумился – оказывается, она умеет оживленно беседовать!

От платформы до «будки» Ахматовой шли словно через лес, хотя и через дачный поселок. Дома, построенные здесь еще в

начале века, терялись на дне бесконечной, сумрачной в любое время года чащи, что тянулась до Финского залива.

Иосиф Бродский: «В свое время в Ленинграде возникла группа, по многим признакам похожая на пушкинскую “плеяду”. То есть примерно то же число лиц: есть признанный глава, признанный ленивец, признанный остроумец. Каждый из нас повторял какую-то роль. Рейн был Пушкиным. Дельвигом, я думаю, скорее всего был Бобышев. Найман, с его едким остроумием, был Вяземским. Я, со своей меланхолией, видимо играл роль Баратынского. Эту параллель не надо особенно затягивать, как и вообще любую параллель. Но удобства ради ею можно время от времени пользоваться».

Соломон Волков: «Действительно, налицо любопытное сходство темпераментов. За исключением, быть может, Рейна. О сопоставлении дарований говорить не приходится, но даже просто склад характера, темперамент…»

Иосиф Бродский: «Чепуха, вы просто не знаете Рейна!»

И после паузы: «Может быть, я немножечко хватаю через край, но я думаю, что именно мы… и дали толчок тому, что происходит в российской поэзии сегодня. Когда регулярно читаешь новые стихи, как это делаю я, то видишь, что в значительной степени (не знаю, может, я опять хватаю через край) это подражание нашей группе, эпигонство. И не то, чтобы у меня по поводу нашей группы существовали какие-то патриотические или ностальгические соображения. Но эти приемы, эта дикция впервые появились среди нас, в нашем кругу».

Однако было бы заблуждением говорить о том, что «волшебный хор» (так Бродского, Бобышева, Рейна и Наймана называла Анна Ахматова) был единственным в поэтическом пространстве Ленинграда.

Иосиф, безусловно, прекрасно знал, что в начале 60-х город поделился на его поклонников и тех, кто почитал Виктора Александровича Соснору (1936 г.р.).

Интересно заметить, что в те годы Бродский и Соснора были похожи внешне, с той лишь разницей, что Иосиф был рыжим, а Виктор брюнетом.

Противостояние это, разумеется, было негласным, но, безусловно, говорившим о том, что тотальное доминирование «Ахматовских сирот» во главе с Бродскими было несколько преувеличенным.

Поклонники поэзии Виктора Сосноры были не менее изобретательны и активны, нежели фанаты Бродского.

Журналист Ирина Чуди вспоминала о том, как проходила

расклейка стихов Виктора Сосноры на улицах Ленинграда: «Когда мы уже готовы были выйти на улицу, выяснилось, что никто не написал, что это стихи Сосноры. И мы стали дописывать. Кто-то без хитростей писал сверху: “Виктор Соснора”. А кто-то сочинял длинный текст: “Товарищи, вы, наверное, не знаете, чьи стихи лучшие в Ленинграде. А лучшие стихи – это стихи Виктора Сосноры…” Наконец, мы пошли клеить. У каждого была банка с клеем. И кисточка. Соснора говорил, что после поклейки на двери парадных его стихи становятся похожи на жэковские документы. И их никто никогда не прочтет. Мне казалось, что это даже хорошо, что они похожи на бумаги из ЖЭКа: люди подумают, что у них выключают свет или воду, и прочтут обязательно. И мы пошли на улицу Пестеля. Все мы знали, что это улица Бродского. На дом Мурузи Соснору точно поклеили. Я лично клеила стихи со стороны Литейного. Не знаю, читал ли их Бродский, я надеялась, что прочтет».

Надо думать, что эти стихи Иосиф знал наизусть.

Ведь внимательное отношение к тем, кто рядом с тобой, особенно если это уникальный талант, особенно если это незнакомая или недоступная ему интонация, было частью его характера. Перефразируя известную фразу, в данном случае можно было бы сказать так: находиться внутри литературного процесса и быть независимым от него для Бродского было немыслимо, хотя он всячески (в Америке особенно) декларировал свою отстраненность от всероссийского поэтического «общепита».

Из рассуждений Виктора Александровича Сосноры о месте поэта в литературном процессе: «Я вообще не признаю такого фактора, как литературный процесс. На долгие годы тот же Бродский, Айги, ваш покорный слуга были начисто выброшены из литературы. Ни на каком литературном процессе это нисколько не отразилось. И на “творческом процессе” советских писателей – тоже. Как писали – так и продолжали писать. И на моем “процессе” не сказалось. И на процессе Бродского… Так что места у Бродского и кого угодно – этого места, в сущности, нет. У него, как у всякого крупного поэта, есть замечательные стихи, есть плохие».

Можно предположить, что нечто подобное – «есть замечательные стихи, есть плохие» о Викторе говорил и Бродский.

Тогда же, в 1962 году, появилось стихотворение Сосноры, читать которое (нам сейчас) именно в тот момент, когда Иосиф и его друзья идут по комаровскому лесу, представляется уместным. Это все равно что поменять ракурс и наблюдать за происходящим с верхней точки:

Там гора,

а на горе

я живу анахоретом,

по карельским перешейкам

проползаю с муравьями,

пожираю сбереженья

бора, поля и моряны.

Пруд,

а у

пруда граниты,

я живу,

предохранитель

от пожаров, от разлуки

и поджариваю брюхо, и беседую часами

с колоссальными лосями.

Там леса,

а на лесах там

я живу,

анализатор,

кукареканья медведя,

кукованья сатаны,

кряканья болотной меди,

рева солнечных синиц!

Ну, а песни? Очень надо!

Я давно не сочиняю.

И ни петь и не писать,

только слушать песни пса!

Пес поет в моих хоромах,

чудо песня! хороша! –

смесь хорала и хавроньи,

случка баржи и моржа!

Иосиф поднимает голову и смотрит на вершины сосен, которые раскачивает ветер. Потом опускает взгляд: ржавый остов баржи почти целиком ушел в прибрежный песок и весьма напоминает теперь скелет доисторического чудовища или левиафана, давно усопшего и забытого среди гранитных глыб в дюнах Финского залива. Вот повисла на ошейнике цепная собака у соседских ворот, почти подавилась собственным лаем, выпучила глаза, вращает ими, но все равно ничего не может увидеть, ведь открытая пасть полностью застила ей изображение.

А домик Ахматовой и не разглядеть, потому что он прячется среди стволов деревьев. Из-за забора кажется, что они (стволы деревьев – сосен, елок) водят хоровод вокруг «будки» (так свое обиталище называла Ахматова), и подойти к дому невозможно, не походив вместе с ними кругами, не расшвыривая ногами хрустящие шишки.

Походили, поводили хоровод, расшвыряли, подошли наконец

и ко крыльцу.

Первое, что сказала Анна Андреевна, увидев Марину Басманову в тот приезд: «Тоненькая, умная и как несет свою красоту! И никакой косметики. Одна холодная вода!»

В домике было холодно и сыро. Поставили чайник на плиту.

Пока Бобышев растапливал печь, на столе разложили привезенные угощения, ну и разлили, разумеется (Ахматова предпочитала водку). Вдруг Анна Андреевна, не сводя с Бродского свой тяжелый пристальный взгляд, сказала: «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи!»

Бродский конечно же, сразу разволновался, побледнел, начал говорить много и эмоционально. Марина с интересом наблюдала за ним.

Иосиф Бродский: «Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот. Но до известной степени, задним числом, она была права. То есть в те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то не до ее стихов. Я даже и читал-то этого мало. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек. “Сероглазый король” был решительно не для меня, как и “перчатка с левой руки” – все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние».

Выходит, что тогда в Комарово, когда «взвился» и «заверещал», обманул, не решился согласиться с хозяйкой «будки». Вернее, нашел себе оправдание, что иной ответ выглядел бы по крайней мере невежливо, бестактно, даже по-хамски выглядел бы. И уже когда последовали объяснения, то все поняли, что Ахматова была права.

Поставим памятник

в конце длинной городской улицы

или в центре широкой городской площади,

памятник,

который впишется в любой ансамбль,

потому что он будет

немного конструктивен и очень реалистичен.

Поставим памятник,

который никому не помешает…

Чайник закипел на плите, но о нем все забыли, и он был уже почти неразличим в клубах густого, клокастого пара.

…Поставим памятник,

мимо которого мы будем спешить на работу,

около которого

будут фотографироваться иностранцы.

Ночью мы подсветим его снизу прожекторами.

Поставим памятник лжи.

А ведь это и есть настоящий русский спор в стиле Феодора Михайловича о лжи во благо.

Да, в годы юности больше нравилась Цветаева своей болезненной истеричностью, своими немыслимыми и парадоксальными поворотами и дерзновенным, а порой и просто запредельным экспериментированием со словом.

Ахматова же, напротив, казалась статуарной, напоминала памятник Екатерине II Михаила Осиповича Микешина перед Александринкой.

Но со временем и, вероятно, с жизненным опытом пришло понимание чего-то более глубокого в поэзии Ахматовой, не лежащего на поверхности, сокровенного и аскетического в своем роде.

Впоследствии Бродский скажет: «Ахматова учит сдержанности».

Да, понять начинающему поэту этот урок непросто. Особенно когда вдохновение приходит внезапно, и нет ни сил, ни желания, ни умения встречать его рассудительно и величаво. Слишком безгранично к нему доверие и слишком всеобъемлющ страх, что оно пришло в последний раз. Находясь в подобном экзальтированном состоянии, велика опасность пасть жертвой трюизмов, чтобы потом с настойчивостью, достойной лучшего применения, доказывать читателю и, конечно, себе, что общее

место ни что иное, как часть авторского замысла, прием, оригинальная находка, которая при этом совершенно не оригинальна.

В этой связи вспоминаются очень точные рассуждения Андрея Битова в «Пушкинском доме» о писательских секретах, которые раскроют лишь годы и количество написанных страниц: «Человек, впервые взяв перо в руки, еще смущенный эти неожиданным позывом… этот человек уже столкнулся с феноменом литературы: хочет или не хочет – он выдаст свою тайну… Потому что стиль есть отпечаток души столь же точный, столь же единичный, как отпечаток пальца есть паспорт преступника». Стиль как улика!

Хотя в глубине души художник, конечно же, знает правду о самом себе, но воспринимает данность как истину. Не в последней инстанции, разумеется, но по крайне мере как попытку испытать самого себя, когда результаты неопределенны, а достижения сомнительны.

Из эссе Иосифа Бродского «Кошачье “Мяу”»: «Если истина о вещах не была добыта до сих пор, мы должны приписать это чрезвычайной неуступчивости мира, а не отсутствию усилий. Другим объяснением, конечно, является отсутствие истины; отсутствие, которого мы не принимаем из-за его колоссальных последствий для нашей этики.

Этика – или, выражаясь менее пышно, но, возможно, более точно, попросту эсхатология – в качестве движителя науки? Возможно; в любом случае, к чему действительно сводится человеческое исследование – это к вопрошанию одушевленным неодушевленного. Неудивительно, что результаты неопределенны, еще менее удивительно, что методы и язык, которые мы используем при этом процессе, все больше и больше напоминают саму материю».

Со временем сдержанность становится единственной возможностью защититься от языка, который всеяден. Ведь он заполняет все пустоты сознания и создает прямую угрозу быть погребенным в его многовековой толще, как на дне Финского залива. А пока гимн языку разносился над дюнами, гранитными валунами и ржавым остовом баржи, что почти целиком ушел в прибрежный песок.

Но не является ли этот гимн самоцелью? Вот в чем вопрос, на который и пытались ответить во время комаровских посиделок.

Отвечали по-разному, и в этом хоре каждый имел свой голос.

Дмитрий Бобышев:

Зрит ледяное болото явление светлой богини…

Пенорожденная – вниз головою с небес

в жижу торфяно-лилейную под сапоги мне

кинулась, гривной серебряной, наперерез.

Бедная! Белая – в рытвине грязной она отразилась…

Видно, и в самой ледащей из наших дорог —

лишь бы вела! – с ней замешана общая милость

низкому озеру Вялью и острову Милос,

и пригодится для чуда любой завалящий предлог.

Вот и гляди в оба глаза на мокрые волглые глади:

чахлые сосны, коряга застряла как хряк,

да лесопилка сырая вся чиркает сзади;

в кучу слежались опилки, и будка на складе

в серых подтеках глядит – отвернись от меня, Бога ради!

Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!

Анатолий Найман:

Звонил Ленгаз, вошла Госбезопасность:

«Едва не угнан в Осло самолёт,

а вы предпочитали время года,

когда желтеют листья на дубах,

клубится зной и хлещет дождь со снегом

и фонари темнеют белой ночью —

по-шведски “солнце в полночь”…

Что, молчальник,

расколетесь теперь-то?»

Ах, начальник,

когда-нибудь, когда не будет нас

и встанет Пермь на месте Ленинграда

и раньше срока вскроются каналы,

в такую же придурочную ночь

какой-нибудь казах или эстонец,

раздав багры и надувные лодки

энтузиастам из числа учёных,

туристам, взявшим массовостью спорт,

и наркоманам, трущимся в «Сайгоне»,

собьёт две-три специальных опергруппы

ловить в Неве всплывающие трупы.

Евгений Рейн:

Уже переломился календарь, видна зимы

бессмысленная даль,

К морозу поворот и новый год и множество

еще других забот.

Держаться надо, надо в декабре, когда снега и сумрак

во дворе,

И за окном бесчинствует зима, держаться надо —

не сойти с ума.

И надо одеваться потеплей и надо возвращаться

поскорей

К себе домой, где греется обед и закрывает вас

от всяких бед,

Зимы и вьюги, теплая жена, где все за вас

и крик и тишина.

И к двери осторожно подойдя, сказать себе

минуту погодя,

«Нет, рано еще, рано, не пора». Зима, зима —

ужасная пора…

Иосиф Бродский:

Птица уже не влетает в форточку.

Девица, как зверь, защищает кофточку.

Подскользнувшись о вишневую косточку,

я не падаю: сила трения

возрастает с паденьем скорости.

Сердце скачет, как белка, в хворосте

ребер. И горло поет о возрасте.

Это – уже старение.

Старение! Здравствуй, мое старение!

Крови медленное струение.

Некогда стройное ног строение

мучает зрение. Я заранее

область своих ощущений пятую,

обувь скидая, спасаю ватою.

Всякий, кто мимо идет с лопатою,

ныне объект внимания.

Правильно! Тело в страстях раскаялось.

Зря оно пело, рыдало, скалилось.

В полости рта не уступит кариес

Греции древней, по меньшей мере.

Смрадно дыша и треща суставами,

пачкаю зеркало. Речь о саване

еще не идет. Но уже те самые,

кто тебя вынесет, входят в двери.

В Ленинград вся компания возвращалась на последней электричке.

Ахматова провожала гостей, а потом еще долго стояла на веранде у стеклянной двери и смотрела, как деревья в темноте собираются вокруг ее «будки» таким образом, чтобы уже никто не мог к ней подойти.

Утром они, конечно, расступятся.

1993 г.

Когда мужики, наконец, допили «Балтику Троечку», то стали обсуждать только что прослушанную песню на стихи Ахматовой.

Песня, конечно, им понравилась, потому что были в ней грусть и чувство.

Разве что один из слушателей, все это время задумчиво смотревший в окно, проговорил:

– А мне все-таки как-то больше Цветаева нравится…

– Она повесилась, – участливо подхватил сосед, – жалко ее.

Мужики подавленно замолчали.

– Ладно, надо покурить, – нарушил грохочущую тишину электрички сидевший рядом с проходом молодой парень в куртке-бомбере с нашивкой Los Angeles Lakers.

Сказано – сделано: положив на скамейки сумки, мужики удалились в тамбур и, судя по активной жестикуляции куртки Los Angeles Lakers и любителя Цветаевой, разговор о поэзии, переложенной на музыку, продолжился.

Проехали Репино.

На платформе в Комарово из электрички вышли человек десять, не более, и уныло побрели к лесу.

Молодящегося старика в кирзовых сапогах и его благообразной супруги в мохнатой мохеровой шапке с аккордеоном фирмы «Weltmeister» среди них, конечно, не было.

Интродукция перед Восьмым Эпизодием

Выступая в 1934 году на Первом съезде советских писателей, Максим Горький сказал:

«Уважаемые товарищи, мне кажется, что здесь чрезмерно часто произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и т. д. (Смех.)

Не думаете ли вы, что, слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение других? Поверьте мне: я не кокетничаю, не рисуюсь. Меня заставляют говорить на эту тему причины серьезные. Говоря фигурально, все мы здесь, невзирая на резкие различия возрастов, – дети одной и той же очень молодой матери – всесоюзной советской литературы.

Измерение роста писателей – дело читателей. Объяснение социального значения произведения литературы – дело критики…

Среди нас есть еще немало людей, которые родились и воспитывались в атмосфере злейшей мещанской конкуренции. И

весьма часто эта конкуренция замещает соревнование, а конкуренция и социалистическое соревнование – понятия несовместимые, ибо враждебны в корнях своих.

Товарищ Соболев – автор “Капитального ремонта” – сегодня сказал очень веские и верные правде слова: “Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо”.

Отлично сказано!

К этому следует прибавить, что партия и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить – значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это, и не больше этого».

Пожалуй, в этих, по-горьковски обтекаемых формулировках, был заложен не только методологический, концептуальный, но и психотипический алгоритм советской литературы. Перед «инженерами человеческих душ» ставилась задачи поистине циклопическая – перевоспитать не одно поколение теперь уже советских людей, 90 % которых родились и значительную часть жизни прожили в царской России. И, как следствие, Союзу советских писателей надлежало стать наркоматом литературы (такова была объективная необходимость), и он стал им.

Было бы ошибкой и самоуверенным заблуждением при попытке живописать литературную жизнь Ленинграда 50-х – начала 60-х игнорировать тотальное (и в смысле психологическом, и в смысле идеологическом, и в смысле производственного вала) влияние, которое оказывал СП СССР как на читателей, так и на писателей. Причем, абсолютно неважно, как к этому давлению или ко всей советской литературе в целом относились невольные адресаты этого послания, рожденного на производстве непрерывного цикла.

Не подлежит никакому сомнению, что поэты и прозаики круга Бродского и Битова, Сосноры и Уфлянда, Британишского и Голявкина, Рейна и Бобышева, Марамзина и Вахтина с презрением и усмешкой относились к подопечным Александра Фадеева и Николая Тихонова, Алексея Суркова и Константина Федина[1].

Однако, являясь невольными заложниками объективной монополии на сокровенное знание о том, как писать «хорошо» и как «плохо», а также, за редким исключением, не имея никаких шансов официально напечататься здесь и сейчас, авторы нонконформистской литературы того времени неизбежно вступали в мучительный диалог с «совписовским» генералитетом. Диалог, по большей части, носивший характер монолога.

Не стоит также забывать и о том, что именно в Ленинграде,

«колыбели Великого Октября», городе-герое и «городе Ленина», деятельность местной писательской организации носила, в сравнении с Москвой, более неистовый и ревностный характер. Начало жесткому «сталинскому» стилю в управлении Ленинградской писательской организацией положил ответственный секретарь СП Всеволод Анисимович Кочетов (1912–1973), прозаик, публицист и общественный деятель, занимавший этот пост с 1953 по 1954 год. За столь непродолжительное время он успел перессориться практически со всеми ленинградскими писателями, борясь с «мещанством и натурализмом» местной литературной школы. Однако если на его нападки на «узколобого кустаря-индивидуалиста» Михаила Зощенко смотрели сквозь пальцы, то его погромная и незаслуженная критика романа Веры Пановой «Времена года» вызвала бурю возмущения.

Кочетов явно перестарался и не учел, что лауреат трех Сталинских премий Вера Федоровна Панова была особо почитаема не только в Ленинграде, но и в Москве. В ответ на выпад Всеволода Анисимовича Вера Федоровна обратилась за поддержкой лично к товарищу Хрущеву, и эта поддержка не замедлила прийти. В декабре 1954 года на отчетно-перевыборном собрании Ленинградского союза писателей В. А. Кочетов не был избран даже в правление.

Дополнительных красок этому скандалу прибавил роман «Молодость с нами», который Кочетов сдал в редакцию журнала «Звезда», главным редактором которого являлся Валерий Друзин, назначенный на эту должность после известного Постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Сомневаться в политической лояльности Друзина, что и понятно, не приходилось, но ленинградская писательница Вера Казимировна Кетлинская – член ВКП(б) с 1927 года, лауреат Сталинской премии и кавалер ордена Трудового Красного Замени, обвинила Кочетова в хамском отношении к товарищам по литературному цеху, а также в недопустимых интонациях, унижающих Ленинградский писательский Союз в целом. В пылу этой свары, на которую к тому моменту уже обратили внимание и в Кремле, Кочетов не только не подумал извиниться перед заслуженными ленинградскими литераторами, что было бы логично после предъявленных ему очевидных обвинений, но и усилил их критику, в ходе которой также досталось и московским журналам – «Октябрю» и «Новому миру».

Единственной возможностью замять этот неприятный инцидент среди маститых литераторов был скоропалительный перевод Всеволода Анисимовича в Москву на должность главного

редактора «Литературной газеты», а затем и журнала «Октябрь».

В 1955 году на место ответственного секретаря Ленинградского отделения СП РСФСР был назначен поэт, журналист и общественный деятель (последняя характеристика применима к большинству советских прозаиков и поэтов того времени) Александр Андреевич Прокофьев, лауреат Сталинской, а впоследствии и Ленинской премий, Герой Социалистического Труда, кавалер четырех орденов Ленина, почетный сотрудник госбезопасности СССР (с 1922 по 1930 год – сотрудник ВЧК-ОГПУ по Ленинградскому ВО).

Перечисление регалий наших героев, повествование о литературных склоках, затаенных обидах и неожиданных альянсах еще вчера заклятых врагов воистину не имели бы никакого смысла, если бы не одно важное обстоятельство. Все они были профессиональными писателями и, следовательно, самым активным образом публиковались многотысячными (если не миллионными) тиражами, а их произведения читались и обсуждались (особенно в свете известных общественности скандалов и политических драк).

С именем Александра Андреевича Прокофьева, занимавшего свою должность 10 лет, связан весьма значимый период в литературной жизни Ленинграда, когда самым замысловатым образом переплелись судьбы и житейские истории людей, которые, казалось бы, в иной ситуации никогда не встретились и не пересеклись бы. Ясно, что как таковой заслуги в этом ответсека Ленинградского отделения СП РСФСР не было, а было простое стечение обстоятельств, из которых каждый хотел извлечь свою выгоду.

С наследством, оставленным В.А. Кочетовым, Прокофьев, имевший в писательских кругах прозвище Прокоп, принялся разбираться со свойственными бывалому чекисту обстоятельностью и осторожностью.

В целом линия предшественника, разумеется, была сохранена, однако допущенные Всеволодом Анисимовичем тактические ошибки были учтены и по возможности исправлены.

С одной стороны, был налажен диалог с ключевыми фигурами Ленинградского писательского Союза – Юрием Германом, Верой Кетлинской, Даниилом Граниным и, разумеется, Верой Пановой (в то время литературным секретарем Пановой был Сергей Довлатов). Также была начата работа с молодыми прозаиками и поэтами.

С другой стороны, Александр Андреевич благоразумно приблизил к себе и «мракобесов» (как их было принято называть в либеральной литературной среде) круга Кочетова, прекрасно

понимая, что они нужны ему как некая сдерживающая в спорах с «либералами» сила.

В числе так называемых «кочетовских гвардейцев» следует упомянуть двух знаковых персонажей.

Главного редактора журнала «Нева», прозаика Сергея Воронина, напечатавшего в 1958 году на страницах своего журнала «антинигилистический» роман Всеволода Кочетова «Братья Ершовы» (публикация вызвала очередной скандал как в писательской, так и в читательской среде, автора обвинили в антисемитизме). Также Воронин ратовал за публикацию романа Ивана Шевцова «Тля», сходного по тематике с «Братьями Ершовыми» (вышел отдельной книгой в издательстве «Советская Россия» лишь в 1964 году), и принимал активное участие в полемике, которая шла в Москве между журналами «Новый мир» и «Октябрь», а вернее сказать, между их главными редакторами Александром Твардовским и Всеволодом Кочетовым о правде жизни и правде искусства, о реализме и соцреализме, о новаторстве и писательском «рукоблудии» (принимал участие, разумеется, на стороне Кочетова).

Также правый фланг Ленинградского «совписа» прикрывал поэт и по совместительству парторг местного Союза Григорий Мирошниченко (якобы протеже самого Алексея Максимовича Горького).

О Мирошниченко сохранились воспоминания, не требующие комментариев:

«В 37-м году в Дом творчества “Коктебель” приехал парторг ленинградской писательской организации Григорий Мирошниченко – дюжий мужчина с хмурым казацким лицом. Он вышел к ужину, поставил перед собой бутылку водки, пил раз за разом, быстро опьянел и вдруг, резко отодвинув тарелку, поднялся. Все оглянулись. “Простите, товарищи, – сказал он, – я должен вас покинуть. Я очень устал. Я боролся с врагами народа”. Он пошатнулся и уперся кулаками в скатерть. “Я боролся с врагами народа, – повторил он. – Я приехал сюда отдохнуть. И что же я вижу?” Он обвел всех ненавидящим взглядом: “Кругом одни враги народа. Не с кем за стол сесть!” В столовой повисла абсолютная тишина. Стоило ему захотеть, и назавтра арестовали бы любого. Он повернулся и угрюмо вышел».

Таким образом, Александр Андреевич Прокофьев трактовал упомянутые свыше слова «буревестника пролетарской революции» о «праве командовать друг другом» и «праве учить друг друга» по собственному разумению. А именно, умело балансируя между «центристами» (Герман, Гранин, Панова, Берггольц) и «сталинистами-ортодоксами», периодически

стравливая их между собой. Причем повод для выяснения отношений предоставляли сами творцы, систематически публикуя в «толстых» журналах или в книжном формате тексты, которые часто вызывали раздражение, а порой и просто бешенство коллег. Причин тому было предостаточно: зависть, старые обиды, финансовые проблемы, семейные дрязги и тому подобное, список этот, что и понятно, может продолжаться и продолжаться.

Например, Вера Казимировна Кетлинская, автор романов «Мужество» и «В осаде», в 40-х годах была подвергнута партийной обструкции (Григорием Мирошниченко в частности) в связи с «неправильным» происхождением – ее отец поляк Казимир Кетлинский был контр-адмиралом. Спустя годы, в 1964 году, Вера Казимировна при поддержке Дзержинского райкома Ленинграда ответила своему обидчику – она добилась исключения Мирошниченко из партии и Союза писателей, обвинив его в аморальном поведении.

Интересно заметить, что слушания по персональному делу Григория Ильича Мирошниченко шли параллельно с судом над «тунеядцем» Иосифом Александровичем Бродским (в юрисдикции того же Дзержинского райкома партии).

К началу 60-х годов борьба различных группировок внутри СП Ленинграда достигла своего предельного накала.

Так, героически и бескомпромиссно сражаясь с Ольгой Берггольц и Даниилом Граниным, Владимиром Дудинцевым и Александром Яшиным, Сергей Воронин восклицал: «В произведениях некоторых писателей был взят курс не на утверждение, не на положительный пример в нашей жизни, не на светлые ее стороны, а прежде всего на теневые… ущерб фрондой (группой либеральный писателей. – *Прим. авт.*) был нанесен немалый. Брошенный ею камень в нашу советскую идеологию погнал волну, которая коснулась не только нас, писателей, но и всех работников культуры и искусства. И, главное, коснулась молодежи. И некоторая ее часть… заразилась пессимизмом и скептицизмом».

Хотя впасть в пессимизм и стать скептиком было от чего: конфликт между «оттепельной» молодежью (1930–1940-х годов рождения) и «стариками» неизбежно нарастал. Взаимные претензии, нежелание слушать друг друга, особенно вторыми первых, тягостная ситуация с публикацией новых имен – все это требовало немедленного разрешения, на что ни СП, ни А.А. Прокофьев не были способны.

Писателям старшего поколения казалось, что перед ними стоят более «серьезные» проблемы – столкнуть Прокопа с

занимаемой должности (на его место метил поэт, общественный деятель, впоследствии Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии Михаил Александрович Дудин), и, с другой стороны, удержаться в должности ответсека, по возможности утопив своих противников.

Однако секция по работе с молодежью в СП все-таки была создана. В ее задачи входило надзирать за начинающими поэтами и прозаиками, контролировать отбор их публикаций, отслеживать непубликующихся и публикующихся за границей, готовить новых членов СП, а также отсеивать нежелательных литераторов и «самозванцев». Секцию возглавил прозаик, киносценарист Даниил Александрович Гранин (1919–2017 гг.), чья позиция предельно четко соответствовала поставленным перед ним и секцией задачам. Писатель ее формулировал так: «Наша литература <… > была, есть и остается помощником партии».

Первое столкновение Гранина с неформалами (вернее, с одним из них) произошло в феврале 1960 года, когда хорошо известный в узких кругах и совершенно неизвестный «совписовской» номенклатуре Иосиф Бродский на «турнире поэтов», что проходил в ДК имени Горького, прочитал свое стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда».

Громкий конфликт Иосифа с Глебом Семеновым, руководителем литературной студии «горняков», а также истошный вой в Союзе по поводу националистического (сионистского) сочинения Бродского мгновенно докатились до Прокофьева. В результате чего Д.А. Гранин (член ВКП(б) с 1942 года) как председатель комиссии по работе с молодыми авторами получил выговор по партийной линии. Александр Андреевич тогда в гневе вопрошал своего подчиненного: «Скажите, Даниил Александрович, какие стихи Бродского популярны и талантливы – где они? Ну как он может быть популярным, когда у него ничего не напечатано». «У нас таких, как Бродский, вокруг Союза, к сожалению, много…» – прозвучало в ответ.

Понятно, что эти беспомощные слова удовлетворить почетного сотрудника госбезопасности СССР не могли. В данном случае, вероятно, последовал только один совет-предупреждение от старшего партийного товарища – повнимательней работать с контингентом, иначе проблем избежать не удастся никому.

Совет этот оказался нелишним – в том же, 1960-м, году был арестован Александр Гинзбург – редактор и издатель альманаха «Синтаксис», среди авторов которого был и Бродский. С этого момента, как уже отмечалось выше, Иосифом заинтересовался КГБ. Откровенно говоря, присматривать и тем более опекать молодых у большинства маститых ленинградских «совписов»

особого желания не было. И происходило это, скорее всего, не потому, что конфликт «отцов и детей» был до такой степени неразрешим, а потому что никто не хотел брать на себя ответственность за тексты и поступки тех же «филологов» или «горняков», а также прочих свободных художников вроде Бродского и Сосноры.

Это предположение в полной мере подтвердили события рубежа 1963–1964 годов, более известные как травля поэта и «суд над поэтом».

Итак, вопрос с работой молодежной секции продолжал оставаться открытым. Гранин маневрировал на грани охранителя и надзирателя, с одной стороны, и либерала и «своего парня» – с другой. При этом, как это ни выглядит парадоксально, его, как и других маститых художников, можно было понять. Например, именно в это время роман Даниила Александровича «Иду на грозу» был выдвинут на соискание Ленинской премии, и Гранин, что закономерно, прилагал все усилия, чтобы награда своего героя, то есть, его, нашла (в результате Ленинку тогда получил роман Олеся Гончара «Тронка», среди претендентов был и «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына).

Вполне естественно, что события вокруг «какого-то» Бродского, впрочем, как и сам Бродский, раздражали.

А события эти, как мы помним, множились – самаркандский эпизод, дело Уманского…

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что 27 января 1963 года на страницах газеты «Смена» был опубликован доклад секретаря Ленинградского Промышленного обкома ВЛКСМ Кима Михайловича Иванова[2] (1931–2005), с критикой Ленинградского СП за недостаточное внимание к пишущей молодежи. В докладе прозвучали следующие слова: «Именно поэтому по городу бродят и часто выступают перед молодежью с упаднническими и формалистическими произведениями разного рода “непризнанные” поэты типа Бродского…Союз писателей отгораживается от подобных молодых людей, мыслящих себя “отвергнутыми гениями”, вместо того чтобы воспитывать их, давая отпор наносному, надуманному в творчестве этих в той или иной степени известных людей».

Это был сигнал, пришедший сверху, и теперь важно проследить, как на него отреагировали заинтересованные стороны.

СП Ленинграда, разумеется, занял выжидательную позицию, прикрываясь официальной отговоркой, что Иосиф Бродский не является членом Союза писателей и вообще такого поэта в организации не знают.

Первый «выстрел» раздался 29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград». Здесь была опубликована теперь уже хорошо известная, одиозная статья «Окололитературный трутень». Авторами этого истеричного и полуграмотного текста стали некие, никому не ведомые комсомольцы-общественники А. Ионин, Я. Лернер и М. Медведев. Таким образом, официальный ход делу был дан не со стороны райкома, не со стороны КГБ, и даже не со стороны прокурора, а со стороны частных лиц, комсомольцев-дружинников, которые, что свойственно молодым, выражались предельно эмоционально: «Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он “любит родину чужую”, Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине».

Понятно, что это была постановка, потому что без соответствующего указания газета «Вечерний Ленинград» (печатный орган Ленсовета) никогда не опубликовала бы (на разворот!) статью никому не известных персонажей, даже не являвшихся журналистами. Но с точки зрения протокола и формальностей все было соблюдено безукоризненно – рядовые ленинградцы-комсомольцы возмущены поведением своего сверстника и просят общественность, а также компетентные органы разобраться в сложившейся ситуации.

Автоматически в Ленинградский СП приходит письмо от прокурора Дзержинского района с предложением организовать над Иосифом Александровичем Бродским товарищеский суд.

Писатели вновь сообщают о том, что Бродский не является членом Союза, и товарищеский суд в данном случае невозможен. В ответ на законное возражение, что секция по работе с молодежью должна работать как с непубликующимися литераторами, так и нечленами СП, звучит потрясающей по своей казуистической четкости ответ – работать – да, а судить – нет.

Единственное, на что соглашаются писатели – провести секретариат правления Ленинградского отделения СП и осудить Бродского.

Из «Протокола № 21 заседания Секретариата Лен. Отд. Союза писателей РСФСР совместно с членами Партбюро ЛО СП от 17 декабря 1963 г.»:

«Присутствовали: тт. Прокофьев, Браун, Чепуров, Гранин, Воеводин, Лернер и другие. Председатель А.Прокофьев.

Слушали: Письмо Прокурора Дзержинского района… т. Лернер даёт характеристику И.Бродского, иллюстрируя её выдержками из его дневника и писем, адресованных ему, а также

редакции газеты “Вечерний Ленинград” по поводу напечатанной статьи “Окололитературный трутень”.

Выступили: тт. Прокофьев, Капица, Гранин и другие…

Единогласно решили:

Имея в виду антисоветские высказывания Бродского… просить Прокурора возбудить против Бродского и его “друзей” уголовное дело.

Считать совершенно своевременным и правильным выступление “Вечернего Ленинграда” со статьёй “Окололитературный трутень”.

В данном вопросе Даниил Александрович Гранин полностью солидаризировался с Александром Андреевичем Прокофьевым (по сути перейдя в стан «правых ортодоксов»), чем полностью доказал свою преданность ответственному секретарю и абсолютную лояльность генеральному курсу СП СССР.

Гранин говорил о Бродском: «Политическое лицо Бродского было нам известно. Я знаю, что он представлял собою два года тому назад. Сейчас тоже не убеждён в том, что он стал думать по-другому. Я бы лично сказал, что его с более чистой совестью надо было судить по политической статье, чем за тунеядство. Но это дело не моей компетенции… по существу сегодняшнего вопроса я хотел ещё сказать одно – неверно, когда говорят, что Бродский – это человек, стоящий вне литературы. Стихи Бродского способные, одарённые; есть, конечно, и плохие, негодные стихи, но рядом стоят хорошие, он популярен среди молодёжи; из-за этого всего и сыр-бор-то разгорелся, если бы это был бездарный человек, политическое ничтожество, не ввязывалось бы в это дело столько людей».

Следовательно, с подачи группы ленинградских писателей – в первую очередь секретариата Союза и членов партбюро ЛО СП, дело из внутрикорпоративного (административного) переквалифицировалось в уголовное и политическое.

Близость скорой расправы, разумеется, пьянила.

Однако вскоре выяснилось, что политический подтекст дела неизбежно влечет за собой нежелательный международный резонанс (имя Бродского уже мелькало в связи с альманахом «Синтаксис»), а это в Москве восприняли с крайним неудовольствием. Проблемы, о которых еще совсем недавно Александр Прокофьев говорил своему подчиненному Даниилу Гранину, возникли внезапно, откуда их не ждали (даже искушенный в подковерной борьбе Александр Андреевич их не ждал).

Одно дело, когда писатели выясняли отношения между собой и даже судились по вопросам публикаций, невыплат и банального

воровства, по вопросам недвижимости, очереди на жилье и льгот, но совсем другое дело, когда руководство ЛО СП и лично тов. Прокофьев проглядели политический акт пусть и не члена СП, но яркого и самобытного поэта, которого читал весь молодой Ленинград.

Утрата большевистской бдительности, как известно, приравнивалась к грубейшему нарушению партийной дисциплины.

Кресло под Александром Андреевичем зашаталось…

Следовательно, в «дожимании» дела Бродского появился дополнительный (если не основной) интерес, ведь разговоры о том, что «Прокоп всем надоел», уже давно ходили в коридорах Дома писателей на Шпалерной, да и в Смольном тоже.

Эписодий Восьмой

Закончив чтение статьи в «Вечернем Ленинграде», Александр Иванович Бродский обвел взглядом пустые дорожки Летнего сада, собранную для сожжения в кучи палую листву, ряды почерневших от сырости и холода стволов деревьев. Он был уверен, что один здесь, но ошибся, потому что поймал на себе остановившийся, без зрачков, мраморный взор Фридриха Вильгельма I, курфюста Бранденбургского. Еще раз пробежал текст, подписанный какими-то ему неизвестными фамилиями, а ведь он был профессиональным фотожурналистом и знал всех пишущих в городе для периодики. Аккуратно сложил газету и положил ее в урну, стоявшую рядом со скамейкой. Откинулся на спинку, сделал несколько глубоких вдохов, извлек из кармана таблетку валидола, вспомнил начало стихотворения сына, которое ему особенно нравилось:

Вместе они любили

сидеть на склоне холма,

Оттуда видны им были

церковь, сады, тюрьма.

Оттуда они видали

заросший травой водоем.

Сбросив в песок сандалии,

сидели они вдвоем.

Конечно, отсюда не видно Крестов, тут нет никого холма, в Ленинграде вообще нет холмов, вот разве что заросший стрелолистом Карпиев пруд у входа в сад и Спас на Крови на горизонте наличествуют.

Положил таблетку валидола под язык, и тут же мятный холод вошел внутрь головы. Когда боль отпустила, встал и медленно пошел домой.

Нет, все-таки никак он не может привыкнуть к тому, что у Иосифа совсем другая, не такая как у всех жизнь – работа от случая к случаю, литературные компании, где каждый уверен в том, что он гений, иностранцы и иностранки в друзьях, а еще обыски и вызовы в Большой дом.

Нет, не то что бы Александр Иванович очень уж сожалел о том, что его сын не знал, что такое учеба в институте, постоянная работа, регулярная получка, по выходным походы с семьей в ЦПКиО имени Кирова или на футбол с друзьями, наконец, отпуск в доме отдыха по комсомольской путевке. Это было, скорее, частью его – отца – жизни, частью, которую он презирал в глубине души, но уже давно как-то свыкся с ней, приспособился, научился обходить острые углы, что-то не замечать, о чем-то не думать.

После ужина с Марией Моисеевной сидели перед телевизором и смотрели КВН. Когда в конце передачи хор студентов МИИТа в рабочих спецовках запел песню Аркадия Островского и Льва Ошанина «Я тебя подожду», соседи сверху опять начали что-то сверлить, но на это уже никто не обратил внимания…

Во дворе дотемна крутят ту же пластинку,

Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда.

Вечер мне ни к чему, вечер мал как песчинка,

Я тебя подожду, только ты приходи навсегда.

А за окном то дождь, то снег,

И спать пора, и никак не уснуть.

Все тот же двор, всё тот же смех,

И лишь тебя не хватает чуть-чуть.

8 января 1964 года в Ленинграде наконец выпал снег.

В этот же день в газете «Вечерний Ленинград» был напечатан материал под названием «Тунеядцам не место в нашем городе». Это была подборка писем читателей газеты с требованиями наказать «некоего» Бродского. Материал заканчивался следующими словами: «Никакие попытки уйти от суда общественности не помогут Бродскому и его защитникам. Наша замечательная молодежь говорит им: хватит! Довольно Бродскому быть трутнем, живущим за счет общества. Пусть берется за дело. А не хочет работать – пусть пеняет на себя».

Стало окончательно ясно, что дело зашло слишком далеко, и развязка может быть весьма драматичной. Это понимали все, и друзья Иосифа в первую очередь, вот разве что сам «виновник» событий относился к происходящему необъяснимо спокойно. По крайней мере, внешне.

Известно, что после появления «Окололитературного трутня» сын Веры Федоровны Пановой, писатель, переводчик и востоковед Борис Борисович Вахтин (1930–1981) повел Иосифа на встречу к секретарю Дзержинского райкома партии Н.С. Косаревой (впоследствии ставшей главным редактором журнала «Аврора»), чтобы дать своему другу возможность объяснить ситуацию высокому начальству лично и опровергнуть ложь, опубликованную в «Вечернем Ленинграде».

Однако из этой затеи, увы, ничего не вышло.

На вопрос, почему Иосиф не пожелал получить высшее образование, товарищ Косарева услышала такой ответ: «Я не могу учиться в университете, так как там надо сдавать диалектический материализм, а это не наука. Я создан для творчества, работать физически не могу. Для меня безразлично, есть партия или нет партии, для меня есть только добро и зло».

Понятно, что после подобного пассажа разговор поэта и комсомольского службиста потерял всякий смыл, и под гневно-недоуменные взгляды товарища Косаревой Вахтин и Бродский удалились.

Однако на этом попытки обойти режим и неумолимое советское правосудие не были прекращены.

В конце 1963 года было решено положить Иосифа на обследование в Москву, в психиатрическую больницу имени Петра Петровича Кащенко, более известную как «Канатчикова дача». Семья Ардовых и А.А. Ахматова подумали, что получение соответствующей медицинской справки спасет Бродского от судебного преследования. И такая справка была получена.

Из письма Анны Андреевны Ахматовой: «Спешу сообщить, что Иосиф Бродский выписан с Канатчиковой дачи… с диагнозом шизоидной психопатии, и что видевший его месяц тому назад психиатр утверждает, что состояние его здоровья значительно ухудшилось вследствие травли, которую больной перенес в Ленинграде».

Шизоидная психопатия – расстройство личности, характеризующееся замкнутостью, необщительностью, эмоциональной холодностью, слабой способностью к сочувствию и установлению теплых доверительных отношений, низкой потребностью в социальных контактах, погруженностью во внутренний мир и склонностью к аутистическому фантазированию. Возможны стойкие необычные увлечения, которыми пациент редко делится с другими людьми. Окружающие обычно считают пациентов с шизоидной психопатией «странными», «чудаковатыми» или «отшельниками». Такие люди не имеют друзей или имеют 1–2 неблизких друга. Они мало интересуются реальностью, обычно плохо приспособлены к решению житейских вопросов. Однако больные способны достигнуть значительных успехов в профессиональной деятельности. Шизоидная психопатия возникает в результате недостатка контактов со значимыми взрослыми в раннем возрасте.

5-го января 1964 года, невзирая на протесты друзей и запреты врачей, Бродский неожиданно покинул Москву и вернулся в Ленинград, где «охота на ведьм» была в самом разгаре.

Начало официальной, на уровне законодательства, борьбе с тунеядством в СССР было положено в мае 1961 года с принятием Президиумом Верховного Совета РСФСР указа «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». В документе состав преступления определялся следующим образом: «длительное проживание совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда».

Статьей 209 УК РСФСР предусматривалось «официальное предостережение о недопустимости подобного образа жизни» (уклонение от труда в санкционированной государством форме более 4 месяцев подряд или в общей сложности в течение года), а также лишение свободы на срок до двух лет в случае игнорирования «официального предостережения».

С середины 1964 года по делу об «уклонении от общественно

полезного труда» проходило более 30 тысяч человек.

Через пять дней после январской подборки в «Вечернем Ленинграде» Иосиф Бродский был арестован по обвинению в тунеядстве.

Из письма Александра Ивановича Бродского на имя прокурора города Ленинграда Сергея Соловьева: «13 февраля с. г. в 21 час 30 минут И. А. Бродский, выйдя из квартиры, был задержан тремя лицами в штатском, не назвавшими себя, и без предъявления каких-либо документов посажен в автомашину и доставлен в Дзержинское районное управление милиции, где без составления документа о задержании или аресте был немедленно водворен в камеру одиночного заключения. Позже ему было объявлено о том, что задержание произведено по определению Народного суда. Одновременно задержанный Иосиф Бродский просил работников милиции поставить в известность о случившемся его родителей, с кем он вместе проживает, дабы не вызвать у старых людей излишних волнений и поисков. Эта элементарная просьба, которую можно было бы осуществить по телефону, удовлетворена не была.

Назавтра, 14 февраля, задержанный Иосиф Бродский просил вызвать к нему прокурора или дать бумагу, чтобы он мог обратиться с заявлением в прокуратуру по поводу происшедшего. Ни 14-го февраля, ни в остальные четыре дня его задержания, несмотря на его неоднократные просьбы, это законное требование удовлетворено не было… Что же касается нас, родителей, то мы провели день 14-го февраля в бесплодных поисках исчезнувшего сына, обращались дважды в Дзержинское райуправление милиции и получали отрицательный ответ и только случайно поздно вечером узнали о том, что он находится там в заключении. Все наши ходатайства перед начальником отделения милиции Петруниным о разрешении свидания, а также о выяснении причин задержания наталкивались на грубый отказ. Несколько позже в виде “милости” он разрешил передачу пищи. Не помогли также разрешения на свидания, данные нарсудьей Румянцевым и районным прокурором. Петрунин не пожелал считаться с этим, продолжая разговаривать в явно издевательском тоне, хотя перед ним были люди не только в два раза его старше, но и имеющие заслуги перед страной.

Пребывая в милиции, мы узнали, что к сыну вызвали скорую помощь, но о причинах этого события нам тоже ничего не было сказано, сославшись на то, что это “внутреннее” дело милиции. Позже выяснилось, что с ним произошел сердечный приступ, врач вколол камфору, но он и после этого продолжал оставаться в одиночке».

Слушание дела (вынесение «официального предостережения») Иосифа Бродского состоялось 18 февраля 1964 года.

Второй суд над «тунеядцем» Бродским Иосифом Александровичем был запланирован на 13 марта 1964 года.

Трагифарс в двух действиях.

Действие первое.

18 февраля.

Место действия – Дзержинский районный суд на Восстания, 33.

Интерьер – обшарпанная, вытянутая в плане комната с дощатым крашеным-перекрашенным полом, давно не мытыми окнами и высоким потрескавшимся потолком. Три продолговатых скамьи для публики перекрывают помещение, столы для судьи и адвоката заперты в торце, а в спертом воздухе висит стойкий, непонятно откуда здесь взявшийся запах сырого несвежего белья и цемента.

Действующие лица:

судья Екатерина Савельева

адвокат Зоя Топорова

подсудимый Иосиф Бродский

а также:

Фрида Вигдорова – журналист, правозащитник

Израиль Меттер – писатель

Ефим Эткинд – филолог, переводчик

Наталья Грудинина – поэт, переводчик

Наталья Долинина – филолог, педагог

На авансцене хор в составе:

Первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии Василия Толстикова

Прокурора Дзержинского района города Ленинграда Александра Костакова

Прокурора города Ленинграда Сергея Соловьева, а также рядовых сотрудников Дзержинского районного суда и народных заседателей.

Хор исполняет Стасим Пятый, Строфу Первую из трагедии Еврипида «Медея»:

«О, тянущийся, как рука,

к Элладе издалека

луч Гелиоса! Останови

руку, еще в крови

детской не обагренную!

Нет ничего лютей,

чем убийство детей.

Будь для них обороною

от материнской тьмы!

Безумье – черней тюрьмы.

Безумьем поражена

отвергнутая жена

в темницу погружена».

Судья Савельева:
Ответьте, Бродский, чем свой досуг вы наполняете?
Трудами?
Праздностью?
Молитвой?
Бродский:
Созданием стихов.
Я полагаю, это труд нелегкий и достойный.
Судья Савельева:
Вы полагаете…
О, это пустословие, мой друг!
Уж сколько раз я слышала подобные трюизмы:
поэзия, восторженная муза, мелодия любви.
Довольно!
Терпение мое не беспредельно, а гнев богов ужасен может быть!
Бродский:
Что ж делать мне?
Судья Савельева:

Ответ держать за праздность и безделье,
Ведь труд отринуть есть удел бесчестных!
Бродский:
Писание стихов и есть мой труд.
Судья Савельева:
Вздор!
Вот Пушкина известны мне стихи, Некрасова, Толстого…
Бродский:
Увы, но граф Толстой писанием стихов не занимался!
Судья Савельева:
О, Бродский, не дерзите мне,
я лучше ведаю, кто знает толк в стихосложеньи.
Итак, где книги ваши, те, что наш народ читает с упоеньем?
Бродский:
Их нет.
Судья Савельева:
Как жаль!
И в чем же смысл ваших дней тогда, коль скоро вы неведомы народу?
Где тот порыв, который вся страна имеет ежечасно?
Бродский:
Мой идеал есть постиженье совершенства,
когда за словом мысль течет,
а время и пространство, совокупляясь, рождают непрерывность бытия.
Судья Савельева (обращаясь к хору):
Безумен он!
Хор:
О да! О да!
Бродский:
О горе мне!
Судья Савельева:
Ну что ж, а кроме написания стихов, чем можете служить отчизне нашей?
Бродский:
Работал на заводе и в больнице, истопником, курьером, батраком лет, может, пять…
Судья Савельева (прерывает Бродского со смехом):
Лет пять? Хороший срок!
Хор:
О да! О да!
Бродский:
Но важным для меня является язык,
что Богом мне – поэту дан!

Судья Савельева (кричит):

Да кто ж причислил вас к поэтам, черт возьми!?

Бродский (с вызовом):

Тот, Кто теперь взирает с высоты на нас, несчастных,

и скорбь чело Его мрачит от нашей глупости, разврата и неверья.

Судья Савельева (кричит):

Молчать!

Хор:

Ату его! Ату!

Адвокат Топорова:

Прошу судью услышать и меня,

мой голос слаб, но важен всем для постиженья сути дела.

Судья Савельева (снисходительно):

Ну что же, говорите.

Адвокат Топорова:

Мой подзащитный болен,

труды и дни не для него,

когда б со всей страной он мог спускаться в шахту,

быть у станка,

когда б он мог по зову комсомола валить тайгу или стремиться к звездам.

Он не таков!

Судья Савельева (с усмешкой):

«Нет, я не Байрон, я другой», мы это слышали однажды.

Теперь-то что?

Адвокат Топорова:

Теперь он должен быть в кругу семьи,

без помощи его родители едва ли смогут здравствовать отменно.

Почтенный возраст и недуги их изрядны.

Судья Савельева:

Ах, вот в чем дело.

Он болен, а они стары.

Тут нужен голос эскулапа.

Адвокат Топорова:

Того, что клятву Гиппократу приносил.

Судья Савельева:

Помыслить следует над вашими словами.

Адвокат Топорова:

Благословят же боги ваше начинанье.

Сейчас зачту послание достойным, что раньше называлось челобитной:

«Я прошу направить гражданина Бродского на медицинское

освидетельствование для заключения о состоянии здоровья и о том, препятствовало ли оно регулярной работе. Кроме того, того прошу немедленно освободить Бродского из-под стражи. Считаю, что он не совершил никаких преступлений и что его содержание под стражей – незаконно».

Судья Савельева:

Изрядно сказано (удаляется).

Хор поднимается на сцену и поет:

Будет людям счастье,

Счастье на века;

У Советской власти

Сила велика!

Сегодня мы не на параде,

Мы к коммунизму на пути.

В коммунистической бригаде

С нами Ленин впереди!

После завершения песни в зал возвращается судья Савельева и зачитывает постановление:

«Направить на судебно-психиатрическую экспертизу (психиатрическая больница № 2 в Ленинграде, что на Пряжке), перед которой поставить вопрос, страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием и препятствует ли это заболевание направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда. Учитывая, что из истории болезни видно, что Бродский уклонялся от госпитализации, предложить отделению милиции № 18 доставить его для прохождения судебно-психиатрической экспертизы».

Конец первого действия.

Занавес.

Из интервью Иосифа Бродского Соломону Волкову:

«Это был нормальный сумасшедший дом. Смешанные палаты, в которых держали и буйных, и не буйных… В первую же мою

ночь там человек в койке, стоявшей рядом с моей, покончил жизнь самоубийством. Вскрыл себе вены. Помню, как я проснулся в три часа ночи: кругом суматоха, беготня. И человек лежит в луже крови. Каким образом он достал бритву? Совершенно непонятно… Первое впечатление …почти свело меня с ума, как только я туда вошел, в эту палату. Меня поразила организация пространства там. Я до сих пор не знаю, в чем было дело: то ли окна немножко меньше обычных, то ли потолки слишком низкие, то ли кровати слишком большие. А кровати там были такие железные, солдатские, очень старые, чуть ли не николаевского еще времени. В общем, налицо было колоссальное нарушение пропорций. Вас там колют всяческой дурью и заталкивают в вас какие-то таблетки. Это делается для того, чтобы вас затормозить, остановить, чтобы вы абсолютно ничего не могли делать, не могли пошевелиться… Ну каждый развлекается, как может… представьте себе: вы лежите, читаете – ну там, я не знаю, Луи Буссенара – вдруг входят два медбрата, вынимают вас из станка, заворачивают в простынь и начинают топить в ванной. Потом они из ванной вас вынимают, но простыни не разворачивают. И эти простыни начинают ссыхаться на вас. Это называется “укрутка”. Вообще было довольно противно… Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дурдом лучше, чем тюрьма».

По результатам пребывания Иосифа в доме на Пряжке были сделаны неутешительные (в сложившейся ситуации) выводы.

Так, в ходе судебно-психиатрической экспертизы диагноз, поставленный в Москве в психиатрической больнице имени П. П. Кащенко (шизоидная психопатия), был подтвержден. Данному виду заболевания регулярная физическая работа не была противопоказана («в наличии психопатические черты характера, но трудоспособен»), что и было зафиксировано в выписном эпикризе. Разумеется, эта информация была немедленно доведена до сведения заинтересованных лиц.

В Дзержинском районном суде и Ленинградском СП тут же началась активная подготовка ко второму действию трагифарса, хотя вполне возможно, что с Пряжки пришел изначально запрограммированный сверху ответ.

В частности, в комиссии по работе с молодыми авторами ЛО СП о Бродском был подготовлена справка, которую написал секретарь комиссии Евгений Всеволодович Воеводин (1928–1981) (его отец – писатель и поэт Всеволод Петрович Воеводин (1907–1973) тоже входил в секретариат правления СП) под руководством главы молодежной секции Д.А. Гранина.

В частности, Воеводин-младший сравнивал любовную лирику Бродского с порнографией, обвинял автора в нелюбви к родине и

унылом пессимизме, который несвойственен советской молодежи по определению.

Более того, секретарь комиссии утверждал, что назвать поэзией означенные выше тексты невозможно, так как это типичная графомания ущербного и не вполне здорового человека, склонного к недопустимым и оскорбительным для других выходкам.

Тогда же всплыла история с эпиграммой на Александра Андреевича Прокофьева, которую якобы написал Бродский, чтобы унизить заслуженного литератора, участника войны и ответственного секретаря Ленинградского отделения СП.

Ну, что сказать про нашего Прокопа?

Большой талант, но вдвое больше жопа.

Не надо быть профессиональным текстологом, чтобы увидеть, что подобную эпиграмму Иосиф Бродский написать не мог в принципе – тут все не его: ритм, рифма, стиль, тема.

Однако эти две «возмутительные» строчки с соответствующими комментариями были доведены до Прокофьева, что привело его в бешенство (предположительно авторами эпиграммы могли быть Михаил Дудин или Борис Кежун, и тот и другой являлись известными в Ленинграде сочинителями подобного рода текстов).

О справке Воеводина ответсек Ленинградской писательской организации А.А. Прокофьев отозвался следующим образом: «Я читал заявление Воеводина и целиком поддерживаю его – оно точно, компактно сделано и высказывает нашу точку зрения, точку зрения секретариата и коммунистов».

Интересно заметить, что уже в ходе суда возникла версия о том, что никто (Гранин в том числе, возможно ли такое?) не знал подлинного содержания справки, и якобы Воеводин всех обманул, выдав свои домыслы за мнение всей писательской организации.

Таким образом, получалось, что Прокофьев поддержал липовую справку, составленную в нарушение процедуры подготовки подобного рода коллективных документов, а именно не согласованную с секретариатом правления СП. По крайней мере, в этом всех клятвенно уверял Д.А. Гранин, более того, утверждал, что если бы документ был составлен правильно, с соблюдением всех норм, то он подписал бы его «двумя руками». При этом от выработки коллективной позиции по делу Бродского в рамках молодежной секции СП он уклонился.

Увольнение сына и отца Воеводиных с руководящих постов Союза стало началом конца Прокофьева.

В это же время (думается, это произошло не случайно) Вера Казимировна Кетлинская инициировала разбирательство по делу парторга ЛО СП Григория Мирошниченко – твердокаменного сталиниста еще Кочетовского призыва, на которого Александр Андреевич мог рассчитывать в борьбе с центристами и партийными «либералами». Как это ни анекдотично выглядит, но формально Мирошниченко тоже обвинялся в тунеядстве. Имея личную дачу, он сдавал ее и жил на нетрудовые доходы. Более того, В.К. Кетлинская припомнила Григорию Ильичу его боевую молодость в ОГПУ НКВД, а также его беспробудное пьянство и избиения супруги, что уже тянуло на «аморалку» (отрицание моральных устоев и общепринятых норм поведения в советском обществе). Таким образом, в Союзе писателей настойчиво хотели показать общественности (зарубежной в том числе), не говоря уже о Москве, что литераторы Ленинграда (при помощи партийных органов и КГБ) подвергают справедливому дисциплинарному воздействию не только маргиналов типа Иосифа Бродского, но и заслуженных, увы, зазнавшихся литераторов, порочащих гордое имя советского писателя.

В результате на состоявшемся 14–15 января 1965 года отчетно-выборном собрании Ленинградской писательской организации Александр Андреевич Прокофьев был смещен с занимаемой должности. Его место занял поэт Михаил Дудин, а Даниил Гранин стал вторым секретарем правления.

Характерно, что решение о радикальных перестановках в Союзе и о «свержении» Прокопа было принято не в Доме писателей на Шпалерной, что было бы логично, а партгруппой правления СП Ленинграда в Смольном.

Через несколько дней после успешного завершения рокировки писатель, драматург, лауреат Сталинской премии Юрий Павлович Герман официально сообщил коллегам: «Вчера в Обкоме партии в атмосфере взаимного доверия, искренности и деловитости партгруппа Правления пришла к выводу, что Первым секретарём Союза мы должны избрать нашего старого и верного друга товарища Дудина М.А. Нам кажется, что дела наши пойдут хорошо, если М. Дудин будет Первым секретарём».

Вполне возможно, что у советских литературных генералов после устранения А.А. Прокофьева дела на самом деле пошли хорошо, вернее сказать, еще лучше пошли…

Однако мы вернемся в март 1964 года, чтобы поприсутствовать на втором действии трагифарса и посмотреть, как же пошли дела у подсудимого Бродского Иосифа

Александровича.

Эписодий Девятый

Действие второе. 13 марта

Место действия: клуб 15-го ремонтно-строительного управления на Фонтанке, 22.

Интерьер – большой зал со сценой.

Ряды откидных кресел. В таких залах обычно проводят общие партийные собрания, торжественные мероприятия, смотры художественной самодеятельности, а также новогодние елки для детей сотрудников предприятия.

К двери кнопками прикреплено сделанное от руки объявление «Суд над тунеядцем Бродским».

К уже известным нам действующим лицам прибавились:

Переводчик, литературовед Владимир Адмони (1909–1993)

Писатель Евгений Воеводин (1928–1981)

А также:

Заседатели Т. Тяглый и М. Лебедева

Общественный обвинитель Ф. Сорокин

Начальник Ленинградского Дома обороны И. Смирнов

Заместитель директора Эрмитажа П. Логунов

Трубоукладчик УНР-20 П. Денисов

Пенсионер А. Николаев

Преподавательница марксизма-ленинизма в училище имени Мухиной Р. Ромашова (к сожалению, никакой дополнительной информации об упомянутых только по фамилии участниках трагифарса, кроме места их работы, обнаружить не удалось).

Присутствующие в зале переговариваются, слышен смех, хлопают откидные кресла. Однако при появлении судьи Екатерины Савельевой все замолкают.

Сегодня она подчеркнуто строга: поверх горчичного цвета блузки со стоячим, туго застегнутом под самым подбородком воротником, надет серый в мелкую клетку пиджак.

Иосиф тут же вспоминает историчку Лидию Васильевну Лисицыну и совершенно искренне не понимает, почему на лацкане пиджака Савельевой нет ордена Ленина.

Когда Лисицына начинала орать на учеников, потому что они не сделали домашнее задание или плохо вели себя в классе, Ленин вместе с орденом начинал дрожать, трепетать, будто боялся этого истошного крика. Впрочем, это было неправдой, потому что Владимир Ильич никого не боялся, тем более какого-то там секретаря парторганизации школы № 181 в Соляном переулке. Это Лисицына должна была его бояться!

Судья Савельева тем временем величаво поднимается на сцену, подходит к столу, кладет на него папку с материалами дела, поднимает руку, призывая тем самым всех ко вниманию, и

возглашает:

О дети Кадма юные потомки!

Зачем сидите здесь, у алтарей,

Держа в руках молитвенные ветви,

В то время как весь город фимиамом

Наполнен, и моленьями, и стоном?

Иосиф, конечно, узнает эти слова из Пролога к «Эдипу-царю» Софокла. Сначала он не понимает, почему они звучат здесь, в клубе 15-го ремонтно-строительного управления, но по мере того, как начинают развиваться события, все становится предельно ясно, и различие между устрашающим и трагическим проявляет себя в полной мере.

Судья Савельева (откашлявшись в кулак):

Настало время подвести итог.

Хор (составлен из заседателей, общественного обвинителя, а также ряда свидетелей обвинения):

Пора, пора, покоя сердце просит!

Судья Савельева:

Пусть скажет он, певец вершин,
хоть это труд и стыд напрасный.

Иосиф:

Пора, пора умней мне быть.

Судья Савельева:

Слова не мальчика, но мужа!
Итак, мы внемлем.

Иосиф:

Человек с головой, конечно, пытается перехитрить систему – изобретая разные обходные маневры, вступая в сомнительные сделки с начальством, громоздя ложь на ложь, дергая ниточки семейных связей. На это уходит вся жизнь целиком. Но ты поймешь, что сплетенная тобой паутина – паутина лжи, и, несмотря на любые успехи и чувство юмора, будешь презирать себя. Это – окончательное торжество системы: перехитришь ты ее или же примкнешь к ней, совесть твоя одинаково нечиста. Народная мудрость гласит, что нет худа без добра, – справедливо, видимо, и обратное. Амбивалентность, мне кажется, – главная характеристика нашего народа. Нет в России палача, который бы

не боялся стать однажды жертвой, нет такой жертвы, пусть самой несчастной, которая не призналась бы (хотя бы себе) в моральной способности стать палачом. Наша новейшая история хорошо позаботилась и о тех и о других. Какая-то мудрость в этом есть. Можно даже подумать, что эта амбивалентность и есть мудрость, что жизнь сама по себе не добра и не зла, а произвольна. Может быть, наша литература потому так замечательно и отстаивает добро, что чересчур сильно ему сопротивление. Будь эта направленность только двоемыслием, это было бы прекрасно; но она гладит против шерсти инстинкты. Именно эта амбивалентность, я полагаю, и есть та «благая весть», которую Восток, не имея предложить ничего лучшего, готов навязать остальному миру. И мир, кажется, для этого созрел[3].

1 голос из зала:
Смотри-ка, как заговорил.
2 голос из зала:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей!

П. Денисов:
В чем смысл слов его – туманных, бесполезных?
П. Логунов:
Там смысла нет!
Там глум и дерзость без начала и конца!
А. Николаев:
А в годы оны при вожде
поди скажи такое принародно, расстрел
та горькая пилюля, что исцелила б навсегда предателей,
врагов и тунеядцев!
И. Смирнов (в недоумении):
«Амбивалентно», «торжество системы», «благая весть»
И что-то там про «произвол»…
По-русски ль сказано?
Р. Ромашова:
Фамилия его о многом говорит.
Судья Савельева (грозно):
Ну что ж! Он издевается над нами!

Хор:

О да! О да!

И будет попран навсегда!

Судья Савельева:

Тогда и мы заговорим иначе!

Из книги Якова Гордина «Дело Бродского»:

«*Смирнов* (свидетель обвинения, начальник Дома обороны). Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Разум – оружие опасное для его владельца. Все говорили, что он – умный, и чуть ли не гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросши в интеллигентной семье, он имеет только семилетнее образование. Вот тут пусть присутствующие скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку? В армию он не пошел, потому что был единственный кормилец семьи. А какой же он кормилец? Тут говорят, – талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много путаницы в голове? И антисоветские строчки…

Логунов (заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части). С Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых такой сын. Я работал с писателями, я среди них вращался… Я хотел выступить в том плане, что надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами. Бродский должен начать свою жизнь по-новому…

Денисов (трубоукладчик УНР-20). Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеки – нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить. Говорят, что Бродский представляет собою что-то как поэт. Почему же он не был членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом? Ведь Энгельс считает, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность как рабочего не

удовлетворяет…

Ромашова (преподавательница марксизма-ленинизма в училище имени Мухиной). Я лично Бродского не знаю. Но его так называемая деятельность мне известна. Пушкин говорил, что талант – это прежде всего труд. А Бродский? Разве он трудится? Разве он работает над тем, чтобы сделать свои стихи понятными народу? Меня удивляет, что мои коллеги создают такой ореол вокруг него. Ведь это только в Советском Союзе может быть, чтобы суд так доброжелательно говорил с поэтом, так по-товарищески советовал ему учиться. Я как секретарь партийной организации училища имени Мухиной могу сказать, что он плохо влияет на молодежь…

Николаев (пенсионер). Я лично с Бродским незнаком. Я хочу сказать, что знаю о нем три года по тому тлетворному влиянию, которое он оказывает на своих сверстников. Я отец. Я на своем примере убедился, как тяжело иметь такого сына, который не работает. Я у моего сына не однажды видел стихи Бродского. Поэму в 42-х главах и разрозненные стихи. Я знаю Бродского по делу Уманского. Есть пословица: скажи, кто твои друзья. Я Уманского знал лично. Он отъявленный антисоветчик. Слушая Бродского, я узнавал своего сына. Мой сын тоже говорил, что считает себя гением. Он, как Бродский, не хочет работать. Люди, подобные Бродскому и Уманскому, оказывают тлетворное влияние на своих сверстников. Я удивляюсь родителям Бродского. Они, видимо, подпевали ему. Они пели ему в унисон. По форме стиха видно, что Бродский может сочинять стихи. Но нет, кроме вреда, эти стихи ничего не приносили. Бродский не просто тунеядец. Он – воинствующий тунеядец. С людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады. (Аплодисменты.)».

При всем однообразии и бессмысленности приведенных выше «свидетельских показаний», которые таковыми по сути своей и не являлись, хотелось бы обратить внимание разве что на последнее – некоего пенсионера А. Николаева.

Пожалуй, это было единственное выступление, анализ информации из которого позволяет связать события 1960 и 1964 годов в единую цепь, а также убедиться в том, что ушедшая в тень «контора» все это время неустанно «обрабатывала» Бродского. Итак, мы не знаем, кто был по профессии и чем занимался пенсионер-общественник, но то обстоятельство, что он был знаком с Александром Уманским, говорит о том, что его появление на суде неслучайно. Дело здесь вовсе не в некоем мифическом сыне А. Николаева, на которого Бродский якобы оказал «тлетворное влияние» своими «графоманскими» стихами,

дело в том, что «самаркандский эпизод» не был забыт. Свидетель специально упоминает вместе имена Бродского и Уманского (в это время последний отбывал срок во Владимирской тюрьме по ст. 70 ч.1 УК РСФСР), давая тем самым понять, что намерение угона самолета, антисоветская деятельность, а также измена родине – очень серьезные обвинения, в сравнении с которыми обвинение в тунеядстве лишь невинный пролог, за которым может последовать уже не фарс, а настоящая трагедия.

В статье «Окололитературный трутень» от 29 ноября 1963 года читаем: «Однажды по приглашению своего дружка О. Шахматова, ныне осужденного за уголовное преступление, Бродский спешно выехал в Самарканд. Вместе с тощей тетрадкой своих стихов он захватил “философский трактат” некоего А. Уманского. Суть этого “трактата” состояла в том, что молодежь не должна-де стеснять себя долгом перед родителями, перед обществом, перед государством, поскольку это сковывает свободу личности. “В мире есть люди черной кости и белой. Так что к одним (к черным) надо относиться отрицательно, а к другим (к белым) положительно”, – поучал этот вконец разложившийся человек, позаимствовавший свои мыслишки из идеологического арсенала матерых фашистов. Перед нами лежат протоколы допросов Шахматова. На следствии Шахматов показал, что в гостинице “Самарканд” он и Бродский встретились с иностранцем. Американец Мелвин Бейл (Белли. – *Прим. авт.)* пригласил их к себе в номер. Состоялся разговор.

– У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, – сказал Бродский американцу. – Не хотите ли ознакомиться?

– С удовольствием сделаю это, – ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес:

– Идет, мы издадим ее у себя. Как прикажете подписать?

– Только не именем автора.

– Хорошо. Мы подпишем по-нашему: Джон Смит.

Правда, в последний момент Бродский и Шахматов струсили. “Философский трактат” остался в кармане у Бродского».

Напечатанная в «Вечернем Ленинграде» явная ложь, безусловно, не заслуживала бы никакого внимания, если бы не одно обстоятельство – откуда авторы статьи, А. Ионин, Я. Лернер и М. Медведев, вообще узнали о деталях той встречи в столице Советского Узбекистана, ведь информация эта носила оперативный характер. Можно предположить, что она была специально «слита» «комитетом», но с тем условием, что будет откровенно переврана – встреча в гостиничном номере Мелвина Белли (которой не было), его готовность напечатать «философский трактат» (он отказался сразу), наконец, клоунада с

псевдонимом «Джон Смит». Это было сделано исключительно в популистских целях – явить общественности абсолютного подонка и предателя, совершенно потерянного для советского общества.

Тем самым «контора» дала понять и СП, и суду, и комсомольцам, что Бродский «их», то есть находится в их разработке, и его дальнейшую судьбу будет решать исключительно «комитет».

Этот ход сработал.

Суд, как известно, превратился в обычный погром с беспочвенными обвинениями и кухонной бранью. В этом деле не нужно было разбираться, например, искать реальных свидетелей или анализировать тексты обвиняемого, дело нужно было быстро закрыть под уже заранее составленный приговор.

Из книги Якова Гордина «Дело Бродского»:

«*Сорокин*. Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, мокрицы и жучки. Бродский не поэт, а человек, пытающийся писать стишки. Он забыл, что в нашей стране человек должен трудиться, создавать ценности: станки, хлеб. Бродского надо заставить трудиться насильно. Надо выселить его из города-героя. Он – тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек. Почитатели Бродского брызжут слюной. А Некрасов сказал:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан.

Мы сегодня судим не поэта, а тунеядца. Почему тут защищали человека, ненавидящего свою родину? Надо проверить моральный облик тех, кто его защищал. Он написал в своих стихах: “Люблю я родину чужую”. В его дневниках есть запись: “Я уже давно думал насчет выхода за красную черту. В моей рыжей голове созревают конструктивные мысли”. Он писал еще так: “Стокгольмская ратуша внушает мне больше уважения, чем пражский Кремль”. Маркса он называет так: “Старый чревоугодник, обрамленный венком из еловых шишек”. В одном письме он пишет: “Плевать я хотел на Москву”».

Наиболее объемная информация о завершении суда над Иосифом Бродским прошла лишь в газете «Смена» (орган Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ), в статье «Тунеядцу воздается должное» (также была короткая публикация в «Вечернем Ленинграде»): «О самом Иосифе Бродском говорить уже противно. В клубе 15-го ремонтно-строительного управления,

заполненном трудящимися Дзержинского района, состоялся суд над этим тунеядцем, и, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года, принято постановление о выселении трутня из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к труду сроком на пять лет. К такому решению народный суд пришел после очень тщательного изучения всех имеющихся в деле документов, после внимательного выслушивания сторон… Это постановление было с большим одобрением встречено присутствовавшими в зале».

Согласно закону «о тунеядстве» максимальный срок за это преступление не может превышать два года. Откуда взялись пять лет? Это уже была другая статья, в частности, известная нам ст. 70 ч.1 УК РСФСР, по которой пятилетнее наказание отбывал Александр Аркадьевич Уманский.

Видимо, не без участия сидевшего на Красноярской зоне Олега Шахматова (он сотрудничал с «комитетом») дело Бродского «о тунеядстве» было негласно переквалифицировано в дело об «антисоветской агитации и пропаганде», что тянуло за собой определенный род процедурных особенностей, а также взаимодействия с КГБ, дабы избежать строгого или особого режима содержания в колониях в уголовной среде, лагерных этапов и каторжных тюрем.

Показательно, что сразу после завершения суда над Иосифом Бродским и вынесения ему приговора СП Ленинграда полностью утратил к нему всякий интерес, благо что внутрикорпоративные задачи в Союзе (на волне судебного разбирательства) были решены, а сам молодой поэт изначально ничего кроме раздражения у руководства СП (в том числе и у руководства молодежной секции Союза) не вызывал.

В это время Анна Ахматова скажет: «А о Гранине больше не будут говорить: “это тот, кто написал такие-то книги”, а – “это тот, кто погубил Бродского”. Только так».

В своей монографии «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии» Лев Лосев пишет: «По мере того как расходились круги по воде общественного мнения, двадцатитрехлетний Иосиф Бродский, автор таких-то и таких-то стихотворений, превращался в архетипического Поэта, которого судит “чернь тупая”. Первоначально защиту Бродского организовали люди, лично его знавшие, любившие его, переживающие за его судьбу: Ахматова и более близкие Бродскому по возрасту друзья М. В. Ардов, Б. Б. Бахтин, Я. А. Гордин, И. М. Ефимов, Б. И. Иванов, А. Г. Найман, Е. Б. Рейн и другие, а также те старшие знакомые среди ленинградских писателей и филологов, которые ценили его дарование, в первую очередь выступавшие на суде Грудинина и

Эткинд. Вслед за ними в дело защиты уже не столько Бродского как такового, но Поэта и принципов справедливости стало вовлекаться все возрастающее число людей в Москве и Ленинграде. В противовес официальной началась подлинно общественная кампания. Центральными фигурами в ней были две женщины героического характера – преданный друг Ахматовой писательница Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996) и близкая подруга Чуковской журналистка Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965)…

Запись суда над Бродским, сделанная Вигдоровой несмотря на угрозы судьи, стала документом огромного значения не только в судьбе Бродского, но и в новейшей политической истории России. За несколько месяцев она распространилась в самиздате, оказалась за рубежом и стала цитироваться в западной прессе. Если до этого имя Бродского на Западе было почти никому неизвестно, то к концу 1964 года, в особенности после того, как во Франции «Figaro Litteraire», а в Англии «Encounter», напечатали полные переводы вигдоровской записи. Романтическая история поэта, над которым чинят расправу злобные, тупые бюрократы, уже вовсе очищенная от подробностей скудного советского быта и местного политиканства, потрясла воображение западной интеллигенции. Для тех, кто знал цену тоталитаризму, суд над Бродским стал еще одним после травли Пастернака подтверждением, что свобода слова в советской России при Хрущеве так же невозможна, как при Сталине, а для многих людей левых убеждений – окончательным крахом доверия к советской разновидности социализма…

В Англии радиоинсценировку процесса Бродского транслировали в программе Би-би-си…

Иногда говорят, что всемирной славой Бродский обязан не своим стихам, а своему процессу. Это верно в том смысле, что мгновенная известность в век mass media открыла ему доступ к всемирной аудитории. Однако в сходном положении бывали и другие русские литераторы как до, так и после Бродского, но, за исключением Солженицына, только творчество Бродского оказалось соразмерным открывшейся возможности. Значение происходившего в 1964 году для дальнейшей судьбы ее молодого друга раньше всех поняла Ахматова: «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» Шутка Ахматовой основана на расхожей цитате из «Записок поэта» Ильи Сельвинского: «В далеком углу сосредоточенно кого-то били. /Я побледнел: оказывается, так надо —/ Поэту Есенину делают биографию».

После оглашения приговора судья Савельева медленно обводит взором притихший зал. Взгляд ее не выражает ничего ровным счетом – в нем нет ни удовлетворения от проделанной работы, ни радости, что все наконец закончилось, ни раздражения на тех, кто пытался защитить тунеядца и разгильдяя Бродского. Это абсолютно пустой взгляд, каким смотрят в осеннюю пустоту Летнего сада мраморные изваяния: Фридрих Вильгельм I курфюрст Бранденбургский и Марк Аврелий, Нерон и Луций Вер, Ян Собесский и Александр Македонский.

Судья Савельева вновь поднимает руку, призывая всех ко вниманию, и возглашает:

Владыки Фив, подумав, я решила

Отправиться в святилище богов

С кореньями и свежими венками.

Душа Эдипа сильно смущена,

Он в скорбных думах и, теряя разум,

По прошлому не судит о грядущем,

Лишь тем он внемлет, кто пророчит ужас.

Бессильна я его разубедить…

И вот к тебе, о Аполлон Ликейский,

Иду с мольбой и с этими дарами,

Избавь нас от напастей. Он – в смятенье,

И мы трепещем, – так взирают люди

На кормщика, испуганного бурей.

Иосиф хорошо помнит эти слова Иокасты из Эписодия Третьего трагедии Софокла «Царь Эдип».

Устрашение, неизбежно переходящее в драму, драма – в фарс, фарс – в комедию, только комедия не веселит, а страшит. Круг замыкается, и каждый из участников этого действа волен выбрать

то, что ему по душе, хотя бы по той причине, что у каждого из них есть свой интерес, своя выгода, своя правда.

Судья Савельева опускает руку, которую она держала на весу все то время, когда произносила монолог Иокасты.

И тут же вступает хор:

О сограждане, фиванцы! Вот пример для вас: Эдип,

И загадок разрешитель, и могущественный царь,

Тот, на чей удел, бывало, всякий с завистью глядел,

Он низвергнут в море бедствий, в бездну страшную упал!

Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне,

И назвать счастливым можно, очевидно, лишь того,

Кто достиг предела жизни, в ней несчастий не познав.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»: «По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни. Чувствуешь себя, как младенец, пытающийся схватить баскетбольный мяч: он выскальзывает из рук. Я немногое помню из своей жизни, и то, что помню, – не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще. Биография писателя – в покрое его языка. Помню, например, что в возрасте лет десяти или одиннадцати мне пришло в голову, что изречение Маркса “Бытие определяет сознание” верно лишь до тех пор, пока сознание не овладело искусством отчуждения; далее сознание живет самостоятельно и может как регулировать, так и игнорировать существование. Для того возраста это, безусловно, было открытием – но отмечать его вряд ли стоит, и другие наверняка сформулировали его лучше. И так ли уж важно, кто первым раскусил духовную клинопись, прекрасным образчиком коей является “бытие определяет сознание”?»

«Познавание несчастий» начинается с детства, с первых разгадываний хитросплетений языка, который и хранит в себе всю полноту информации о том, что такое есть счастье, а что – несчастье, что – добро, а что – зло. Жизнь конечна, а язык

бесконечен, следовательно, знание своей меры приходит от умения вместить в себя живую мысль, которая может быть сформулирована только живым языком. Когда же объем памяти и дарование мыслить иссякают, заканчивается и жизнь. Не познав несчастий, не достигнешь и предела жизни, потому как невозможно пребывать в постоянном умственном молчании. Этим даром не обладали ни ветхозаветные старцы, ни святые отшельники Древней Церкви.

Да и бессмертие, если честно, пугает, вызывает недоверие что ли…

Бессмертия у смерти не прошу.

Испуганный, возлюбленный и нищий, —

но с каждым днём я прожитым дышу

уверенней и сладостней и чище…

Пусть время обо мне молчит.

Пускай легко рыдает ветер резкий

и над моей могилою еврейской

младая жизнь настойчиво кричит.

Наверное, об этом и думал Иосиф, оказавшись на подмостках клуба 15-го ремонтно-строительного управления, что располагался по адресу – Ленинград, Фонтанка, 22.

Эписодий Десятый

В Вологду прибыли ночью. Перед стрелкой вагонзаки отцепили от «дальнего следования» и мотовозом отогнали на запасной путь в свет прожекторов, что лупили по всему периметру отстойника-запретки.

После остановки вагонов автоматчики с собаками тут же выстроились в коридоры от тамбуров до накопителя – деревянного барака с огромной двухстворчатой дверью-воротами, в которую, наверное, мог бы въехать грузовик, и слепыми зарешеченными окнами.

Раздался протяжный гудок мотовоза. Вероятно, он стал

командой к одновременному открыванию тамбурных дверей, потому как сразу после абсолютно подобного передергиванию затвора автомата скрежету замков началось движение, а собаки, почуяв запах давно не мытых человеческих тел, пота, мочи, табака вперемешку с креозотом, машинным маслом и углем, принялись надрывно лаять и рваться с поводков.

Первыми погнали рецидивистов, которые уже кроме как с заложенными на затылок руками и полуприсядом перемещаться не умели. Искоса посматривали на собак, на конвойных, придурковато щерились.

Иосиф пошел вторым эшелоном.

Замыкали шествие старики.

Иосиф Бродский: «Это был, если хотите, некоторый ад на колесах: Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем. А публика – главным образом блатари. Люди уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим – а там с шестнадцатым. И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик – ну как их какой-нибудь Крамской рисовал, да? Точно такой же – эти мозолистые руки, борода. Все как полагается. Он в колхозе со скотного двора какой-то несчастный мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек – ни в России, ни на Западе – на его защиту не подымется. Никогда! Просто потому, что никто и никогда о нем и не узнает!»

Бывали случаи, когда собаки срывались с поводков и набрасывались на заключенных, начинали рвать их, приходилось стрелять в воздух. Или в собак.

Из накопителя прибывших распределяли по автозакам и перевозили в пересыльную тюрьму на Чернышевского.

Согласно внутреннему регламенту советской пенитенциарной системы, заключенные, получившие сроки наказания и подлежащие отбыванию их в исправительно-трудовых лагерях, поступают из следственных тюрем (в случае с И.А. Бродским – из Крестов) сначала в пересыльные или этапные тюрьмы. Когда в пересыльной тюрьме собирается достаточное количество осужденных, они отправляются в распределительные лагеря, в которых и производится «сортировка» и разбивка их на группы, предназначенные к рассылке по тем или иным лагерям.

Для Севера СССР таким распределительными пунктами являлись (и являются) пересылки в Вологде, Кеми, Архангельске и Котласе.

После вологодской пересыльной тюрьмы Бродского этапировали в Архангельск.

К марту 1964 года здесь находился Лагпункт № 3 в составе колонии № 1, созданный на безе пересыльной тюрьмы Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛиК) УМВД СССР по Архангельской области.

Сектором этапирования заключенных из Архангельской пересылки был юг и северо-запад области – Северодвинск, Онега, Коноша, Вельск.

Сжимающий пайку изгнанья

в обнимку с гремучим замком,

прибы́в на места умиранья,

опять шевелю языком.

Сияние русского ямба

упорней – и жарче – огня,

как самая лучшая лампа,

в ночи́ освещает меня…

Эти строки Иосиф написал здесь – в лагпункте № 3, из которого в начале апреля 1964 года он был переведен на поселение в райцентр Коноша, что располагался в более чем 600-та километрах на юг от Архангельска.

Иосиф Бродский: «В Коноше меня расконвоировали… и послали, как и всех других высланных, искать работу в окрестных деревнях… нам говорили: вот поезжайте туда-то и поговорите – если вас возьмут на работу, мы вас, что называется, поддержим. И так я нашел себе это самое село Норенское Коношского района (23 км от Коноши. – *Прим. авт.*). Очень хорошее было село. Оно мне еще и потому понравилась, что название было похоже чрезвычайно на фамилию тогдашней жены Евгения Рейна (Галина Михайловна Наринская. – *Прим. авт.*). Работа там какая – батраком! Но меня это нисколько не пугало. Наоборот, ужасно нравилось. Север, холод, деревня, земля. Такой абстрактный сельский пейзаж. Самое абстрактное из всего, что я видел в своей жизни… Прежде всего, специфическая растительность. Она, в

принципе, непривлекательна – все эти елочки, болотца. Человеку там делать нечего ни в качестве движущегося тела в пейзаже, ни в качестве зрителя. Потому что чего же он там увидит? И это колоссальное однообразие в итоге сообщает вам нечто о мире и о жизни… (белые ночи) вносили элемент полного абсурда, поскольку проливали слишком много света на то, что этого освещения совершенно не заслуживало. И тогда вы видели то, чего можно принципе и вообще не видеть дольше чем нужно… Я туда приехал как раз весной, это был март-апрель, и у них начиналась посевная. Снег сошел, но этого мало, потому что с этих полей надо еще выворотить огромнейшие валуны. То есть половина времени этой посевной у населения уходила на выворачивание валунов и камней с полей. Чтоб там хоть что-то росло. Про это говорить – смех и слезы. Потому что если меня что-нибудь действительно выводит из себя или возмущает, так это то, что в России творится именно с землей, с крестьянами. Меня это буквально сводило с ума! Потому что нам, интеллигентам, что – нам книжку почитать, и обо всем забыл, да? А эти люди ведь на земле живут. У них ничего другого нет. И для них это – настоящее горе. Не только горе – у них и выхода никакого нет. В город их не пустят, да если и пустят, то что они там делать станут? И что же им остается? Вот они и пьют, спиваются, дерутся, режутся. То есть просто происходит разрушение личности. Потому что и земля разрушена. Просто отнята… Народ там совершенно не церковный. Церковь в этой деревне была разрушена еще в восемнадцатом году. Крестьяне мне рассказывали, что советская власть учинила у них с церковью. В мое время кое у кого по углам еще висели иконы, но это скорее было соблюдение старины и попытка сохранить какую-то культуру, нежели действительно вера в Бога. То есть по одному тому, как они себя вели и как грешили – ни о какой вере и речи быть не могло. Иногда чувствовался такой как бы вздох, что вот – жить тяжело и, в общем, хорошо бы помолиться. Но до ближайшей церкви им там канать было очень далеко. И потому речь об этом почти и не заходила. Иногда они собирались, чтобы потрепаться, но как правило все это в итоге выливалось в пьянство и драки. Несколько раз хватались за ножи. Но в основном это были драки – с крупным мордобитием, кровью. В общем, хрестоматийная сельская жизнь».

Абстрактное существование внутри абстрактного северного пейзажа в движении.

И почему-то сразу же вспомнились «Железнодорожные

пассажиры» Франца Кафки: «Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ, да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную игру, точно в калейдоскопе. “Что мне делать?” или “Зачем мне это делать?” не спрашивают в этих местах».

Вот и решил от Коноши до Норинской идти пешком.

По Октябрьскому проспекту вышел на трассу, что вела на Пежму, а оттуда на Вельск.

Коль скоро расконвоировали, то, стало быть, доверяют, мол, иди, все равно бежать тут некуда, особенно городскому.

Вот и пошел.

Однако вскоре пыльная гравийка утомила, потому и свернул на раскатанную лесовозами однопутку.

Мужики с машинно-тракторной станции сказали, что так до Норинской короче выйдет. А еще посоветовали в Пежму не ходить, там пежмари – народ драчливый, могут и убить. И сразу начались прозрачные, пряно пахнущие хвоей боры. Дорога то выбиралась из-под черной талой воды и восходила на земляные осыпающиеся уступы, заросшие кустарником, то вновь проваливалась в топкие овраги, которые месяца через полтора оживут тучами комаров и мошки.

К полудню стало жарко.

Взобравшись на пологий, растрескавшийся оврагами холм, лес тут же и затих, остановился, перестал двигаться навстречу.

Это и есть горовосходный холм, с которого видны леспромхозовские вырубки и стеклянные канифолевые потоки между стволов.

А еще отсюда, с вышины, кажется, что небо переворачивается, и облака, влекомые ветром, повитые низким рваным свинцом (ночью, скорее всего, будет дождь), находятся в светлом подземелье.

Это очередное безымянное озеро.

Хотя, конечно, местные знают, как его именовать – Бездонное, Черное, Вельское, Чижкомох.

Да, озера на Севере таинственны, и все знают, что они есть глаза леса, обращенные вверх: немигающие, недреманные, остекленевшие вовек глаза.

«Недреманное Око» есть икона, изображающая младенца-

Христа с открытыми глазами. Недреманный значит неспящий, вечно бодрствующий, все видящий.

По пути попалась какая-то заброшенная деревня – несколько пустых, обвалившихся изб-пятистенок и часовня, срубленная «в лапу», без купола, разумеется, с дырой в потолке, кем-то неумело заделанной ржавым кровельным железом.

Конечно, надо было идти дальше, но почему-то остановился и зашел.

И вдруг зазвучало:

В деревне Бог живет не по углам,

как думают насмешники, а всюду.

Он освящает кровлю и посуду

и честно двери делит пополам.

В деревне он – в избытке. В чугуне

он варит по субботам чечевицу,

приплясывает сонно на огне,

подмигивает мне, как очевидцу.

Он изгороди ставит. Выдает

девицу за лесничего. И в шутку

устраивает вечный недолет

объездчику, стреляющему в утку.

Нет, выстрелов не слышно, тишина, а до горизонта тянется топь, что мерно покачивается высохшими стволами.

Раньше на этих участках были лесозаготовки, но сейчас только и осталась, что голутва – заросли кустарников и молодого леса.

Однопутка тянется вдоль телеграфной линии Коноша – Вельск.

Гудят провода, что намотаны на керамические пробки изоляции.

На завалившихся бревенчатых столбах, которые прикручены стальной проволокой к рельсам, врытым в землю, сидят птицы.

Иосиф смотрит на них, и они напоминают ему молчаливых, безгласных рыб, которые плыли (и будут плыть всегда) в Обводном канале в районе улицы Шкапина, на полпути к Балтийскому вокзалу.

Птицы в свою очередь смотрят на Иосифа, который им видится бородатым лесником по фамилии Зотов, что раз в месяц оказывается в этих краях.

Но птицы – это не рыбы, а Бродский – не лесник.

И вот начинает постепенно смеркаться.

Сваленные на обочине бревна темнеют.

И снова из Кафки: «Ибо мы как срубленные деревья зимой. Кажется, что они просто скатились на снег, слегка толкнуть – и можно сдвинуть их с места. Нет, сдвинуть их нельзя – они крепко примерзли к земле. Но, поди ж ты, и это только кажется».

Буквально на глазах бревна превращаются в спящих, завернувшихся в черные бушлаты сезонных рабочих с лесобиржи, приписанной к Вельскому лесхозу.

Нет, теперь здесь ничего нет, все съедено болотом: сгнило и ушло в вонючие, пузырящиеся торфяные недра – няши. И только пронизывающий апрельский ветер несет шелестящую гарь мертвой сосновой коры, серебряной рыбной чешуи, да удушливый смрад сероводорода из глубины чавкающей под ногами трясины.

На гравийку выбрался уже в темноте, тут и подобрала «вахтовка», на которой до Норинской добрался минут за двадцать.

Иосиф Бродский: «Сначала они думали, что я шпион. Потому что кто-то услышал по Би-би-си передачу – их можно было поймать на приемнике “Родина”, который работал на батареях… И, значит, пустили слух, что я шпион. Но потом они поняли, что нет, совсем не шпион. Тогда они решили, что я за веру пострадал. Ну это была с их стороны ошибка, и я объяснил им, что это не совсем так. А потом они просто привыкли ко мне, довольно быстро привыкли. В гости приглашали… Там существовал магазин, сельпо, где продавались хлеб, водка и мыло, когда его привозили. Иногда появлялась мука, иногда – какие-то чудовищные рыбные консервы. Которые я один раз попробовал и – какой я ни был голодный – доесть никак не смог. Магазин этот, пока я там был, обновили. И вот я помню – абсолютно пустые прилавки и полки, новенькие такие. И только в одном углу – знаете, как в красном углу иконы? – сбились буханки хлеба и бутылки водки. И больше ничего нет!.. Это ведь был животноводческий совхоз, они там выкармливали телят. Но мяса

этого они никогда не видели. Только если теленок сломает себе ногу, то его, чем с ним возиться, прибивают. Тогда составляется официальный акт, шкуру с теленка снимают, а мясо раздают населению. И еще, если кто кабана держит, то кабана можно заколоть. Так и живут. Раз или два в месяц приезжали ко мне устраивать обыск из местного отделения… два человека приезжали на мотоцикле, входили ко мне в избу. Замечательная у меня изба была, между прочим. Отношения – самые патриархальные. Я понимал, зачем они приехали. Они: “Вот, Иосиф Александрович, в гости приехали”. Я: “Да, очень рад вас видеть”. Они: “Ну, как гостей надо приветствовать?” Ну я понимаю, что надо идти за бутылкой. Возвращался я с бутылкой минут через сорок-пятьдесят, когда дело было уже сделано. Они уже сидели всем довольные, поджидали меня. Да и что они могли понять во всех этих книжках, которые там валялись? Тут мы садились и распивали эту бутылку, после чего они уезжали».

В Норинской на постой Иосифа определили к Таисии Ивановне Пестеревой, где, впрочем, прожил он недолго, после чего перебрался в дом Константина Борисовича и Анастасии Михайловны Пестеревых, что находился на самом краю деревни.

Геолог, демограф Александр Петрович Бабёнышев (1938 г.р.), посетивший Бродского в ссылке, так описал его жилье: «Это был деревянный квадратный бревенчатый сруб, какие строят испокон веку по всей России, из бревен длиной 3,5–4 метра, то есть общей площадью 12–15 квадратных метров. Крошечное окошко из тех, что когда-то заделывали слюдой, тоже было типично для северных мест… Здесь я впервые увидел оригинальный метод борьбы с клопами: стены, потолок и отчасти даже пол были плотно обклеены старыми газетами… Мебели в городском понимании этого слова не было. Слева от окна прибитый к стене дощатый стол с керосиновой лампой, пишущей машинкой, чернильницей в стиле барокко… – подарок Ахматовой. Над столом – полка с книгами, над ней в анфас развернут небольшого формата альбомчик с репродукциями Джотто. Топчан с соломенным матрацем, лавка с ведром для воды – вот и вся незамысловатая обстановка… Конечно, не было газа, водопровода, электричества, тёплого туалета… не было даже уборной-скворешни во дворе, придуманной стыдливыми горожанами. Но были четыре стены, крыша и дверь, закрыв которую можно было отгородиться от всего мира, думать, сочинять, быть наедине с собой».

Вскоре по прибытии в Норинскую Иосиф, согласно приказу № 15 по совхозу «Даниловский» Архангельского треста «Скотооткорм», был зачислен рабочим в бригаду № 3.

В круг его обязанностей входило – убирать навоз, корчевать пни, чистить поля от камней и валунов, изготавливать жерди для осек (ограды пастбищ), лопатить зерно, сеять озимые в тракторных бригадах, сажать и убирать картофель.

Однако назвать Бродского прилежным работником было трудно.

В сохранившемся «Приказе № 18 по совхозу “Даниловский” Архангельского треста “Скотооткорм” от 22 марта 1965 года» сообщалось: «За допущенные неоднократно прогулы в 1964 и в 1 квартале 1965 года: январь – 10 дней, феврале – 1, 2, 3, 5, 6, 19, 24, 25 всего 8 дней и 19 марта рабочему совхоза отделения № 3 Бродскому Иосифу Александровичу объявить – выговор. Предупредить в последний раз тов. Бродского Иосифа Александровича, что, если ещё раз с его стороны будут прогулы без уважительных причин, к нему будут приняты более строгие меры взыскания вплоть до увольнения из совхоза без каких-то предупреждений».

Из воспоминаний жителей райцентра Коноша и деревни Норинской об Иосифе Александровиче Бродском.

Таисия Пестерева, телятница: «Послал его бригадир жердья для огорожки секти. Топор ему навострил. А он секти-то не умеет – задыхается и все ладоши в волдырях. Дак бригадир… стал Иосифа на лёгкую работу ставить. Вот зерно лопатил на гумне со старухами, телят пас, дак в малинник усядется, и пока не наестся, не вылезет из малинника… Худой молвы о себе не оставил… Обходительный был, верно… Потом Иосиф на постой в другой дом перебрался. И перво-наперво посадил перед избой черемуху – из лесу принес. Говаривал: “Каждый человек должен за свою жизнь хоть одно дерево посадить, людям на радость”».

Мария Жданова, работник почты: «Стоит у меня на почте, опершись на стойку, смотрит в окно и говорит в таком духе, что о нём ещё заговорят. Я тогда ещё подумала грешным делом: кто же о тебе заговорит, о тунеядце? Запомнились те слова от сомнения – кому ты, больной и ни к чему не гожий, нужен и где о тебе говорить-то будут».

Александр Булов, тракторист: «Пока он с Норинской до работы дойдет три километра – опоздает, потом, если сеялку на поле заклинит, от Иосифа пользы никакой. И все время

перекурить звал. Мерзнуть будет, лишь бы не вспотеть. Мешки поворочает, сеялку кое-как затарит зерном, а больше ни-ни… С ним с год я всего проработал, да и то старался, если можно было не брать его… Получал Иосиф в совхозе рублей пятнадцать в месяц – за что больше, если не работал… Жаль вообще мужика было. Придет на работу, с собой – три пряника, и вся еда. Брал Иосифа с собой домой, подкармливал. Не пили, нет… госбезопасность приезжала: мою хозяйку с самого начала предупредили, чтобы я с ним не снюхался… Иосиф мне стихи не читал, а я не вникал и не вникаю. По мне, чем сюда было высылать, лучше бы сразу за бугор. Там ему место: и душой закрытый, и стихи у него муть какая-то».

Дмитрий Марышев, секретарь парткома совхоза, впоследствии директор совхоза: «Мы с ним оказались в одной паре. Женщины затаривали выкопанные трактором клубни в мешки, а мы грузили мешки на тракторную тележку. Беремся вдвоем с Бродским за мешок и забрасываем на тележку. Говорите, был он сердечником? Не знал. При мне Бродский работал на совесть. В редких перерывах курил “Беломор”. Работали почти без отдыха. В обед я пошел к своему тезке, Пашкову, а Бродского увела к себе Анастасия Пестерева, у которой он жил на квартире в Норинской. После обеда опять кидали тяжелые мешки, и так весь день. Бродский был в осеннем пальто и полуботинках. Я спросил: “Что же не одел фуфайку и сапоги?” Он промолчал. А что тут скажешь, он понимал ведь, что грязная работа предстоит. Видно просто молодая беспечность».

Анна Шипунова, судья Коношского райнарсуда: «Мне очень хорошо помнится, что высланный Бродский был осужден за отказ собирать камни с полей совхоза “Даниловский” на 15 суток ареста. Когда Бродский отбывал наказание в камере Коношского РОВД, у него был юбилей (24 мая 1965 года Иосифу исполнилось 25 лет. – *Прим. авт.*). В его адрес поступило 75 поздравительных телеграмм. Мне стало известно об этом от работницы отделения связи, она была народным заседателем в нашем суде. Мы, конечно, удивлялись – что это за личность такая? Потом мне стало известно, что к нему на юбилей прибыло из Ленинграда много людей с цветами, подарками.

Коллектив поздравляющих направился ко второму секретарю райкома Нефедову – с тем, чтобы он повлиял на суд. Нефедов мне позвонил: “Может, освободим его на время, пока люди из

Ленинграда здесь? Мы, конечно, вопрос рассмотрели и освободили Бродского насовсем. В камере он больше не появлялся”».

Весной 1965 года Иосиф познакомился с начальником местного АХО (административно-хозяйственного отдела) Коношского райкомхоза – участником войны, офицером армейской разведки, одесситом Владимиром Михайловичем Черномордиком. В ведении АХО были парикмахерские, бани, дом быта, ремонтные мастерские.

По одной из версий в Архангельских краях Черномордик оказался во время оно, после отсидки в северных лагерях. Но в Коноше середины 60-х годов Владимир Михайлович был человеком известным и весьма влиятельным.

С Бродскими они сошлись на почве любви к поэзии и литературе. Кроме того, что Черномордик под свое поручительство записал Иосифа в местную библиотеку (а заключенным и поселенцам это было категорически запрещено), он устроил своего молодого друга, которого он был старше на 16 лет, в местный дом быта разъездным фотографом, то есть перевел Иосифа с сельских работ на городские. Сделать это удалось благодаря участию врача-терапевта Коношской районной больницы некоего Эриха Андрэ (немецкого ссыльного), который подготовил официальную справку о больном сердце Бродского.

Таким образом, подаренный ленинградскими друзьями на день рождения велосипед оказался как нельзя кстати. Как, впрочем, и привезенные отцом в Норинскую фотоаппараты. Проявочные бачки, фотоувеличитель, химикаты, фотобумагу и пленку исправно выдавал любезный Владимир Михайлович Черномордик.

И без того щадящий режим на поселении был сведен для Иосифа к более или менее сносному проживанию, единственным ограничением которого было обязательное нахождение в ночное время суток в Норинской.

Разумеется, это была полная абстракция внутри другой абстракции – монотонного северного пейзажа, изменения которого происходили нечасто и по большей степени были связаны лишь со сменой времен года.

А пока, в начале июня 1965 года, он ехал на велосипеде.

Заезжал на горовосходные холмы, с которых были хорошо видны леспромхозовские вырубки и стеклянные канифолевые потоки между стволов, пряно пахнущие хвоей боры, кручи, заросшие кустарником, топкие овраги, в которых оживали тучи

комаров и мошки, проложенные трелевочными машинами на танковом ходу однопутки, а еще зубчатая лесом линия горизонта.

Спустя годы, вспоминая о тех своих поездках, Иосиф напишет:

Лес – как ломаная расческа.

И внезапная мысль о себе подростка:

«выше кустарника, ниже ели»

оглушает его на всю жизнь. И еле

видный жаворонок сыплет трели

с высоты. Лето! пора зубрежки

к экзаменам, формул, орла и решки;

прыщи, бубоны одних, задержки

других – от страха, что не осилишь;

силуэты техникумов, училищ,

даже во сне. Лишь хлысты удилищ

с присвистом прочь отгоняют беды.

В образовавшиеся просветы

видны сандалии, велосипеды

в траве; никелированные педали

как петлицы кителей, как медали.

В их резине и в их металле

что-то от будущего, от века

Европы, железных дорог – чья ветка

и впрямь, как от порыва ветра,

дает зеленые полустанки —

лес, водокачка, лицо крестьянки,

изгородь – и из твоей жестянки

расползаются вправо-влево

вырытые рядом со стенкой хлева

червяки. А потом – телега

с наваленными на нее кулями

и бегущий убранными полями

проселок…

В условиях содержания расконвоированного высланного Иосифа Александровича Бродского допускалось посещение осужденного родителями и друзьями, а также переписка, передача ему посылок и краткосрочный отпуск в Ленинград.

Незадолго до своей смерти в 2010 году писатель-диссидент, политзаключенный Борис Борисович Вайль следующим образом прокомментировал проживание Иосифа в Норинской: «Я недавно впервые – и с удивлением! – узнал, что из ссылки Бродский за полтора года четыре раза выезжал в отпуск в Ленинград… Строго говоря, Бродский получил не “ссылку”, а “высылку”. Различие между этими понятиями довольно зыбкое. “Ссылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности”. “Высылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с запрещением проживания в определенных местностях”. Высылка стоит в градации наказаний ниже ссылки (после нее идут уже “исправительные работы без лишения свободы”). Высылка, как и ссылка, “может быть назначена преступникам, общественно опасная деятельность которых облегчается нахождением их в определенной местности, где они имеют устойчивые преступные связи, либо могут способствовать совершению преступлений другими лицами. Цель высылки (ссылки) – прервать эти связи…»

Также к особым условиям содержания Бродского в Норинской следует отнести и то немаловажное обстоятельство, что ему (в

свободное от фотографирования время) было дозволено заниматься литературной работой – писанием стихов и переводами. Согласно поступавшей с «воли» информации, сочинения Иосифа Александровича активно печатались в эмигрантских периодических изданиях – «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Посев» и «Грани» (Франкфурт-на-Майне). Там же была опубликована стенограмма суда над Бродскими, которую вела Фрида Вигдорова. Каким образом этот предназначенный для внутреннего самиздатовского пользования документ попал за границу – неизвестно.

Меж тем в августе-сентябре 1965 года с разрешения райкома партии и, соответственно, благословения «комитета» в Коношской районной газете «Призыв» в рубрике «Слово местным поэтам» были напечатаны два стихотворения Иосифа Бродского «Трактористы на рассвете» и «Осеннее». Понятно, что окончательное решение о публикации принималось в райкоме при участии главного редактора «Призыва» Серафимы Ереминой и Владимира Черномордика. По сути это были первые «взрослые» публикации поэта в СССР (в 1962 году стихотворения Бродского для детей были напечатаны в Ленинградском журнале «Костер», органе ЦК ВЛКСМ и СП СССР).

Альберт Забалуев, выпускник ЛГУ, журналист, редактор газеты «Призыв»:

«Это было в 1965 году, в августе. Я тогда работал в отделе писем. Ну и поэзией занимался. И вот в один прекрасный день или не прекрасный – не знаю даже – появился паренек. Такой: в джинсах, обычная рубашка, без галстука, современный. Спросил: “Можно ли у вас опубликоваться?” Ну, я говорю: “В принципе, почему нельзя?” А он: “Но есть один нюанс, который может вас смутить”. – Какой?” – “А я из высланных, так называемых тунеядцев”. – “Ну и что же? Если текст не антипартийный…” В то время это имело значение. Он говорит: “Нет, текст должен быть нормальным”. Ну, я посмотрел… “Трактористы” назывался. Текст мне, конечно, понравился. Образность присутствовала в нем. Допустим, вот: “Тишина разваливается, как полено, по обе стороны горизонта”, ну и другие строчки. Мы его взяли, подготовили к печати. Собственно, готовить тут особо не надо было, вмешиваться в текст, он был довольно приличный, особенно на нашем районном уровне. Опубликовали, а где-то через неделю он появляется снова, приносит еще один текст. “Осеннее” называется. Ну, я посмотрел, говорю: “Первый-то лучше был текст, чем то, что сегодня

принесли”. Он отвечает: “Ничего подобного. Именно этот-то текст как раз гораздо лучше предыдущего”. А я ему: “Ну, дело, конечно, вкуса. Сейчас иду на обед, если хотите, пойдемте со мной”. Вот пока мы шли, это где-то около километра, он мне “вправлял мозги”, как он выразился… Очень хорошо, что не узнал секретарь по идеологии, потому что иначе Бродский у нас бы не был опубликован, это уж точно».

Тракторы просыпаются с петухами,

Петухи просыпаются с тракторами,

Вместе с двигателями и лемехами,

Тишину раскалывая топорами,

И в тумане утреннем по колено

Рокоча, выстраиваются вдоль фронта.

Тишина разваливается, как полено,

По обе стороны горизонта.

Затопляются печи. Дым вьется прямо.

Птицы склоняются над птенцами.

Лес, как гигантская пилорама,

Облака раскраивает зубцами…

Конечно, бывали случаи, когда добраться до Норинской не получалось, и тогда Иосиф оставался ночевать в Коноше у Лидии Шумихиной, племянницы Константина Пестерева (в его доме Бродский жил в Норинской), или у Владимира Черномордика. В милиции, конечно же, знали об этом, но смотрели на это сквозь пальцы.

Все это было, пожалуй, частью какой-то наивной и в то же

время циничной игры, которая велась вокруг Бродского еще с 1960 года. В нее вовлекалось все большее количество участников, каждый из которых, разумеется, преследовал собственные интересы, а разная степень их осведомленности в происходящем позволяла выстраивать самые немыслимые сюжетные схемы, наполнявшие события живыми эмоциями и непредсказуемыми коллизиями.

Все это напоминало своего рода хождения, блуждания, как тогда с Мариной Басмановой по ночному Ленинграду, когда безотчетная тревога соперничала с неистовым любопытством, верность с предательством, а самоуверенность граничила с детским инфантилизмом.

Кажется, что очень точно это состояние передано в «Проходящих мимо» уже упомянутого в этом Эпизодии Франца Кафки: «Если гуляешь ночью по улице и навстречу бежит, видный уже издали – ведь улица идет в гору, и на небе полная луна, – ты не задержишь его, даже если он тщедушный оборванец, даже если кто-то гонится за ним и кричит; нет, пусть бежит, куда бежал. Ведь сейчас ночь, и ты ни при чем, что светит луна, а улица идет в гору, а потом, может быть, они для собственного удовольствия гоняются друг за другом, может быть, они оба преследуют третьего, может быть, первый ни в чем не виноват и его преследуют понапрасну, может быть, второй хочет убить его и ты будешь соучастником убийства, может быть, они ничего не знают друг о друге и каждый сам по себе спешит домой, может быть, это лунатики, может быть, первый вооружен. Да, наконец, разве не может быть, что ты устал, что ты выпил излишне вина? И ты рад, что уже второй скрылся из виду».

Все может быть… и тут просто надо довериться своим чувствам, собеседовать с собой, ровно как и с теми, кто, начиная с осени 1964 года проложил путь в Норинскую из Ленинграда – Александр Иванович Бродский и Мария Моисеевна Вольперт, Яков Гордин и Евгений Рейн, Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев, Михаил Мейлах и конечно же Марина Басманова.

Эписодий Одиннадцатый

1962 год. Расстались в огромном, как вестибюль станции метро «Автово», парадном дома на Глинки. Марина сказала, что не может позвать Иосифа в гости, потому что из Китая на несколько дней приехал ее дядя – дипломат Михаил Иванович Басманов, и вся семья в сборе.

Да и поздно уже…

Он медленно спустился по парадной лестнице.

Конечно, знал, что в городе этот дом называют «особняком Бенуа», даже читал о нем в воспоминаниях Александра

Николаевича Бенуа – главного русского мирискусника: «Эта парадная лестница начиналась внизу с прямого, ведшего вглубь, коридора, под, убранным сочными розетками, сводом, а затем сворачивала влево и опять подымалась широкими всходами между массивными столбами; на каждом повороте открывалась своеобразная перспектива. Всё это носило тяжелый и несколько мрачный характер, но и усиливало одновременное впечатление чего-то крепкого и надежного, почти крепостного. Я был убежден, что фамильные тени продолжают бродить именно по этой оставшейся нетронутой лестнице и должны были встречаться с нами, с их живыми потомками. При луне или тусклом сумраке белых ночей, да и освещаемая отблеском единственного фонаря, продолжавшего гореть на дворе всю ночь, – наша парадная превращалась в настоящую “декорацию для драмы”, хоть никаких драм и трагедий в нашем доме за все мне известные периоды, слава Богу, не произошло… До полуночи лестница освещалась газом, рожки которого были заключены в большие стенные фонари, сохранившиеся от времен, когда она освещалась масляными лампами. На ночь эти фонари тушились».

Иосиф усмехнулся (про «фамильные тени» особенно понравилось) и вышел на улицу. Закурил.

Посмотрел на окна квартиры Басмановых, где горел свет, а оттуда, сверху, на него в ответ, как всегда, взирали маски Горгоны с разинутой пастью и улыбающейся Артемиды.

Особенно забавно эта лепнина выглядела зимой, когда комья мокрого снега налипали на бровях и носу этих нездешних существ, свисали клоками, шевелись под действием ветра, и могло показаться, что они вот-вот заголосят что-нибудь из Кавафиса.

Например вот это:

Прискорбно, что судьба несправедлива

к тебе, природой созданному для

деяний доблестных, успеха, славы.

Тебе здесь негде проявить свой дар,

и ты коснеешь в низменных привычках,

ты делаешься безразличным, пошлым.

Но страшен день, когда, махнув рукой

на эту жизнь, поддашься искушенью

и тоже ступишь на дорогу к Сузам,

где правит Артаксеркс…

Из эссе Иосифа Бродского «На стороне Кавафиса»: «Константинос Кавафис родился в Александрии (Египет) в 1863 году и умер там же семьдесят лет спустя… Кавафис знал древнегреческий и новогреческий, латынь, арабский и французский языки; он читал Данте по-итальянски, а свои первые стихи написал по-английски. Бессобытийность жизни Кавафиса была такова, что он ни разу не издал книжки своих стихов. Он жил в Александрии, писал стихи… толковал в кафе с местными или заезжими литераторами, играл в карты, играл на скачках, посещал гомосексуальные бордели и иногда наведывался в церковь… Гомосексуальная идея жизни в конечном счете, вероятно, более многогранна, чем гетеросексуальная. Идея эта, рассуждая теоретически, дает идеальный повод для писания стихов, хотя в случае Кавафиса этот повод есть не более чем предлог… Единственное имеющееся в распоряжении человека средство, чтобы справляться с временем, есть память; именно его исключительная, чувственно-историческая память создает своеобразие Кавафиса. Механика любви как таковая предполагает существование своего рода моста между чувственным и духовным – предположение, доводящее порою до обожествления любви, ибо идея запредельной жизни присутствует не только в наших совокуплениях, но и в наших разлуках. Как ни парадоксально, в том, что касается этой эллинской “особой любви”, стихи Кавафиса… являются попытками (или, вернее, сознательными неудачами) воскресить тени некогда любимых. Или – их фотографиями».

Следует от пяти до шести минут крутить бобину в проявочном бачке, потом сливать проявитель, фиксировать и сушить проявленную пленку в ванной.

Все уже давно доведено до автоматизма, и чудо появления изображения, когда черное становится белым, а белое черным, прозрачное непрозрачным и наоборот, чудом вовсе не является, но закономерностью, химией, где все, если строго соблюдать правила, работает безотказно. Это в чем-то подобно тому, когда написанные слова, если следовать выбранной ноте, вдруг начинают звучать, а попытка понять, почему это происходит

именно так, ни к чему не приводит. Потому что нет ответа на вопрос, как рождаются стихи и что для их рождения нужно сделать.

Хотя в конце пятидесятых Иосиф пытался ответить на этот вопрос:

Запоминать пейзажи

за окнами в комнатах женщин,

за окнами в квартирах

родственников,

за окнами в кабинетах

сотрудников.

Запоминать пейзажи

за могилами единоверцев.

Запоминать,

как медленно опускается снег,

когда нас призывают к любви.

Запоминать небо,

лежащее на мокром асфальте,

когда напоминают о любви к ближнему.

Запоминать,

как сползающие по стеклу мутные потоки дождя

искажают пропорции зданий,

когда нам объясняют, что мы должны

делать.

Запоминать,

как над бесприютной землею

простирает последние прямые руки

крест…

Время и память – и то и другое неподвластно рассудку.

Время невозможно исчислить, особенно когда оно перестает существовать или же, напротив, когда крадет мгновения, часы и годы.

Память в этом смысле тоже ненадежна, потому как в принципе избирательна и субъективна. Стало быть, тайна творчества кроется в чем-то другом, вполне вероятно, и неизреченном.

В своем «Послании к Римлянам» Апостол Павел, рассуждая о борьбе с грехом и особом вспоможении Духа Святого на этом многотрудном поприще, утверждает, что Он «подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями *неизреченными*».

То есть невозможно все знать доподлинно, а посему, по мысли святого Иоанна Златоуста, «нужно уступить Создателю нашей природы и принимать с радостью и большим удовольствием то, что Он одобрит, и смотреть не на видимость происходящего, но на то, что решает Владыка. Ибо Он, Кому скорее ведомо, что нам полезно, Сам знает, как нужно устроить наше спасение».

В этом смиренном дерзании «по мере сил» Кавафис и видит настоящий источник не только поэтического, но всякого жизненного вдохновения:

Когда не можешь сделать жизнь такой, как хочешь,

ты попытайся быть способным хоть на это

по мере сил: не унижай ее мельчаньем

в несметном скопище сует, общений, связей,

речей, свиданий, посещений, жестов.

Не унижай преувеличенным значеньем,

и выворачиваньем с ходу наизнанку,

и выставленьем напоказ для любований

в бессмыслице собраний и компаний,

пока она не надоест, как жизнь чужая.

Отстраненность.
Бесстрастность.
Нечувствие.
Хладность.
Отрешенность.

Где-то наверху грохнула входная дверь в квартиру, и по парадной лестнице, переворачиваясь, отражаясь от стен, выдыхая запахи кухни и стирки, скатилось эхо. Иосиф вздрогнул, резко повернулся и пошел домой.

Дмитрий Бобышев вспоминал: «Вход в квартиру Марины странным образом пролегал через кухню и ванную, там же находилась замаскированная под стенной шкаф уборная, а дальше двери открывались в довольно-таки немалый зал окнами на проспект… Слева была еще одна дверь, куда строго-настрого вход запрещался, как в комнату Синей Бороды, но изредка оттуда показывались то Павел Иванович, то Наталья Георгиевна, чтобы прошествовать через зал и – в прихожую, ну, хотя бы для посещения стенного шкафа. Легкий бумажный цилиндр посреди зала освещал овальный стол, коричнево-желтые тени лежали на старом дубовом паркете…»

Бродский хранил несколько фотографий Марины, сделанных им на отцовский фотоаппарат во время их прогулок по городу.

Вот она стоит на фоне Невских ворот Петропавловской крепости и похожа на Марию Казарес из «Пармской обители» Кристиана-Жака.

А здесь Иосиф запечатлел Марину на платформе Московского вокзала (уж и не вспомнить, куда они ехали) – длинные волосы, обрезанные ниже плеч, настороженный и в то же время сосредоточенный взгляд куда-то мимо объектива фотокамеры, как на фотокарточках легендарной Зары Леандер – звезды кинематографа Третьего рейха шведско-еврейского происхождения, актрисы, о которой Федерико Феллини говорил:

«Она была львицей, которой был бы с удовольствием растерзан любой мужчина».

Эти фотографии Басмановой никто никогда не видел, потому что они были предназначены только для нее и для него.

Впрочем, неизвестно доподлинно, были ли они вообще…

По логике вещей должны были быть, но логика в подобных случаях плохой советчик. Вернее, она, конечно, есть, но какая-то совсем иная…

Например, однажды, после многочасового и бесцельного блуждания по городу, Иосиф вместе с Мариной пришли на Таврическую, к его другу, поэту Дмитрию Бобышеву. Нет, в этом не было ничего удивительно, потому что прогулки, как правило, так и заканчивались – гостями: Люда и Витя Штерны, Толя Найман и Эра Коробова, Сережа Шульц и Лариса Козлова.

Итак, пришли к Бобышеву…

Это была поздняя осень 1963 года.

Или даже начало зимы.

Уже вышла статья в «Вечернем Ленинграде», уже стало ясно, что просто отмолчаться, отсидеться и не обратить внимания на то, что за Бродского взялись всерьез, не получится.

Друзья поэта рассматривали самые разные варианты, как спасти Иосифа от неизбежного судебного разбирательства, вернее сказать, расправы. Тогда, как мы помним, и возникла тема с московской психиатрической больницей, где у Ардовых были знакомые врачи, на которых и возлагалась задача – составить «правильный» выписной эпикриз.

Крайне нервное состояние Бродского (травля в ленинградских газетах, непростые взаимоотношения с Марианной Басмановой, а также изнуряющее творческое возбуждение-воздержание, ведь его по-прежнему нигде не печатали) во многом стало причиной такого неожиданного и, вне всякого сомнения, рискованного решения, ведь игры с советской психиатрией чреваты.

В это время Иосиф снимал комнату в коммуналке на Воинова, которую Людмила Яковлевна Штерн описала следующим образом: «Это крошечная комнатушка (вероятно, в прошлом для прислуги) была отделена кухней от остальных пространств огромной коммуналки. Иосиф мог приглашать туда дам, избегнув осуждающего родительского взора. Но главное, ему хорошо там работалось. Именно в этой клетушке он написал “Большую элегию Джону Донну” и “Исаак и Авраам”.

Здесь часто бывала Марина, но ближе к Новому году отношения их разладились совершенно.

По одной версии, Иосиф сам обратился к Бобышеву с

просьбой опекать его, как он утверждал, невесту, пока он не решит свои дела (поездка в Москву на Канатчикову дачу неотвратимо приближалась).

По другой, первая встреча Марины и Дмитрия Бобышева у него на Таврической произошла еще до отъезда Бродского в Москву.

В это время Иосиф находился в крайне подавленном состоянии, которое систематически сменялось внезапными вспышками ярости, во время которых он себя практически не мог контролировать (чего, кстати, за ним раньше не наблюдалось). Известно, что во время очередных посиделок в одном из ленинградских кафе неожиданно вспыхнувшая размолвка между Бродским и Басмановой закончилась громким скандалом и дракой с одним из посетителей кафе, которому Иосиф воткнул вилку в ладонь, якобы за то, что он «не так» посмотрел на Марину. Дело удалось замять, но припадки повторялись.

Так, до своей поездки в Москву и вскоре по возвращении в Ленинград в начале января 1964 года Бродский предпринимал несколько попыток покончить с собой, вскрыв вены.

По понятным причинам информация о том, что происходило с пациентом Бродскими в психиатрической больнице имени Кащенко, почти отсутствует.

Разве что сохранились воспоминания Михаила Ардова о том, как они с писателем и переводчиком Юлией Марковной Живовой (1925–2010) посетили Иосифа на Канатчиковой даче: «Мы… стоим у высокого забора. Это даже не забор, а эдакая железобетонная решетка, за которой бродят по грязному снегу три десятка неопрятно одетых людей. Это – прогулочный дворик московской психиатрической больницы имени Кащенко. Мы кричим:

– Иосиф!.. Иосиф!.. Один из гуляющих подбегает к забору. Это – Бродский.

– Скажите Ардову (имеется в виду Виктор Ефимович Ардов. – *Прим. авт.),* – отчаянно выкрикивает он. – Скажите Ардову, пусть сделает так, чтобы меня немедленно выпустили отсюда!.. Я не могу! Я больше не могу!..».

А также написанное Иосифом в первые дни Нового 1964 года стихотворение «Новый год на Канатчиковой даче»:

Ни волхвов, ни осла,

ни звезды, ни пурги,

что младенца от смерти спасла,

расходясь, как круги

от удара весла…

Здесь, в палате шестой,

встав на страшный постой

в белом царстве спрятанных лиц,

ночь белеет ключом

пополам с главврачом…

А тем временем в Ленинграде события развились следующим образом.

Подробное описание квартиры Басмановых в «особняке Бенуа» – «в закутке на сцене танцевальной залы», где стоял рабочий стол Марины, её кровать, шкафы с книгами и папками, было сделано Дмитрием Бобышевым неслучайно.

Он бывал здесь.

Он читал здесь свои стихи и получил от Басмановой в подарок сборник французских поэтов, на титульном листе которого было написано от руки: «Моему любимому поэту. Марина!»

И в том, что 1964 год Марина захотела встретить вместе с Бобышевым (он тогда жил в Комарово), тоже не было ничего удивительного и неожиданного. О событиях, имевших место в ночь с 31 декабря 1963-го на 1 января 1964-го, было впоследствии сказано много.

Вернемся к ним и мы, хотя, думается, ничего нового тут сказать не удастся, потому что произошло то, что и должно было произойти, и никто здесь ни в чем не виноват, невзирая на эмоциональные обвинения, обиды и даже проклятия. Дмитрий Бобышев предупредил друзей, что приедет Марина Басманова. Все, конечно, знали предысторию, знали, что она «девушка Бродского», но отнеслись к этому с пониманием, мол, веселый Новый год в хорошей компании должен был скрасить ее одиночество.

Марина, как всегда, опоздала и появилась уже после боя курантов.

Все празднование Бобышев и Басманова были вместе:

бенгальские огни, гуляние по льду залива со свечами, шампанское. Никто на это не обратил внимание, но на следующее утро все почему-то вдруг «прозрели», обвинив Дмитрия Васильевича в вероломстве и предательстве.

Марина, как всегда, наблюдала за этим со стороны, не подтверждая, но и не опровергая обвинения, выдвинутые в адрес Бобышева.

Известия о том, что произошло в ту новогоднюю ночь в Комарово, настигли Иосифа в Москве именно тогда, когда его с диагнозом «шизоидная психопатия» выпустили из клиники Кащенко.

5 января 1964 года, невзирая на протесты друзей и запреты врачей, Бродский, заняв у Евгения Рейна двадцать рублей, срочно выехал в Ленинград, где его уже ждали.

Спустя годы, находясь в Америке, Иосиф скажет: «Мне было все равно – повяжут там меня или нет. И весь суд потом – это была ерунда по сравнению с тем, что случилось с Мариной».

Встреча с Бобышевым не закончилась ничем, вернее сказать, закончилась тем, что они навсегда стали врагами. Попытка объясниться с Басмановой тоже оказалась, увы, безрезультатной. Иосиф долго жал кнопку звонка квартиры Басмановых на улице Глинки.

Марина не открыла ему дверь.

И вот теперь она стоит на платформе Московского вокзала, как на той черно-белой фотографии, что когда-то сделал Бродский на фотоаппарат «Зенит С» – длинные волосы, обрезанные ниже плеч, бледный, словно заснеженный лоб, настороженный и в то же время сосредоточенный взгляд куда-то мимо объектива фотокамеры.

Она так напоминает на ней Зару Леандер, которая своим низким, почти мужским голосом исполняла любимую песню Иосифа «Die Rose Von Nowgorod» на музыку итальянского композитора Нино Рота.

«Воркутинский» подают на второй путь.

Пора идти.

Плацкарт заполнен наполовину.

В основном едут вахтовики, шахтеры, которые возвращаются из отпусков, и военные. Конец ноября.

В вагоне жарко натоплено, но из окон дует так, что занавески на окнах гуляют и повисают на стаканах в подстаканниках, на которых изображен первый искусственный спутник земли ПС-1 и написано «Миру – мир».

Проводница жалуется Марине, что эти вагоны уже давно пора списывать, а их по-прежнему ставят в рейс. Вот то ли было дело, когда она работала на «Красной стреле». Марина молча слушает рассказ о сыне проводницы, который с семьей живет в Воркуте и работает на шахте «Капитальная», о ее муже, которого она выгнала, потому что пил беспробудно и воровал деньги, о старшей сестре, что всю жизнь проработала проводницей на южных направлениях, а теперь болеет и не может ходить.

Рассказывать о себе не хочется, да, впрочем, проводница и не особо интересуется историей неотрывно смотрящей в окно и лишь изредка из вежливости кивающей в ответ девушки.

За окном несутся назад черные проволочные деревья, заборы, столбы, перелески, засыпанные снегом бараки, пристанционные постройки, а профиль Марины, отражаясь в давно не мытом стекле, летит куда-то над всей этой круговертью.

Этот свой портрет может видеть только она.

Хотя у Бобышева есть одно стихотворение, которое способен написать человек, кое-что знающий об этом летящем, выведенном тонким грифелем профиле в частности и о портретном сходстве в целом.

Оно так и называется «Портрет»:

По черному, вгоняя землю в дрожь,

зимы прошелся белый грифель,

зимы промчался черно-белый вихрь,

замахиваясь на меня, как нож

разбойничий. Бросая душу в дрожь.

По-черному пришла ко мне любовь.

Как птицы по ночам с насеста

срываются, им оборвавши сердце,

разбив крылом и оцарапав бровь,

ресницы обломив, пришла любовь.

Такое ж обмиранье и испуг,

во рту такой же стукот дробный

и – крупно – глаз дрожащий и огромный,

и шарф, и вырывание из рук,

как птицы крик ночной и вкривь и вдруг.

Да, образ твой меня, как мягкий нож,

грозя бедой, вгоняя душу в дрожь,

застал, застиг, как «Стой, подлец, молчи!» —

азартный крик грабителя в ночи

под окнами прохожих застает.

А выглянешь – одна зима идет.

По белому, роскошествуя черным,

но и не тратя все без толку,

то прутик выбелив, то затенивши елку,

то наспех кое-где черкнув вороной

над крышею, морозом убеленной,

она (не различу – зима? любовь?)

пришла, и белый шарф, и глаз, и бровь.

Ночью на Свирьстрое прицепили вагонзаки.

Поезд дернулся, заскрежетал и грохнул передавшейся по составу от маневрового мотовоза волной.

С платформы тут же раздался лай собак и обрывочные голоса.

Сквозь сон Марина подумала, что вот, наверное, так же везли и Бродского в эти края. На боковом месте, подложив ушанку под голову, спал сидя молодой лейтенант. Перед ним на откидном столике стоял стакан в подстаканнике с недопитым чаем, а также

лежала книга, вероятно, развернутая на той странице, где чтение было прервано.

Поезд дернулся и, скрипя на стыках, начал медленно набирать ход.

Какое-то время Марина лежала с закрытыми глазами, которые полосовал яркий свет пристанционных прожекторов.

Потом, когда состав набрал ход, и это невыносимое моргание закончилось, открыла глаза.

Приподнялась на локте и прочитала – М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки».

Лейтенант вдруг что-то забормотал во сне, задергался, завертел головой, и его ушанка тут же съехала ему куда-то за спину.

Марина Басманова: «И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк… в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, – а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест. И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко…»

За окном начинало светать.

Отложила книгу и, накрывшись с головой шерстяным одеялом цвета слабого раствора марганцовки, уснула.

Марине приснилась их квартира на улице Глинки: как она идет через кухню и ванную, минует длинный заставленный шкафами коридор и попадает в бывший танцевальный зал с огромными, почти от потолка до пола окнами, которые почему-то наглухо замазаны белой масляной краской, как это бывает в больницах или в общественных уборных. Марина поднимается на сцену, где стоит ее кровать, к которой придвинут стол.

За столом сидит Иосиф.

Он сидит спиной к Марине и что-то пишет.

Он сосредоточен, однако он чувствует ее приближение, и в тот момент, когда она оказывается на сцене, громко говорит:

– Я хочу прочитать тебе стихотворение!

– Прочитай, – Марина пожимает плечами и садится на кровать, что больше походит на топчан, накрытый полосатым сиротским матрасом, поверх которого накинут плед цвета слабого раствора марганцовки.

Иосиф начинает читать:

Мы возвращаемся с поля. Ветер

гремит перевёрнутыми колоколами вёдер,

коверкает голые прутья ветел,

бросает землю на валуны.

Лошади бьются среди оглобель

черными корзинами вздутых рёбер,

обращают оскаленный профиль

к ржавому зубью бороны.

Ветер сучит замерзший щавель,

пучит платки и косынки, шарит

в льняных подолах старух, превращает

их в тряпичные кочаны.

Харкая, кашляя, глядя долу,

словно ножницами по подолу,

бабы стригут сапогами к дому,

рвутся на свои топчаны…

Закончив чтение, не оборачиваясь, Иосиф спрашивает:

– Тебе понравилось?

– Нет.

– Почему?

– Потому что я не люблю твои стихи, я люблю стихи другого поэта.

– Интересно, и какого же? – голос Иосифа осекается, и кажется, что он сейчас задохнется и перейдет на крик.

– Ты знаешь, какого, – Марина хочет встать с топчана, но некая неведомая сила удерживает ее на месте, – хватит, я устала об этом говорить.

– Я не верю тебе, ты так говоришь специально, чтобы сделать мне больно, – Иосиф медленно разворачивается, и Марина наконец видит его лицо – оно абсолютно бледное, с плотно сжатыми посиневшими губами. Видно, что ему нехорошо.

– Я говорю тебе правду, Иосиф.

– Знаешь, – кажется, что Бродский пропустил эти слова мимо ушей, – я давно хочу тебе сказать и все время то забываю, то не успеваю…

– Что же?

Лицо Иосифа на кое-то мгновение каменеет от напряжения, после чего его заливает болезненный румянец, как это бывает, когда резко поднимается температура, лоб и щеки его буквально начинают пылать, и он что есть мочи кричит высоким женскими голосом:

– Коноша через полчаса, стоянка пять минут!

Марина в ужасе открывает глаза и, ничего не понимая, вскакивает на полке.

Перед ней стоит проводница, та самая, что вчера рассказывала о своем сыне из Воркуты, муже-пьянице и больной сестре:

– Коноша через полчаса, стоянка пять минут! – и доверительно прибавляет: – Туалет свободен.

Вот «добрая душа», мыслится.

Перед рукомойником кое-как привела себя в порядок, хотя старалась не смотреть на свое отражение, и уже когда пробиралась по вагону к тамбуру заметила, что молодой лейтенант с бокового места снова пил крепкий чай и читал книгу. Он улыбался при этом, а ушанка теперь лежала перед ним на столике и напоминала толстого спящего кота по прозвищу Василий.

Лейтенант: «“Что же сделалось, однако, с помещиком?” – спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету

“Весть” и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит».

В Норинскую Басманова приезжала несколько раз. Привозила книги, подарки от друзей, от Ахматовой в том числе.

В последний раз за ней неожиданно из Ленинграда приехал Бобышев.

Зачем он это сделал, так и осталось загадкой.

Может быть, приехал, чтобы увезти ее раз и навсегда?

Ходили слухи, что, увидев его в Норинской, Иосиф погнался за ним с топором.

А ведь мог убить (на Севере это было в порядке вещей), но не убил.

Убил его словом чуть позже, в 1965 году, когда язвительно вывел своего соперника этаким недалеким и сексуально озабоченным юнцом в поэме «Феликс»:

Он назван в честь Дзержинского, и в нем

воистину исследователь спрятан.

И, спрашивая, знает он ответ.

Обмолвки, препинания, смятенье

нужны ему, как цезий для ракет,

чтоб вырваться за скобки тяготенья.

Он не палач. Он врачеватель. Но

избавив нас от правды и боязни,

он там нас оставляет, где темно.

И это хуже высылки и казни.

Он просто покидает нас, в тупик

поставив, отправляя в дальний угол,

как внуков расшалившихся старик,

и яростно кидается на кукол…

Рассказывая о жизни Бродского в ссылке, Лев Лосев в своей книге «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии» пишет: «Хотя Бродский и вспоминал архангельскую ссылку как один из счастливейших периодов своей жизни, это не значит, что жизнь его в Норенской была спокойна и беззаботна. Он тяжело переживал ограничение свободы передвижения, в особенности из-за разлуки с Басмановой. Она ненадолго приезжала к нему в Норенскую, но закончилось ее пребывание там скандально… Почти половина всех написанных в 1964 году в ссылке стихов (24 оконченных и неоконченных стихотворения) либо посвящены отсутствующей М. Б., либо просто содержат мотив разлуки… Даже окончание ссылки, долгожданный триумфальный момент для всех, кто боролся за освобождение Бродского, для него самого было отодвинуто на второй план очередным эпизодом в истории трудных отношений с Басмановой. В сентябре 1965 года, приехав на третью побывку в Ленинград, Бродский узнал, что его возлюбленная находится в Москве, и 11 сентября сделал отчаянную попытку уехать к ней. Это было бы тяжелым нарушением условий отпуска и грозило ему арестом и увеличением срока ссылки. Опасность была особенно велика, поскольку в этот день Бродский обнаружил за собой слежку, и ему с сопровождавшим его другом, писателем И. М. Ефимовым (Игорь Маркович Ефимов, 1937 г.р. – *Прим. авт.*), пришлось прибегать к разным уловкам, чтобы избавиться от агентов ленинградского КГБ. В конце концов Ефимову, более трезво, чем одержимый стремлением в Москву Бродский, оценившему ситуацию, пришлось обманом удержать друга от безумного шага».

4 сентября 1965 года Иосиф Александрович Бродский покинул место высылки – село Норинское Коношского района Архангельской области и вернулся в Ленинград по месту прописки, проведя таким образом на поселении полтора года вместо установленных приговором пяти лет.

Иосиф Бродский: «Я был тогда городским парнем, и, если бы не эта деревенька, им бы и остался. Возможно, я был бы интеллектуалом, читающим книги – Кафку, Ницше и других, эта деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ, поскольку, когда в шесть часов утра идешь по полю на работу, начинаешь понимать, что в то же самое время идет половина жителей моей страны. И это дает прекрасное ощущение связи с народом. За это я был безумно благодарен – скорее судьбе, чем милиции и службе безопасности. Для меня это был огромный

опыт, который в какой-то мере спас меня от судьбы городского парня».

Чего в этих словах было больше – правды или лукавства, откровенности или наигрыша, сказать трудно.

Нет, скорее даже невозможно.

Интродукция к Эписодию Двенадцатому

От автора

Помню, как однажды, в начале 80-х годов, в книжном магазине на Калининском проспекте купил сборник «Поэты пушкинской поры». С розового отлива глянцевой обложки на любознательного читателя, к коим я тогда причислял и себя, смотрели Константин Батюшков, Кондратий Рылеев, Петр Вяземский, Антон Дельвиг, Денис Давыдов, Николай Языков и Евгений Абрамович Баратынский.

Приобретение это было поистине удивительным, потому как, уединившись в одном из арбатских дворов (тогда такое было возможно – дворы были открыты и при этом пустынны) и начав читать сборник, я довольно быстро выяснил, что на небосводе русской поэзии первой трети XIX столетия сияла не только одна звезда по имени «Пушкин». Уяснение этого обстоятельства стало истинным потрясением, ведь нас всегда учили, что лишь один Александр Сергеевич правил бал русской словесности означенного периода.

Спустя годы эта тема получила продолжение.

В 1987 году в «Новом мире» вышла подборка стихотворений Иосифа Бродского, а через пять лет было опубликовано четырёхтомное собрание сочинений поэта. О Бродском заговорили, и вдруг выяснилось, что из русских поэтов первой половины XIX века он превыше всех ценит Баратынского. Конечно, Пушкин и Лермонтов не были обойдены вниманием Иосифа Александровича, но Евгений Абрамович оказался более значим для лауреата Нобелевской премии по литературе 1987 года.

Помнится, что тогда Бродского обвинили в пижонстве, в желании обратить на себя внимание, хотя после вручения ему вознаграждения от Альфреда Нобеля последняя затея выглядела неубедительно, ведь всё внимание и без того было приковано к нему. Вполне возможно, что Иосиф отчасти и рисовался, что вообще было ему свойственно. Но и в искренности его литературных вкусов сомневаться не приходилось, потому как он мыслил себя не столько вершиной русского поэтического движения, но и его неотъемлемой частью, где не может быть кумиров, но могут быть плодотворные взаимодействия.

Таким образом, речь в данном случае идет, разумеется, не о

приоритетах и литературных вкусах, но о школе и традициях, о влияниях и парадигме творчества вообще.

Так, например, Александр Сергеевич совершенно не представим без Байрона и Жуковского, без Пьера де Ронсара и Кюхельбекера. Творческое переосмысление поэзии предшественников и современников ни в коей мере не умаляет гения художника, но лишь раскрывает его особый дар, делая литературный процесс именно безостановочным актом, а не собранием отдельных, пусть и одаренных персонажей, занятых «изобретением колеса».

В этом смысле весьма показательно, что именно Баратынский привлек внимание Иосифа Александровича. Он был ближе ему своей отстраненной маргинальностью, бесстрастностью, отрешенностью, нарочитой архаичностью, нахождением вне поэтического мейнстрима.

Мы пьем в любви отраву сладкую;

Но всё отраву пьем мы в ней,

И платим мы за радость краткую

Ей безвеселъем долгих дней.

Огонь любви, огонь живительный, —

Все говорят, – но что мы зрим?

Опустошает, разрушительный,

Он душу, объятую им!

Кто заглушит воспоминания

О днях блаженства и страдания,

О чудных днях твоих, любовь?

Тогда я ожил бы для радости,

Для снов златых цветущей младости

Тебе открыл бы душу вновь.

Странное, изломанное, загадочное мировосприятие, не претендующее на всеведение, не могло не импонировать Бродскому, который в интервью, данном Соломону Волкову в Нью-Йорке, скажет: «Принято думать, что в Пушкине есть все. И на протяжении семидесяти лет, последовавших за дуэлью, так оно почти и было. После чего наступил XX век… Но в Пушкине многого нет не только из-за смены эпох, истории. В Пушкине многого нет по причине темперамента и пола: женщины всегда значительно беспощадней в своих нравственных требованиях… Дело в том, что женщины более чутки к этическим нарушениям, к психической и интеллектуальной безнравственности… Цветаева действительно самый искренний русский поэт, но искренность эта, прежде всего, есть искренность звука – как когда кричат от боли. Боль – биографична, крик – внеличен… жизненный опыт ничего не подтверждает… Можно даже предположить, что были люди с опытом более тяжким, нежели цветаевский. Но не было людей с таким владением – с такой подчиненностью материалу. Опыт, жизнь, тело, биография – они в лучшем случае абсорбируют отдачу… параллелей своему житейскому опыту я в стихах Цветаевой не ищу. И не испытываю ничего сверх абсолютного остолбенения перед ее поэтической силой».

Подобный неожиданный поворот в рассуждениях был частью парадоксального мироощущения поэта, для которого, в частности, гомосексуальность и гетеросексульность являлись понятиями не столько медицинскими (биологическими), сколько духовно-мистическими. Что в свою очередь восходило к античной традиции, которая, как известно, вдохновляла Бродского, давала ему изрядную лингвистическую пищу для поиска новых поэтических форм.

По сути это была попытка двигаться от праязыка как носителя изначальных эпических смыслов, языка любви, смерти, предательства и благородства, языка «Одиссеи», «Илиады», «Энеиды».

Если легкое, воздушное слово Пушкина едва ли подходило для решения столь сложной и необычной задачи, то архаика Баратынского была шагом именно в этом направлении. Однако аскетическая тяжеловесность была совершенно немыслима без чувственности, по мысли Бродского, женской в своей основе. Именно это схождение создавало, пожалуй, самую важную и трудноразрешимую для поэта дилемму – быть носителем языковых первосмыслов и одновременно не впасть в банальную сентиментальность. Это была проблема «маятника» – качания от невыносимого к желанному, от буквального (дословного) к

галлюцинации.

Из эссе Иосифа Бродского «Памяти Константина Батюшкова»: «Опасность присущего поэтике сентиментализма, преобладания лирического начала над дидактическим (т. е. смысловым) была замечена еще Баратынским. Сильно упрощая историю русской поэзии на протяжении последовавших 150 лет, можно, тем не менее, заметить, что читатель ее постоянно имел дело со стилистическим маятником, раскачивающимся между пластичностью и содержательностью. Упрощая же, можно добавить, что две наиболее удачные попытки привести оба эти элемента в состояние равновесия, так сказать, сократить шаг маятника, были осуществлены «гармонической школой» и акмеистами. В обоих случаях равновесие это длилось недолго. От гармонической школы русский стих откачнулся к поэзии разночинцев и – оттуда – к Фету и дальше к символистам. Что касается акмеизма, от него маятник этот качнулся, не без помощи государства, в сторону поп-футуризма».

Выход (иначе говоря, равновесие) Иосиф нашел в «кальвинистской» поэзии Марины Цветаевой.

Что значит этот термин в данном случае?

Иосиф Бродский: «Прежде всего имею в виду ее синтаксическую беспрецедентность, позволяющую – скорей, заставляющую – ее в стихе договаривать все до самого конца. Кальвинизм в принципе чрезвычайно простая вещь: это весьма жесткие счеты человека с самим собой, со своей совестью, сознанием. В этом смысле, между прочим, и Достоевский кальвинист. Кальвинист – это, коротко говоря, человек, постоянно творящий над собой некий вариант Страшного суда – как бы в отсутствие (или же не дожидаясь) Всемогущего. В этом смысле второго такого поэта в России нет».

Вершить Страшный суд ежечасно над собой в своем творчестве – задача в принципе выполнимая, если подразумевать под ним (Страшным судом) неколебимое следование определенным поэтическим константам (которые не всегда совпадают с нравственными). «Жесткие счеты человека с самим собой, со своей совестью, сознанием» становятся во многом и жесткими счетами с окружающим его миром, людьми. Другое дело, что возникает опасность войти в конфликт с системой, с режимом, победа над которыми может быть одержана лишь подсознательно, на уровне психики и психологии. Невротические и суицидальные состояния, психопатия, предельная асоциальность, а также знакомство с советской психиатрией становятся своеобразным парафразом такого аскетического подвига, как юродство.

Вспомним «юродствовавших» в 1951 году в стенах ЛГУ имени Жданова студентов-филологов Михаила Красильникова, Юрия Михайлова, Эдуарда Кондратова. Косоворотки, перепоясанные бечевкой, посконные брюки, заправленные в сапоги, гусиные перья за ухом, деревянные плошки с квасом есть не что иное, как опыт деформации сознания в рамках советского имперского стиля начала 50-х, попытка слома стереотипов через доведение их до абсурда. Хоровое пение русских народных песен, чтение стихов на Невском, купание в Неве во время первого ледохода были не столько протестом (режим воспринимал это именно как протест), сколько поиском свободы собственного творческого волеизъявления вопреки обезличенной, однообразной, заидеологизированной официальной культуре, в которой не было места именно юродству – желанию казаться безумным в безумной же стране, что в результате («минус» на «минус» дает «плюс») приводило к нормальности и нравственной чистоте. Хранение себя, порой производящее на окружающих впечатление крайнего индивидуализма и эгоизма, позволяло сосредоточиться на том единственном знании об истине (поэтической в том числе), которое получено путем непрерывной внутренней работы, путем собеседования с текстом, постижения его законов и, как следствие, обнаружения в нем Пространства и Времени.

Иосиф Бродский: «Ничто так нас не сформировало – меня, по крайней мере, – как Фрост, Цветаева, Кавафис, Рильке, Ахматова, Пастернак… Вся история заключается в том, что взгляд на мир, который вы обнаруживаете в творчестве этих поэтов, стал частью нашего восприятия. Если угодно, наше восприятие – это логическое (или, может быть, алогическое) завершение того, что изложено в их стихах… Я думаю, что влияние поэта – эта эманация или радиация – растягивается на поколение или на два».

Роберт Ли Фрост (1874–1963) – американский поэт, знаток древнегреческого театра, в частности, Еврипида, в 1962 году посетил СССР, где встречался с Анной Ахматовой.

Константинос Кавафис (1863–1933) – греческий поэт, признанный величайшим из поэтов, писавших на новогреческом языке.

Райнер Мария Рильке (1875–1926) – австрийско-немецкий поэт-

модернист, был знаком со Львом Толстым и Максимом Горьким, вел переписку с Мариной Цветаевой.

Уистен Хью Оден (1907–1973) – англо-американский поэт, эссеист, лауреат Пулитцеровской премии 1948 г.

Время и Пространство, находящиеся в голове художника. Говорить о том, что они могут стать достоянием общества в целом, не приходится.

Другое дело читатель, который вступает в своеобразный сговор с поэтом и получает сокровенное знание, код постижения текста. Как утверждает Бродский, это интеллектуальное совокупление не зависит от жизненного опыта и образования, но зависит от дара увидеть за буквами язык.

Из эссе Иосифа Бродского «Неотправленное письмо»: «Письмо, буквы должны в максимальной степени отражать все богатство, все многообразие, всю полифонию речи. Письмо должно быть числителем, а не знаменателем языка. Ко всему, представляющемуся в языке нерациональным, следует подходить осторожно и едва ли не с благоговением, ибо это нерациональное уже само есть язык, и оно в каком-то смысле старше и органичней наших мнений. К языку нельзя принимать полицейские меры: отсечение и изоляцию. Мы должны думать о том, как освоить этот материал, а не о том, как его сократить. Мы должны искать методы, а не ножницы. Язык – это великая, большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни».

Таким образом, язык иррационален, потому как существует по собственным законам, неподвластным законам общества, экономическим законам. Интуитивное подчинение этим законам (происходящее от внутренней полноты, разумеется) парадоксальным образом дарует власть над языком. Но, как утверждает Оден, «в тот момент, когда твое эго исчезает, исчезает и власть над языком».

Утрачивается обретенные в тексте Пространство, интонация, останавливается Время. Происходит умирание.

Читаем в «Погребальном блюзе» Уистена Хью Одена:

Часы останови, пусть телефон молчит,

Дворняга пусть над костью не урчит,

Дробь барабанов приглушили чтоб,

Дай плакальщицам знак, и пусть выносят гроб.

Пусть банты черные повяжут голубям.

Аэроплан кружа пусть накропает нам

Со стоном – Мертв, и, умножая грусть,

Регулировщики в перчатках черных пусть.

Он был мой Запад, Север, Юг, Восток,

Воскресный отдых, будних дней итог.

Мой полдень, полночь, песня, болтовня.

Я думал – навсегда. Ты опроверг меня.

Не нужно звезд, гаси их по одной,

С луной покончи, солнце – с глаз долой!

И, выплеснув моря, смети, как мусор, лес.

Добра теперь не жди, смотря на нас с небес.

Когда Иосиф оказался в Европе и встретился с автором этих строк, то в первую очередь был поражён изборожденным величественными морщинами-оврагами, морщинами-буераками лицо поэта. Сложилось впечатление, что так и должно выглядеть овеществленное Время, вошедшее вглубь человека, исчезнувшее в нем, но оставившее при этом после себя следы в Пространстве.

Печать времени на лице.

Из интервью Иосифа Бродского, данного Соломону Волкову: «Его (лицо Уистена Хью Одена. – *Прим. авт.*) часто сравнивали с географической картой. Действительно, было похоже на географическую карту с глазами посредине. Настолько оно было изрезано морщинами во все стороны. Мне лицо Одена немножко напоминало кожицу ящерицы или черепахи… Поразительное лицо. Если бы я мог выбрать для себя физиономию, то выбрал бы лицо либо Одена, либо Беккета. Но скорее Одена… Мимика его была чрезвычайно выразительна. Кроме того, по-английски с

неподвижным лицом говорить невозможно. Исключение – если вы ирландец, то есть если вы говорите, почти не раскрывая рта… Он был монологичен. Он говорил чрезвычайно быстро. Прервать его было совершенно невозможно, да у меня и не было к тому желания. Быть может, одна из самых горьких для меня вещей в этой жизни – то, что в годы общения с Оденом английский мой никуда не годился. То есть я все соображал, что он говорит, но как та самая собака, сказать ничего не мог. Чего-то я там говорил, какие-то мысли пытался изображать, но полагаю, что все это было настолько чудовищно… Оден, тем не менее, не морщился. Дело в том, что в настоящих людях… в людях реализовавшихся есть особая мудрость… Это чутье, этот последний, главный инстинкт связан с самореализацией и, как это ни странно, с возрастом. То есть до этого доживаешь – как до седых волос, до морщин».

Географическая карта с глазами посередине висит на стене.

Глаза, разумеется, подрисовал сам шариковой ручкой.

Фотография Сэмюеля Беккета, выполненная Брюсом Дэвидсоном в 1964 году в Нью-Йорке, тоже висит на стене в рамке.

А вот портрет Роберта Ли Фроста в шляпе с цветком, снятый Говардом Сохуреком в 1957 году, стоит на столе, прислоненный к печатной машинке. Другое дело, что, когда надо работать, фотографию приходится убирать, дабы она не мешала движению каретки. Вот так и кочует Фрост от печатной машинки к книжной полке, от книжной полки к настольной лампе, и так до бесконечности.

Известно, что черно-белая фотография при удачном освещении хорошо передает морщины на лице, как графику, как экслибрис, как печать времени.

Иосиф, разумеется, помнит не все морщинистые лица, которые ему пришлось наблюдать к 25-ти годам своей жизни: историчка Лисицына и военрук в школе (фамилию забыл), фрезеровщик дядя Миша Касатонов с «Арсенала» и главврач из Кащенко, Наталия Георгиевна Басманова (мать Марины) и Иван Егорович Богун из отдела кадров ВСЕГЕИ, которому он читал Катулла.

Причем делал это вовсе не с целью прослыть безумцем, что надменно глумится над человеком, более привычным к изучению личных дел и рапортов, и лишь изредка пролистывающим «Огонек» и «Вечерний Ленинград». А поступал так инстинктивно, совершенно повинуясь зову языка, который в недрах советской бюрократической системы рокотал, наполняясь при этом особым

эпическим звучанием. Погружался в эти недра со словами Вергилия на устах – «*время уносит все*».

Из эссе Иосифа Бродского «Скорбь и разум»: «Фрост очень вергилиевский поэт. Под этим я подразумеваю Вергилия “Буколик” и “Георгик”, а не Вергилия “Энеиды”… Он кое-что понимал в том, как кормиться от земли, – во всяком случае не меньше Вергилия, который, по-видимому, был кошмарным фермером, судя по агрономическим советам, рассыпанным в “Георгиках”… За несколькими исключениями, американская поэзия по сути своей вергилиевская, иначе говоря, созерцательная. То есть если вы возьмете четырех римских поэтов августовского периода: Проперция, Овидия, Вергилия и Горация как типичных представителей четырех известных темпераментов (холерическая напряженность Проперция, сангвинические совокупления Овидия, флегматические размышления Вергилия, меланхолическая уравновешенность Горация), то американская поэзия – и поэзия на английском языке вообще – представляется поэзией главным образом вергилиевского или горациевского типа… Сходство Фроста с Вергилием не столько в темпераменте, сколько в технике. Помимо частого обращения к личине (или маске) и возможности отстранения, которую вымышленный персонаж дает поэту, Фрост и Вергилий имеют общую тенденцию скрывать реальный предмет диалога под монотонным матовым блеском своих соответственно пентаметров и гекзаметров».

Монотонное звучание слова Фроста напоминает Иосифу монотонный питерский дождь, который стучит по карнизам и крышам, заливает дворы-колодцы (это разумно, ведь в колодце должна стоять вода), размывает правый берег Невы, так что совершенно невозможно увидеть Петроградку и с воем уходящий в сторону Володарского моста буксир «Флягин».

Роберт Ли Фрост смотрит на Бродского с фотографии, что теперь прислонена к электрофону «Юность», к печатной машинке, к полке с книгами, к пустой бутылке Jack Daniels, к фотоаппарату «Салют».

Какое-то время Иосиф смотрит на географическую карту с глазами посередине, что висит на стене. Затем подходит к карте и, в области Мадагаскара и мыса Горн, шариковой ручкой подрисовывает рот.

Весьма комично артикулируя, рот произносит:

Я ночью бродил под холодным дождем,

С досадою глядя на собственный дом,

Где свет, не погашенный в верхнем окне,

Никак не давал успокоиться мне.

Ведь свет этот значил, что там меня ждут

И он не потухнет, покуда я тут.

А я не вернусь, пока лампа горит.

Ну что ж, поглядим, кто кого победит,

Посмотрим, идти на попятный кому…

Весь мир погрузился в кромешную тьму,

И ветер был тяжек, как пласт земляной,

И дождь холоднее крупы ледяной…

Хождение на попятную в кромешной темноте – образ, безусловно, глубоко метафорический. Если это и произойдет (нарушение внутренних границ), то никто конформизма не заметит, и непроглядная тьма будет тому порукой.

На эту тему в своем эссе «Зачем российские поэты?..» Бродский рассуждает следующим образом: «Поэзия есть искусство границ, и никто не знает этого лучше, чем русский поэт. Метр, рифма, фольклорная традиция и классическое наследие, сама просодия – решительно злоумышляют против чьей-либо “потребности в песне”. Существуют лишь два выхода из этой ситуации: либо предпринять попытку прорваться сквозь барьеры, либо возлюбить их. Второе – выбор более смиренный и, вероятно, неизбежный…»

Любовь по принуждению возможна лишь в двух случаях, если художник готов на нее в принципе (по складу своего характера, темперамента), и если она при этом сулит выгоду, которая впоследствии покроет все страдания и унижения, ей причиненные. Просто надо уметь отступать, но не утрачивать знания тех границ, до которых это можно делать. Впрочем, у каждого, что и понятно, данное знание индивидуально, и границы могут съезжать вплоть до столичных предместий, но говорить о предательстве при этом никто не будет. Скорее, о мудрости и дальновидности, об умении в любом случае получать

удовольствие…

И наоборот, излишняя принципиальность принимается за ограниченность и тупость, следуя которым, рискуешь оказаться в тупике.

Таким образом, верность слову не всегда оказывается верностью себе, потому что в данном случае изначально превалирует несвобода – власть языка и власть над языком (о чем рассуждает Уистен Оден), а наличие власти уже предполагает несвободу одной из сторон.

Эго, как известно, требует жертв, и отнюдь не мистических, но вполне осязаемых, реальных. Трагедия принесения оных носит абсолютно античный размах – с плачем, посыпанием главы пеплом, с членовредительством, с уходом в пустыню или в безлюдную горную местность, наконец, с хором из «Антигоны» Софокла, что в Стасиме Первом, в Первой Строфе воспевает:

Много есть чудес на свете,

Человек – их всех чудесней.

Он зимою через море

Правит путь под бурным ветром

И плывет, переправляясь

По ревущим вкруг волнам.

Землю, древнюю богиню,

Что в веках неутомима,

Год за годом мучит он

И с конем своим на поле

Плугом борозды ведет.

Получилось так, что чтение сборника «Поэты пушкинской поры», которое происходило на скамейке во дворе между Калошиным и Староконюшенным переулком, завершилось стихотворением Баратынского «Разуверение».

И вновь от автора…

Конечно, сразу же вспомнил, как однажды романс на слова Баратынского и музыку Глинки в передаче «Музыкальный киоск» исполняли сестры Карина и Рузанна Лисициан. Передачу эту я почти никогда не смотрел, но тогда, не зная, что это Баратынский, почему-то дослушал романс до конца, и только после это выключил телевизор.

И вот теперь я шел по Арбату и напевал себе под нос:

Не искушай меня без нужды

Возвратом нежности твоей:

Разочарованному чужды

Все обольщенья прежних дней!

Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь

И не могу предаться вновь

Раз изменившим сновиденьям!

Слепой тоски моей не множь,

Не заводи о прежнем слова

И, друг заботливый, больного

В его дремоте не тревожь!

Я сплю, мне сладко усыпленье;

Забудь бывалые мечты:

В душе моей одно волненье,

А не любовь пробудишь ты…

Странные поэтические и музыкальные параллели, однако.

Эписодий Двенадцатый

Откровение первое

Адмиралтейская набережная напротив дома Юрия Цехновицера, известного в Ленинграде как Цех. Здесь в 1962 году 22-летний Иосиф Бродский, положив руки на парапет, наблюдал течение Невы. Мысленно вопрошал сам себя – «поэт я или не поэт?» Такой вопрос, разумеется, приходил в голову и раньше, но отвечать на него положительно он почему-то не решался. Да, пишет стихи, или, как любил говорить, «стишки», но кто их не пишет, ведь стихосложение в чем-то сродни словоблудию, изящной словесной эквилибристике, и овладеть ею не так уж и сложно. Значит, тут дело в чем-то другом. Но в чем?

Иосиф смотрел на движение воды в сторону залива, а из-под воды на него смотрели рыбы, которые, скорее всего, тоже совершали движение в сторону залива. И вдруг в голове начало происходить нечто специфическое, чего никогда не было раньше, это было подобно вспышке, озарению. Глаза увидели пространство между водой и руками, которое эти руки и держали, а, следовательно, могли и описать его. Однако пространство это постоянно видоизменялось, и дело оставалось за временем, а точнее, за навыком успеть отобразить изменчивое состояние.

В былые дни и я пережидал

холодный дождь под колоннадной Биржи,

И полагал, что это – Божий дар.

И, может быть, не ошибался. Был же

и я когда-то счастлив. Жил в плену

у ангелов. Ходил на вурдалаков.

Сбегавшую по лестнице одну

красавицу в парадном, как Иаков,

подстерегал.

Куда-то навсегда

ушло все это…

Итак, осознание себя именно поэтом пришло вместе с осознанием возможности осмыслить время внутри некоего рукотворного (в прямом смысле слова) пространства.

Откровение второе

1964 год.

Клуб 15-го ремонтно-строительного управления на Фонтанке, 22.

Иосиф смотрит на собравшихся людей, пришедших судить и защищать его. Он словно перебирает фотографические карточки, сделанные отцом в бытность его работы в Балтийском морском пароходстве. Те же лица с глубоко спрятанными глазами, те же тревога и возбуждение. Иосиф прислушивается к себе и с удивлением обнаруживает, что ни к тем, ни к другим он не испытывает ни раздражения, ни симпатии, никаких чувств вообще, а воспринимает происходящее как часть какого-то театрального действа (притом, что театр никогда не любил и редко в него ходил). До его слуха доносятся вопросы, отвечать на которые не столь уж обязательно, потому что бывают такие вопросы, которые одновременно являются и ответами тех, кто их задает.

Конечно, Иосиф понимает, что все эти люди к нему относятся по-разному, спектр чувств и эмоций тут необычайно велик – от ненависти до обожания, от жалости до полного безразличия. И почему-то именно последние ему представляются наиболее симпатичными, ведь никто не может проникнуть в голову другого и узнать, что там? Что стоит за этим безразличием? Как сказано в «Проходящих мимо» Франца Кафки: «…может быть, они ничего не знают друг о друге и каждый сам по себе спешит домой… да, наконец, разве не может быть, что ты устал, что ты выпил излишне много вина».

Конечно, все может быть, все вполне допустимо.

Бродский предполагает и тут же внутренне соглашается с этим предположением, что безразличие есть оптимальная возможность защитить себя от посторонних посягательств, от бесполезной муки кому-либо что-либо объяснять и доказывать. Когда только и остается глупо улыбаться или читать наизусть Катулла или Одена, побуждая тем самым обескураженного собеседника обвинить тебя в идиотизме.

Откровение третье

1965 год.

Деревня Норинская, Коношский район, Архангельская область.

Иосиф сидит за столом, на котором печатная машинка, радиоприемник VEF Spidola и свечи из города Сиракузы, подаренные ему Анной Ахматовой и привезенные в Норинскую Мариной Басмановой. Здесь же лежит и антология английской поэзии. Почему-то, трудно сказать почему (под действием сквозняка, неосторожного движения руки ли), книга открылась именно на стихотворении Уистена Хью Одена «Памяти У.Б. Йетса».

Он растворился в смерти, как в зиме,

Замерз ручей, пусты аэропорты,

Неразличимы были статуи под снегом,

У гибнущего дня во рту тонула ртуть,

О, всем согласно измерительным приборам,

День его смерти был и холоден, и мрачен.

Вдали от мучавшей его болезни

Бежали волки через лес вечнозеленый,

Крестьянская речушка превзмогла соблазн нарядной

набережной;

И языки скорбящих о поэте

Смерть отделили от его стихов…

Время, что так нетерпимо

К душам смелым и невинным,

Чье недолго уваженье

К красоте телосложенья,

Чтит язык лишь, всем прощая,

кем он жив и насыщаем;

Даже трусам и убогим

Честь свою кладет под ноги…

Иосиф Бродский: «Я помню, как сидел в избушке, глядя в квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочел, наполовину сомневаясь, не сыграло ли со мной шутку мое знание языка».

Произошло то, что и должно было произойти. То, о чем мыслилось все эти годы, вдруг оказалось сформулированным в стихотворной строке.

Предельно точно выверенные фотографические кадры: зима, пустые аэродромы, статуи под снегом, измерительные приборы и бегущие волки как бы очертили пространство, насытили его деталями, а время, чтущее язык и прощающее трусов и убогих, уравновесило картину.

Бесстрастность.

Теплохладность.

Весы замерли.

В момент осознания этого Иосиф ощутил себя почти шестидесятилетним многоопытным стихотворцем (Одену в 1965-м было 58 лет), отныне знающим, что только неподвижность весов, о которой не знают твои глаза (они завязаны, как у Фемиды), но осведомлено сердце, и есть то, что называется настоящей поэзией.

Иосиф Бродский: «Если бы я вообще его (Одена) не встретил, все равно существовала бы реальность его стихов. Следует быть благодарным судьбе за то, что она свела тебя с этой реальностью, за обилие даров, тем более бесценных, что они не были предназначены ни для кого конкретно. Можно назвать это щедростью духа, если бы дух не нуждался в человеке, в котором он мог бы преломиться. Не человек становится священным в результате этого преломления, а дух становится человечным и внятным. Однако этого – *вдобавок к тому, что люди конечны* — достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом».

Интересно, что это озарение посетило Бродского именно в

архангельской ссылке, по сути, в изоляции и уединении.

Размеренная жизнь диктует свои законы восприятия времени и пространства.

Смена времен года.

Монотонное звучание леса, уходящего за горизонт.

Непостоянная высота неба.

Непостоянная освещенность.

Ускользающее тепло.

Ежедневное наблюдение одного и того же пейзажа с одной и той же точки.

В этом есть что-то буддистское, медитативное, позволяющее сосредоточить ум и очистить сердце от ненужных метаний, отвлекающих от постижения истины (поэтической в данном случае).

А устремление взгляда в «квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами» становится в конечном итоге устремлением взгляда внутрь самого себя.

В своей монографии о Бродском Лев Лосев пишет: «Сама этимология слова “поэзия” – от греческого poiesis, “делание”, то есть делание, создание языковыми средствами того, чего прежде не было». Эта мысль становится особенно близка Иосифу, когда из ничего, из пустоты северного пространства, из чередования дня и ночи, зимы и лета вдруг начинает складываться совершенно новый и непостижимый мир. Сам же процесс подобного формирования является цикличным, когда, по мысли Л.В. Лосева, «повторяются дневной, недельный, годовой циклы, и поэзия основана на регулярной повторяемости – звуков (в частности, в окончаниях строк – рифме), ритмических фигур, образов, мотивов».

И вот уже над Коношским трактом, по которому в сторону Вельска, пыля, едут лесовозы, высится Вавилонская башня из слов, обрывков слов, музыкальных фраз, воспоминаний, сюжетных и бессюжетных эпизодов, поэтических аллюзий и отсылок к Одену или Фросту, Баратынскому или Рильке, Паунду или Катуллу.

Это сооружение завораживает своим величием, не давая никаких поводов к сомнению в своей долговечности.

Таким образом, окончательно обретя свой голос именно в англо-американской поэтической традиции рубежа XIX–XX веков, опираясь при этом, разумеется, на древнегреческих и древнеримских титанов и переосмысливая этот опыт исходя из русской языковой и фонетической палитры, Бродский по сути первым из русских поэтов вышагнул из Пушкинской плеяды, чего

до него сделать не удавалось никому. Конечно, поступок этот был весьма и весьма дерзким, даже отчасти хулиганским (что, как мы уже поняли, было свойственно Иосифу Александровичу). Однако важно понимать, что это была не сиюминутная выходка пижона, уверенного в собственной гениальности и желающего обратить на себя внимание, но естественное и органичное высказывание художника, в жертву которому он принес слишком многое, чтобы выслушивать в свой адрес обвинения в тунеядстве и позерстве, формализме и невменяемости.

Осенью 1964 года незадолго до своей гибели в автокатастрофе генерал-майор КГБ СССР, заведующий Административным отделом ЦК КПСС Николай Романович Миронов обязал Генерального прокурора СССР Романа Андреевича Руденко, Председателя КГБ СССР Владимира Ефимовича Семичастного, а также Председателя Верховного суда СССР Александра Федоровича Горкина «проверить и доложить ЦК КПСС о существе и обоснованности судебного решения дела И. Бродского».

Таким образом, прослушивание затянувшейся ленинградской истерики касательно «окололитературного трутня» наконец утомило и Старую площадь.

После непродолжительного (всего-то два месяца) разбирательства было установлено, что «аполитичность Бродского и преувеличение им своих литературных способностей не могут служить основанием для применения указа от 4 мая 1961 года (указ о тунеядстве. – *Прим. авт.*)».

В переводе на русский это означало, что дело Бродского надо немедленно закрывать, а самого поэта немедленно выпускать.

Из письма французского писателя, драматурга, философа-экзистенциалиста, лауреата Нобелевской премии по литературе 1964 года (от которой он отказался) Жана-Поля Сартра на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Ивановича Микояна: «Я беру на себя смелость обратиться к Вам с письмом лишь потому, что являюсь другом Вашей великой страны. Я часто бываю в Вашей стране, встречаю многих писателей и прекрасно знаю, что то, что западные противники мирного сосуществования уже называют “делом Бродского”, представляет из себя всего лишь непонятное и достойное сожаления исключение. Но мне хотелось бы сообщить Вам, что антисоветская пресса воспользовалась этим, чтобы начать широкую кампанию, и представляет это исключение как типичный для советского правосудия пример, она дошла до того,

что упрекает власти в неприязни к интеллигенции и антисемитизме… Я позволил себе послать Вам это сугубо личное письмо, чтобы просить Вас во имя моего искренне дружеского отношения к социалистическим странам, на которые мы возлагаем все надежды, выступить в защиту очень молодого человека, который уже является или, может быть, станет хорошим поэтом».

Не обратить внимания на такое письмо от такого адресата ни в Кремле, ни на Старой площади уже не могли. Таким образом, совершенно неожиданно рядовой комсомольский погром в Ленинграде (коих в те годы были сотни, если не тысячи) получил мировую огласку, что в свете нового советского внешнеполитического курса на разрядку международной напряженности было крайне неуместно.

Опять же отмахнуться от мнения таких уважаемых в СССР людей как К.И. Чуковский, Д.Д. Шостакович, С.Я. Маршак, требовавших немедленного освобождения Бродского, тоже было нельзя.

Бюрократическая машина завертелась.

Впрочем, на окрик из Москвы в Ленинграде среагировали без особого энтузиазма. Тут по-прежнему продолжали настаивать на том, что осужденный – тунеядец и ярый антисоветчик, поэтому наказание несет заслуженно.

В результате разного рода препирательств, аппаратных игр и кабинетной волокиты удалось прийти к общему знаменателю: так как И.А. Бродский «положительно проявил себя в местах административного поселения», а также «по сообщению директора совхоза “Даниловский” Коношского района Архангельской области от 13 октября 1964 года… к работе относится хорошо, нарушений трудовой дисциплины не наблюдалось» судебной коллегии Ленинградского городского суда (в порядке прокурорского надзора) было предложено досрочно освободить Бродского Иосифа Александровича. Что и произошло 4 сентября 1965 года.

Примечательно, что в заключительном акте этого абсурдного трагифарса мы не обнаруживаем никаких следов участия «комитета», который, впрочем, уже с момента нахождения Иосифа в Архангельской области сквозь пальцы наблюдал за тем, что происходило в Норинской – нарушение трудовой дисциплины, систематические прогулы, помещение в КПЗ в Коноше, нарушение режима содержания, нарушение сроков отпускных поездок в Ленинград – все это было, но согласно протесту Прокуратуры СССР, ничего этого не было.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»: «Истории, без

сомнения, суждено повторять себя: в общем-то, выбор у нее небогатый, как и у человека. Так утешайся хотя бы тем, что знаешь, жертвой чего ты пал, прикоснувшись к специфической семантике, имеющей хождение в столь отдаленном мире, как Россия. Губят тебя твои же концептуальные и аналитические замашки, например, когда при помощи языка анатомируешь свой опыт и тем лишаешь сознание всех благ интуиции. Ибо при всей своей красоте четкая концепция всегда означает сужение смысла, отсечение всяческой бахромы. Между тем бахрома-то как раз и важнее всего в мире феноменов, ибо она способна переплетаться. Эти слова сами по себе свидетельство того, что я не обвиняю английский язык в бессилии; не сетую я и на дремотное состояние души населения, на нем говорящего. Я всего лишь сожалею о том, что столь развитым понятиям о зле, каковыми обладают русские, заказан вход в иноязычное сознание по причине извилистого синтаксиса. Интересно, многим ли из нас случалось встретиться с нелукавым Злом, которое, явившись к нам, с порога объявляло: “Привет, я – Зло. Как поживаешь?”

Если все это, тем не менее, звучит как элегия, то виной тому скорее жанр отрывка, нежели его содержание, каковому больше приличествовала бы ярость. Ни та, ни другая, конечно, не способны раскрыть смысл прошлого; но элегия хотя бы не создает новой реальности. Какой бы хитрый механизм ни строил ты для поимки собственного хвоста, ты останешься с сетью, полной рыбы, но без воды. Которая качает твою лодку. И вызывает головокружение – или заставляет прибегнуть к элегическому тону. Или отпустить рыбу обратно».

И тут же вспомнил, как вместе с отцом ходили в Зоологический музей на Университетской набережной. Здесь в полутемном зале, окна которого были задрапированы темно-синего цвета велюровым занавесом (видимо, это должно было создать ощущение глубины), в специальных деревянных ящиках содержались мумии рыб-уродцев, переданные сюда из Кунсткамеры.

Двухголовые рыбы.

Рыбы без плавников.

Рыбы с перепончатыми лапами.

Рыбы без глаз.

Рыбы похожие на собак.

Иосиф с интересом рассматривал эти диковинные экспонаты, которые в свою очередь пялились своими выпученными от напряжения глазами в притемненную велюровую глубину зала, и думал о том, что «мерзнут холодные глаза рыбы», что «рыбы всегда молчаливы».

Отец же, напротив, не любил этот зал и хотел пройти его как можно быстрее, потому что не понимал, какой интерес рассматривать этих уродцев, от которых нет никакой пользы – к промыслу негодны, в пищу употребить нельзя, а об эстетической стороне так и вообще говорить не приходилось.

Потом после посещения музея Иосиф и Александр Иванович медленно брели по набережной в сторону моста лейтенанта Шмидта. Отец вспоминал, как, работая в многотиражке Балтийского морского пароходства, снимал ловлю салаки и балтийского осетра, и чуть не утопил тогда только что купленный за большие деньги фотоаппарат. – То-то бы мама рассердилась, – смеялся.

Сын слушал отца и тоже улыбался.

Потом, конечно, обсуждали прочитанное за последнее время.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»: «Если мы делали этический выбор, то исходя не столько из окружающей действительности, сколько из моральных критериев, почерпнутых в художественной литературе. Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанного. Книги, возможно благодаря их свойству формальной завершенности, приобретали над нами абсолютную власть. Диккенс был реальней Сталина и Берии. Романы больше всего остального влияли на наше поведение и разговоры, а разговоры наши на девять десятых были разговорами о романах. Это превращалось в порочный круг, но мы не стремились из него вырваться.

По своей этике это поколение оказалось одним из самых книжных в истории России – и слава богу. Приятельство могло кончиться из-за того, что кто-то предпочел Хемингуэя Фолкнеру… Начиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем. Книги стали первой и единственной реальностью, сама же реальность представлялась бардаком или абракадаброй. При сравнении с другими, мы явно вели вымышленную или выморочную жизнь. Но если подумать, существование, игнорирующее нормы, провозглашенные в литературе, второсортно и не стоит трудов. Так мы думали, и я думаю, мы были правы».

Абракадабра реальности или выморочная жизнь болезненных фантазий.

Что выбрать?

Как всегда, ответ подсказала русская литература.

Из романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», глава «Выморочный»: «В короткое время Порфирий Владимирыч совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание.

Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтоб его не тревожили в его последнем убежище – в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо-покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть… он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в составлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он, наверное, истиранил бы его поучениями; теперь – ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить, сколько душе угодно. Подобно тому как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал тою же болезнью. Только это был запой иного рода – запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом».

Разговор со случайным собеседником, когда этим «случайным собеседником» оказывался ты сам, вовсе не был признаком душевного расстройства или психического заболевания, малопрогредиентной шизофрении, например, но результатом предельного сосредоточения на самом себе – на своих ощущениях, своем опыте и настроении, своих переживаниях и состояниях.

При этом состояния менялись неустанно, создавая волну чувств, которая накатывала как прибой на Коктебельской набережной…

1965 год.

Сентябрь.

Москва.

Читаем у Льва Лосева: «На пути из Норинской Бродский заехал сначала в Москву. Московские литературные знакомые старались устроить публикацию его стихов в журналах с либеральной репутацией – “Новом мире” и “Юности”. Однако

даже для сотрудничества с этими изданиями требовалось проявить некоторую дипломатичность, на что Бродский оказался неспособен. Когда его привели к писателю Рыбакову, который, благодаря связям, мог помочь с публикациями, он настолько рассердил Рыбакова своим высокомерием, что тот и тридцать лет спустя с негодованием вспоминал в мемуарах о встрече с “плохим человеком”, желавшим без конца читать свои малопонятные стихи. Бродский вспоминал эту встречу по-другому: поучения опытного литератора – с кем надо поговорить, чтобы еще на кого-то нажать и т. д., – показались ему настолько византийскими, что он быстро утратил способность следить за ними и, чтобы уйти от утомительного разговора, предложил почитать стихи. Ему все-таки устроили аудиенцию у Твардовского в “Новом мире”. Твардовский в свое время был возмущен арестом Бродского, и о его скандальной ссоре по этому поводу с Прокофьевым вспоминают многие мемуаристы. Но стихи Бродского вряд ли могли прийтись по вкусу народному поэту. Он сказал молодому человеку деликатно: “В ваших стихах не отразилось то, что вы пережили”. И пригласил к себе домой – поговорить о поэзии. Иосиф ответил: “Не стоит”. Когда В. П. Аксенов, чтобы познакомить Бродского с редакцией “Юности”, привел его с собой на заседание редколлегии, Иосиф на этой редколлегии, наслушавшись того советского кошмара, в котором жили писатели “Юности”, просто лишился сознания… Говорил, что присутствовал на шабаше ведьм. А на самом деле это был максимально возможный тогда либерализм. Слова “советский кошмар” не означают, что Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и другие писатели, определявшие лицо действительно либерального по тогдашним понятиям журнала, на заседании редколлегии распинались в верности партии и правительству. Принятую в их среде линию поведения вряд ли можно даже назвать конформистской, речь скорее идет о тактике общественного поведения, направленной на то, чтобы печататься, чтобы их читали на родине… Молодые писатели-шестидесятники достигли в эзоповском стиле большого мастерства. Хотя иные из них верили в “социализм с человеческим лицом” и даже до поры в миф об изначально благородной ленинской революции, преданной и утопленной в крови злодеем Сталиным, по отношению к современному советскому строю молодые писатели составляли скрытую оппозицию. Бродский в то время приятельствовал с Евтушенко, Аксеновым, Ахмадулиной, но эзопов язык и как литературный стиль, и как форма общественного поведения был для него неприемлем».

Вполне возможно, что демонстративное фрондерство Бродского, только что вернувшегося из ссылки, прошедшего «школу жизни» и почти «сталинские лагеря», воспринималось благополучными и статусными москвичами с определенной долей раздражения и недоумения. Может быть, именно поэтому ни с кем из указанных выше литераторов дружба у Иосифа так и не сложилась, хотя тот же Евгений Александрович Евтушенко приложил немало усилий, чтобы ввести Бродского в официальную, говоря современным языком, литературную тусовку того времени.

Безусловно, Москва была для него чужим городом. И дело здесь было вовсе не в извечном, абсолютно бессмысленном по своей сути споре между питерцами и москвичами, какой город лучше, но в том, что здесь Иосиф не имел своего пространства, да и время здесь текло мимо Арбата и Покровки, Красной площади и Ленинских гор, бульварного кольца и Марьиной Рощи без его ведома.

Теперь я уезжаю из Москвы.

Ну, Бог с тобой, нескромное мученье.

Так вот они как выглядят, увы,

любимые столетия мишени.

Ну что ж, стреляй по перемене мест,

и салютуй реальностям небурным,

хотя бы это просто переезд

от сумрака Москвы до Петербурга…

Эписодий Тринадцатый

От Феодосии до Коктебеля добрались на попутке.

В ту первую поездку в «край синих холмов» (так Коктебель переводится с крымско-татарского) в 1967 году Бродский отправился вместе с Анатолием Найманом.

Всю дорогу молодые люди разговаривали, разумеется, о поэзии, читали стихи, радовались новым необычным

впечатлениям. Однако после того как машина миновала гряду Узун-Сырт, хорошо известную планеристам и воздухоплавателям как гора Клементьева, Иосиф замолчал.

На горизонте в сумерках выступили очертания потухшего вулкана Карадаг, что тут же и напомнил огромного звероящера, чья морда была погружена в воды залива.

Он пил соленую воду и никак не мог утолить жажду.

Он тяжело и глубоко выдыхал между глотками, выпуская в небо струи горячего, пахнущего водорослями и коктебельским разнотравьем газа.

Подумалось, а ведь это и есть киммерийские сумерки, наполненные звуками и запахами, то время суток, о котором в 1907 году сказал Максимилиан Александрович Волошин:

Равнина вод колышется широко,

Обведена серебряной каймой.

Мутится мысль, зубчатою стеной

Ступив на зыбь расплавленного тока.

Туманный день раскрыл златое око,

И бледный луч, расплесканный волной,

Скользит, дробясь над мутной глубиной,

То колос дня от пажитей востока…

И вот прошло ровно 60 лет.

Иосиф пока не знает, что тут, в предгорьях Карадага, на плато Тепсень находилось древнее поселение Афинеон (Калиера, по версии Максимилиана Волошина, который принимал участие в раскопках древнего городища в 1927 году). Однако он интуитивно ощущает, что именно здесь и звучит хор из Пролога к трагедии Еврипида «Медея». Вот хористы расставлены по террасам холмов, которые ступенями поднимаются к Карадагу. Голоса их хорошо различимы вместе с воем ветра, шумом моря и криками птиц.

«Слышишь ли, о Зевс, вопли жены несчастной?»

Или боль для небес – облака облик частный,

и в облаке том исчез Гелиос безучастный?»

«Смерть, безумная, кличет, голосом горе множа.

Но костлявая в дом и без приглашения вхожа.

Холоднее то ложе просто пустого ложа».

«Не убивайся, жена, зря о неверном муже.

Тот, кому не нужна, долю разделит ту же.

«Громом поражена, молнии – помни – хуже».

Об истории Коктебеля Бродский узнает позже от искусствоведа и переводчика Александра Георгиевича Габричевского (1891–1968) и его супруги художницы Натальи Алексеевны Северцовой (1901–1970).

А пока машина въезжает в поселок и останавливается на автостанции.

Отсюда друзья идут пешком мимо рынка по улице Стамова к подножью Тепсеня.

Михаил Ардов вспоминал, что в первое посещение Коктебеля Бродский часто бывал в доме Габричевских: «мы ежедневно выпивали, шутили, слушали иностранное радио». В этом доме Иосиф был особенно любим и уважаем.

«Это самый гениальный человек, которого я видел в жизни», – часто повторял Александр Георгиевич, невзирая на возражения собеседников – «но вы же видели Стравинского, Кандинского и даже Льва Толстого». Однако всякий раз Габричевский невозмутимо разводил руками: «Это самый гениальный человек, которого я видел в жизни».

Слушая подобные речи в свой адрес, Иосиф не мог не задавать себе вопрос об их правомерности и правдивости. Конечно, он знал, что о гениальности говорила Марина Цветаева: «Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности. Дать себя уничтожить вплоть до какого-то

последнего атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир. Ибо в этом… атоме сопротивления (-вляемости) весь шанс человечества на гения. Без него гения нет – есть раздавленный человек, которым (он всё тот же!) распираются стены не только Бедламов и Шарантонов, но и самых благополучных жилищ. Гения без воли нет, но ещё больше нет, ещё меньше есть – без наития. Воля – та единица к бессчётным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды (осуществляют свою миллиардность) и без которой они нули – то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития – в творчестве – просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты».

Разъятость и собранность.

Самоуничтожение и сопротивление.

Наитие и воля.

Понятия, в которых в полной мере проявилась парадоксальность и непредсказуемость поэтического пути.

Но применимы ли они к нему, чей путь был так извилист, да и сам он едва ли походил на античного героя, способного восклицать «увы мне!» и вслед за героями Эсхила и Софокла посыпать голову пеплом.

И тогда Иосифу в поисках ответа на этот вопрос приходилось мерить расстояние от Тепсеня до Узун-Сырта, от Сюрю-Кая до Хоба-Тепе, от Киргизского Седла до Кучук-Янышара, где был похоронен Волошин.

Он сидел тут на остывающем камне.

Смотрел с вышины на мысы Хамелеон и Киит-Атлама, а в голове крутилось:

Когда так много позади

всего, в особенности – горя,

поддержки чьей-нибудь не жди,

сядь в поезд, высадись у моря.

Оно обширнее. Оно

и глубже. Это превосходство —

не слишком радостное. Но

уж если чувствовать сиротство,

то лучше в тех местах, чей вид

волнует, нежели язвит.

А потом поднимал перед собой руки, как тогда в Ленинграде на Адмиралтейской набережной, и ощущал, что между ними и гудящим на ветру склоном Кучук-Янышара существует пространство – загадочное, неведомое, изображенное на акварелях Максимилиана Александровича и полотнах Константина Федоровича Богаевского.

Рядом никого не было, и поэтому никто не мог видеть, как одиноко стоящий на вершине хребта человек прикасался к темной глади воды Коктебельского залива, к изломанным, напоминающим кардиограмму линиям Карадага, для которого время остановилось 150 миллионов лет назад.

Вторая поездка Бродского в Коктебель состоялась в октябре 1969 года, когда ему удалось раздобыть путевку в Дом творчества, однако на следующий год, одержимый страстью к перемене мест, он уже поехал в Ялту, оставив о местном Литфонде следующие воспоминания в виде «Первого письма Иосифа Бродского Виктору Голышеву»:

Старик, как жаль, что ты не смог

сюда сорваться: тут шикарно.

Старик, ты поступил бездарно;

ты, грубо говоря, сапог.

Я, старый графоман, и то

сумел. А ты ведь член Союза;

Представь себе январь без груза

треуха, пиджака, пальто…

Описывать же море мне

не стоит…

То штиль,

то шторм. И поутру, бывает,

причал весь обледеневает,

и солнце… всю эту гниль

лучами алыми насквозь

просвечивает…

А сам Дом Творчества – говно.

Похож на полусинагогу —

полуобщагу. Харч изжогу

обычно вызывает; но

харч в регулярные часы, —

и можно вкалывать не хуже,

чем дома. Вечером снаружи

транзисторы вопят и псы…

Но вообще-то дом пустует.

Одни вахтеры, и бюстует

средь холла с фикусом Антон

П. Чехов. Я перевожу

и сочиняю. Впрочем, редко.

Приняв снотворную таблетку,

я сплю…

Иосиф спит, и ему снится, как они ночью вместе с Мариной

идут по улице Глинки в сторону Николы Морского. Навстречу им бежит человек, лицо которого выражает полную растерянность, видно, что он крайне напуган, потому что за ним кто-то гонится. Марина замирает на месте, но Иосиф крепко сжимает ее руку в своей, и они продолжают идти. Нет, конечно, не стоит останавливаться и выяснять, кто этот человек, нужна ли ему помощь, от кого он бежит, или, может быть, это он за кем-то бежит?

Не исключено, что сия полночная пробежка совершается ради удовольствия, ради того, чтобы просто убить время, или, напротив, с пользой провести его. Но, с другой стороны, догоняющий вполне может быть вооружен, и тогда опасность угрожает всем, Иосифу и Марине в том числе. Именно по этой причине приходится ускорить шаг, чтобы как можно быстрей добраться до ближайшей подворотни, укрыться в ней и переждать этот волнительный момент. Наконец Марина и Иосиф оказываются в безопасности и сразу же начинают смеяться над этой своей излишней тревожностью, над своими придуманными страхами, потому что, скорее всего, тот, кто убегал, и тот, кто догонял, просто выпили излишне много вина и теперь ищут возможность немедленно прилечь, чтобы отдохнуть. Хотя бы и на деревянную скамейку, коих довольно в Никольском саду и Театральном сквере.

Первая встреча с Мариной Басмановой после очередного разрыва в Норинской произошла в сентябре 1965 года в Москве, куда, минуя Ленинград, Иосиф приехал из ссылки.

Филолог, литературный редактор Людмила Георгиевна Сергеева, жена поэта и переводчика Андрея Сергеева (1933–1998) так описала ту встречу: «Иосиф должен был встретиться в Москве с Мариной Басмановой и привезти ее к нам. Им обоим, по-моему, хотелось и родной город, и все, что было в нем тяжелого и нерешенного, оставить позади и побыть вдвоем в новом дружественном месте. Но с этой встречей не все вышло гладко. Звонок в дверь. На пороге – красивая, высокая, темноволосая, бледнолицая молодая женщина с удивительного цвета глазами, англичане их определяют как violet. Позже я наблюдала, что в зависимости от настроения и освещения глаза эти меняли свой цвет от серо-голубого до зеленого. Так мы впервые увидели Марину Басманову, чье лицо казалось Иосифу похожим на лицо шведской кинозвезды Сары Леандер из послевоенного трофейного фильма “Дорога на эшафот”, в которую безнадежно влюбился совсем юный Иосиф. О любви к Марине, об их сложных

отношениях мы уже много знали по письмам и по стихам Иосифа Бродского… Пространство и время разделило их и в Москве: Марина удивилась, что Иосиф ее не встретил, и поехала по нашему адресу самостоятельно. Узнав, что Иосифа у нас нет, Марина порывалась уйти. Но мы ее не пустили, разговорили, поужинали вместе. Ближе к ночи примчался на такси Иосиф, весьма пьяненький. Оказывается, он встретил на улице Васю Аксенова, который потащил Иосифа к Евтушенко, где они и запировали. А поскольку Иосиф только что из ссылки прилетел усталый, голодный, он быстро захмелел и потерял счет времени. Мы очень волновались, не зная, где Иосиф и почему он с Мариной не встретился. Но на эту тему никто из нас не говорил. Говорили о занятиях Марины как художницы, о ее родителях-художниках, о книгах… Марина оказалась человеком начитанным, понимающим толк в литературе и искусстве, хорошо воспитанным: она ничем не показала своего раздражения от возникшей неожиданной ситуации, хотя в ее глазах искры то загорались, то потухали, а лицо еще больше бледнело. Было понятно, что независимости ей тоже не занимать, что есть в ней какая-то загадка, может быть, даже тайна, а характер ее прямо противоположен характеру Иосифа – она человек тишины и закрытости, говорила тихим, шелестящим голосом, явно оберегала свой внутренний мир от всех. По-моему, в этот же вечер у нас установились с Мариной весьма добрые отношения. Чему Иосиф впоследствии радовался и говорил, что Марина из всех его друзей предпочитает общение с нами». После уже известных нам неурядиц со столичными литературными начальниками, а также конфликтов в «Новом мире» и «Юности» Бродский и Басманова уехали в Ленинград.

Тут Иосифа ждал особый прием.

По рекомендации Корнея Чуковского и Бориса Вахтина (сын Веры Пановой, с которым Иосиф ходил на прием к секретарю Дзержинского райкома партии Косаревой) он был принят в группоком переводчиков при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, что присваивало Бродскому определенный социальный статус и ограждало его от обвинений в тунеядстве и асоциальности.

Интересно заметить, что руководители ЛО СП – Михаил Дудин и Даниил Гранин, на сей раз отнеслись к Иосифу по-отечески, а о событиях более чем годичной давности уже никто не вспоминал.

Ситуация, в которой оказался Бродский после возвращения в Ленинград, была двоякой. С одной стороны, известное давление со стороны «конторы» прекратилось (что, разумеется, не отменяло

пристального наблюдения за недавним «окололитературным трутнем»), но, с другой, Иосифа по-прежнему не печатали, позволяя зарабатывать на жизнь лишь урывками – внештатным рецензированием в журналах, переводами, редакторской работой на телевидении и в кино.

Тогда же, как известно, Бродского пригласили на роль секретаря Одесского горкома партии Наума Гуревича на картину Вадима Лысенко и Григория Поженяна «Поезд в далекий август».

В фильме рассказывалось о деятельности подпольного горкома партии в Одессе в 1941 году. Съемки, что и понятно, проходили на Одесской киностудии.

Вадим Григорьевич Лысенко, режиссер-постановщик (1933 г.р.): «С Бродским меня познакомил Мак (ассистент Леонид Мак. – *Прим. авт.)* – мы вместе ездили в Ленинград, искали актеров для фильма… Разглядывая фотографии Наума Гуревича, который в военные годы возглавлял Одесский горком партии, Леонид сказал: “Он фантастически похож на Иосифа Бродского. Я вас обязательно познакомлю”. Через несколько дней он привел поэта. Стояла очень холодная зима, а Бродский пришел в легком плаще. Я не мог не обратить на это внимания, как и на обувь, которая явно была не по сезону. Понял, что денег у него нет. Неудивительно, поскольку произведения опального поэта запрещали печатать. Характерен и другой момент. Роль в фильме могла бы поддержать Бродского материально, однако он для начала попросил прочесть сценарий. Ознакомился с ним, вчитался в роль и, убедившись, что она не слишком заидеологизирована, согласился».

Леонид Константинович Бурлака, оператор-постановщик (1938 г.р.): «Молодого, тогда еще неизвестного Иосифа Бродского гримировать под Гуревича почти не пришлось, разве что голову наголо обрили. Участники обороны Одессы, которые лично знали Гуревича, утверждали, что сходство между настоящим секретарем горкома и киношным – стопроцентное».

Однако, когда съемочный период был завершен, из Киева раздался звонок с требованием убрать из кадра И.А. Бродского. На вопрос Вадима Лысенко, в чем причина столь неожиданного решения, было сообщено, что наблюдается «несоответствие между важными политическими задачами фильма и неблагонадежностью неизвестного поэта».

Как следует из воспоминаний одесситов того времени, это известие не слишком опечалило Иосифа: он никогда не считал себя киноактером, этот заработок находил случайным и потому не вполне заслуженным, и наконец, во время съемок он познакомился с интересными людьми, что для него составляло

много больший капитал.

Так, на одной из вечеринок в мастерской художника Александра Ануфриева – одного из основателей одесской школы неофициального искусства, Иосиф встретился с Маргаритой Жарковой, художником, архитектором, организатором выставок.

Из воспоминаний Юлии Жарковой (дочери Маргариты): «С Иосифом Бродским она была особенно дружна. Мы с родителями жили тогда на Канатной, 2, и мама с Иосифом постоянно варили удивительно душистый кофе, глядя на море, порт, краны и разговаривая о высоком». Именно в доме Риты Жарковой Иосиф познакомился с Андреем Тарковским, а также встретил здесь своего старого московского приятеля Василия Аксенова.

Однако далеко не все одесские интеллектуалы приняли Бродского. По словам Юлии Евгеньевны Жарковой, «она (мать. – *Прим. авт.)* водила его по знакомым художникам, но везде Бродского обдавали густым слоем сарказма. Он при чтении стихов покрывался красными пятнами, голос у него был достаточно неприятный, видимо, в этом было дело. И только мои родители могли оценить его по достоинству в Одессе».

Тяжелым льдом обложенный Лиман,

как смолкнувший язык материка,

серел, и, точно пятна потолка,

шли облака.

И по восставшей в свой кошмарный рост

той лестнице, как тот матрос,

как тот мальпост,

наверх, скребя

ногтем перила, скулы серебря

слезой, как рыба, я втащил себя.

Один как перст,

как в ступе зимнего пространства пест,

там стыл апостол перемены мест

спиной к отчизне и лицом к тому,

в чью так и не случилось бахрому

шагнуть ему…

Читал стихи, словно бы и не слышал себя при этом, свой завывающий, гудящий, простуженный голос. Закрывал глаза, вызывая при этом усмешку слушателей. Покрывался пятнами или испариной, бледнел, интонацию соблюдал однообразную, монотонную, картавил, но дикцию при этом имел отменную, а иногда достигал и высоких нот, словно хотел запеть.

Для Иосифа само фонетическое оформление стиха не имело никакого значения, он мог гнусавить и картавить, говорить слишком быстро, или, напротив, тянуть слова, как бы вытягивая из них дополнительный смысл. Главное, чтобы язык органично передавал состояние, эмоцию, по сути своей совершенно иррациональную, вневременную, но предельно верно и точно очерчивающую пространство художественного поиска.

Отстраненность – глухо, едва разборчиво.

Надменность – громко и четко.

Закрытость для постороннего взгляда – с завыванием и закрытыми глазами.

Предельная зацикленность на себе – едва разжимая острые, словно срезанные опасной бритвой губы.

Вероятно, тут возникал вопрос симпатии или антипатии к самому стихотворцу. Если его манеры раздражали, то и текст не мог быть принят адекватно. Если же, напротив, он очаровывал (бог весть чем), то и текст оживал, наполнялся дыханием и страстью. А потом наступала тишина, смысл которой каждый усваивал по-своему: с облегчением, с недоумением, с грустью, с совершенным безразличием.

Иосиф мог допустить все из приведенного выше списка, кроме разве что одного, он не мог принять и понять, что Марине его стихи не нравятся, или, что выглядело еще более уму непостижимым, ей могут нравится какие-то другие, написанные не им (Бродским!) стихи.

Это просто не укладывалось в голове, это повергало в бешенство и ужас, вызывало приступы тупой, как сердечная боль, ревности.

После возвращения из ссылки он старался видеть Басманову каждый день, чтобы в этой рутине ежедневных, порой предельно коротких и предельно бессмысленных встреч перемолоть имевший место в Норинской инцидент с Бобышевым, топором и последовавшей за ним истерикой, которая закончилась скандалом и взаимными проклятиями.

Конечно, боль утихла, и что-то уже казалось смешным, абсолютно не заслуживающим ни внимания, ни таких сильных эмоций. Однако, сидя на подоконнике в парадном на улице Глинки, Иосиф курил и думал о том, что между ним и Мариной изначально пролегла какая-то невидимая грань, переступить которую не мог ни он, ни она.

Сверху раздался хлопок открывшейся двери, и тут же приглушенные голоса покатились эхом вниз по лестнице, по перилам, теряясь в каменных закутах и альковах.

Дверь захлопнулась.

– Молодой человек, вы опять курите на нашем этаже! Немедленно прекратите, иначе я вызову милицию! – Иосиф обернулся: перед ним стояла пожилая, благообразного обличия женщина в надвинутой на глаза мохнатой мохеровой шапке, безразмерном болоньевом плаще и резиновых ботах, приобретенных, разумеется, на «Красном треугольнике».

– Вы меня слышите, молодой человек? Немедленно прекратите!

Иосиф нехотя сполз с подоконника и, не говоря ни слова, вышел из парадного на улицу.

Вдогонку ему неслось:

– Это просто возмутительно!

С Мариной он так в тот день и не встретился.

Бродил под ее окнами, потом сидел на скамейке в Театральном сквере, сочинял, перебирая в голове слова, обрывки слов, музыкальные фразы, а на соседней скамейке спал какой-то человек, накрыв лицо журналом «Огонек».

Наверное, точно так же выглядел и Бродский-старший, когда сидел с «Огоньком» в Летнем саду. Мог и задремать. Особенно оказывался подвержен сонливости в ветреные дни.

Порыв ветра сорвал журнал с лица спящего, и Бродский прочитал – «Малышам-1965», Николай Грибачёв, «Рыжий»:

Нынче бабушка Устина

Важным делом занята:

Хворостиной,

Хворостиной

Хлещет жирного кота!

Учит рыжего Кузьму

Уму-разуму,

Потому что Кузьма

Не нажил ума…

Человек застонал, перевернулся на бок и зарыл лицо ладонями.

Из книги Льва Лосева «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии»: «В 1965 году в Нью-Йорке без ведома Бродского была издана его книга “Стихотворения и поэмы” (СИП). Сделана она была по неавторизованным самиздатским копиям большей частью старых, до 1962 года, стихов, и Бродский ее никогда своей не признавал. Рассеянные в эмигрантской периодике, недоступные читателю на родине публикации и начавшие появляться переводы на иностранные языки отдельных стихотворений тоже “торжеством справедливости” назвать было нельзя. Многочисленные доброжелатели Бродского в ленинградских писательских кругах так же, как и московские знакомые, хотели, чтобы за возвращением из ссылки последовало издание стихов Бродского, и поначалу казалось, что коллективные усилия в этом направлении приносят плоды. Уже в конце 1965-го или в самом начале 1966 года Бродский, по предложению либерально настроенных редакторов, сдал в ленинградское отделение издательства “Советский писатель” рукопись книги стихов. Книгу он предполагал назвать “Зимняя почта” и, в отличие от американского сборника, она была составлена главным образом из стихотворений 1962–1965 годов».

Процедура прохождения рукописи предполагала обсуждение ее на редакционном совете, затем отзыв внутренних рецензентов – В.Н. Альфонсова и В.А. Рождественского. Возникшая в ходе

обсуждения полемика вокруг «библейской тематики» у Бродского, а также отсутствия в его творчестве «отчетливо выраженных гражданских мотивов, идейно-художественной позиции автора» и «отношения к важным злободневным вопросам современности» не предвещала Иосифу ничего хорошего.

В результате так оно и вышло – после почти годового переливания из пустого в порожнее из издательства «Советский писатель» пришло требование усилить книгу «гражданскими мотивами».

Понятно, что на подобное требование Бродский мог ответить лишь усмешкой.

И вновь Иосифа поддержала Вера Панова, а также известный ленинградский поэт и прозаик Вадим Сергеевич Шефнер (1914–2002), который высказался касательно поэтической книги Бродского следующим образом: «Мне думается, что книжка “Зимняя почта” нуждается не столько в оценке рецензента (какой бы благожелательной эта оценка ни была), сколько в оценке читателя. Ибо, по моему мнению, Бродский уже вошел в тот творческий возраст, когда поэту нужны не обнадеживающие рецензии, не поощрительные похлопыванья по плечу, а вынесение его работы на читательский нелицеприятный суд. Я – за издание этой книги».

С Шефнером оказались солидарны многие как Московские, так и ленинградские литераторы, но решающим стало все же мнение Ильи Корнильевича Авраменко (1907–1973) – поэта, прозаика, а также главного редактора Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» – «в стихах И. Бродского нет национальных корней… (они – стихи) вне традиций русской поэзии», рукопись «не заслуживает внимания в целом, ибо в ней большинство таких стихов, где больше сумбура, чем смысла».

Понятно, что после такого пассажа Иосифу ничего не оставалось, как забрать свою рукопись из издательства.

Это произошло осенью 1967 года.

Тогда же, 8 октября 1967 года, у Иосифа Бродского и Марины Басмановой родился сын Андрей.

Монолог Эдипа из Пролога к трагедии Софокла «Царь Эдип».

Произносится на ступенях Михайловского замка с видом на Мойку и Летний сад.

Несчастные вы дети!

Знаю, знаю,

Что надо вам.

Я вижу ясно: все

Страдаете. Но ни один из вас

Все ж не страдает так, как я страдаю:

У вас печаль лишь о самих себе,

Не более, – а я душой болею

За город мой, за вас и за себя.

Меня будить не надо, я не сплю.

Но знайте: горьких слез я много пролил.

Дорог немало думой исходил…

Александр Иванович Бродский открывает глаза.

И впрямь он немного задремал за чтением «Огонька» в Летнем саду.

Впрочем, ветер уже стих.

Теперь дышится легко и привольно, и можно неспешно двигаться домой, где, приготовив ужин, его уже дожидается супруга Мария Моисеевна Вольперт.

Эписодий Четырнадцатый

1992 год.

От автора

Трамвай разворачивается на кольце у Северной верфи и, гремя на стыках, выходит на маршрут. До проспекта Стачек он идет полупустой, и только уже в районе Автово начинает заполняться пассажирами.

До этого момента кондуктор неподвижно сидит на высоком, привинченном к полу табурете без спинки, к которому приварена табличка «место кондуктора».

Сейчас он безучастно смотрит в окно, за которым проплывают фонарные столбы, фасады доходных домов, заборы, редкие деревья без листьев, витрины магазинов. Все это он видел десятки, если не сотни раз. Конечно, можно на все на это не смотреть и ехать с закрытыми глазами, но за это могут выгнать с

работы.

Итак, кондуктор нехотя сползает со своего табурета и начинает «обилечивать» пассажиров. Делает он это ровно так, как и смотрел в окно – безучастно, с абсолютно ничего не выражающим взглядом. Однако по мере продвижения его по вагону все более и более растет ощущение того, что это видение, фантом, какая-то ошибка, потому что сомнений в том, что в роли кондуктора на Первом маршруте работает не кто иной, как Иосиф Александрович Бродский, не остается никаких. И это при том, что в это время поэт Бродский вот уже как 20 лет живет в Америке.

– Да это же Андрюха Басманов, сын его, – видя мое потрясение, сообщает сидящий рядом мужик лет сорока с лишним в джинсовой куртке Miltons, – его тут все знают… А вы что, не местный?

– Нет, – отвечаю ему не сразу, – из Москвы к друзьям приехал.

– Московский, значит, – мужик большим и указательным пальцами приглаживает довольно ветвистые свои брови, откашливается и не без добродушного сожаления подводит итог, – это заметно…

Когда процедура «обилечивания» заканчивается, кондуктор Басманов вновь усаживается на свое место и погружается в лишь одному ему доступную медитацию. В ту поездку я вышел на площади Труда, а трамвай с сыном Бродского пошел дальше, на Васильевский остров, в район 8-й линии, кажется.

Андрей Басманов тогда, на начале 90-х, довольно часто появлялся в разных питерских компаниях, пел под гитару, особенно любил Сашу Башлачева (1960–1988).

Вот, например, это:

В рабочий полдень я проснулся стоя.

Опять матрац попутал со стеной.

Я в одиночку вышел из запоя,

Но – вот те на! – сегодня выходной.

И время шло не шатко и не валко.

Горел на кухне ливерный пирог.

Скрипел мирок хрущевки-коммуналки,

И шлепанцы мурлыкали у ног.

Сосед Буритейн стыдливо бил соседку.

Мы с ней ему наставила рога.

Я здесь ни с кем бы не пошел в разведку,

Мне не с кем выйти в логово врага…

Голос имел сильный, завывающий, рвал струны решительно, пел самозабвенно, хотя, наверно, Башлачева кроме Башлачева, как и Высоцкого кроме Высоцкого, петь нельзя, но он пел. Более того, когда в возрасте 22 лет приехал к отцу в Нью-Йорк, то исполнил несколько подобных песен, чем привел Иосифа в ужас. Он просто не знал, что папа ненавидит весь этот «советский рок».

По воспоминаниям Аллы Уфлянд, после появления Андрея в Америке Бродский позвонил в Ленинград Владимиру Уфлянду, который и организовал эту встречу, и почти закричал: «Кого ты мне прислал?».

«Кого просил, того и прислал», – прозвучало в трубке.

1967 год.

Андрей – Осипович – Басманов…

Услышав эту комбинацию слов, вернее имени, отчества и фамилии, Бродский взвился: – Почему Басманов, а не Бродский? Почему Осипович, а не Иосифович?

Марина, конечно, что-то ответила, но без особого нажима и надрыва, потому что дело было решенным и обжалованию не подлежало, а тратить силы на очередное выяснение отношений не было ни сил, ни желания.

Иосиф Бродский: «На мой взгляд, индивидуум должен игнорировать обстоятельства. Он должен исходить из более или менее вневременных категорий. А когда начинаешь редактировать – в соответствии с тем, что сегодня дозволено или не дозволено, – свою этику, свою мораль, то это уже катастрофа… все развивается в логической последовательности».

Парадоксальное утверждение, право.

Игнорирование обстоятельств предполагает отказ от логики событий, потому как вневременное и иррациональное не подчиняется строгим логическим построениям, но более опирается на эмоциональное и чувственное. Вопрос редактирования, иначе говоря, встраивания в существующую систему тоже не является бесспорным. Так, отрицая и отвергая режим и его законы, художник (как творец) неизбежно создает собственный режим, в который (по большей части насильно) пытается вписать свое окружение – семью, детей, родственников, друзей. Кто-то на это идет с удовольствием, кто-то с жертвенным удовольствием, а кто-то, напротив, отвергает и не понимает. Разумеется, это отступничество воспринимается поэтом-творцом как предательство, как непереносимый удар, после которого рушится дружба, а любовь перерождается в тяжелый душевный недуг.

По сути, речь в данном случае идет о столкновении двух тираний – политической и творческой, причем столкновении, доведенном до своего апогея, когда, не имея возможности (по объективным причинам) наравне полемизировать с властью, художник вступает в дискуссию (точнее в неразрешимый спор) с теми, кто оказывается рядом с ним.

После рождения Андрея произошло окончательное расставание Басмановой и Бродского.

Вдруг стало ясно, что мечтания, которые все эти годы тлели, давали повод к надежде, абсолютно не совместимы с реальной жизнью, протекавшей на улицах Глинки и Пестеля.

Иосиф видел себя отвергнутым, Марина – брошенной.

А что же родители?

И те и другие отнеслись к событию индифферентно, чего, впрочем, и следовало ожидать.

И вновь город показался Бродскому маленьким, крохотным, свернувшимся до убогого метража «полутора комнат», как тогда в 60-м году, когда нигде нельзя было скрыться от «комитета», «от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».

Так и сейчас, нигде нельзя было спрятаться и остаться наедине со своей болью – общие знакомые, бесконечные разговоры, неожиданные встречи, постные выражения на лицах посвященных, намеки, слухи.

Самым немыслимым было то, что в этом городе с его перспективами, проспектами, бесконечными набережными и Балтийским простором некуда было бежать.

Все продувалось, просматривалось и простреливалось насквозь.

И тогда проходилось просто быстро идти через проходные

дворы, пересекать линии, трамвайные пути, а, минуя Медного всадника, так и вообще переходить на бег, прикрывая лицо ладонями, окончательно выламываясь из реальности и примеривая на себя маску «бедного Евгения».

В голове грохотало пушкинское:

Кругом подножия кумира

Безумец бедный обошел

И взоры дикие навел

На лик державца полумира.

Стеснилась грудь его. Чело

К решетке хладной прилегло,

Глаза подернулись туманом,

По сердцу пламень пробежал,

Вскипела кровь. Он мрачен стал

Пред горделивым истуканом…

Иосиф знал за собой эту способность – проваливаться в сумеречное состояние, выходом из которого было или неистовое выплескивание на бумагу отрывков художественного текста, организованных на ритмически и тематически соизмеримые отрезки, эписодии, или же полуобморочный, на грани истерики поиск того, кто услышит, поймет и пожалеет.

Ни тоски, ни любви, ни печали,

ни тревоги, ни боли в груди,

будто целая жизнь за плечами

и всего полчаса впереди…

Конечно, знал, что жалость унижает. По крайней мере это

знание ему вколотили в школе, размахивая образом высокого худого старика с густыми, свисающими, как заросли горной сосны над пропастью, бровями. Образом старика, который был похож на Фридриха Ницше. Звали этого старика Максим Горький.

Над классной доской висел писанный маслом иконостас – Пушкин, Горький, Маяковский.

И всякий раз становилось страшно от этой троицы, да еще и орден Ленина трепетал на высокой груди, на пиджаке или френче – «нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели»!

Однако ничего поделать с собой не мог, потому что после подобной процедуры (поиска и нахождения доброй души) становилось легче, можно было дышать и не болело сердце.

В 1972 году у балерины Кировского театра Марианны Кузнецовой и Иосифа Бродского родилась дочь Настя.

Через два месяца после ее рождения Иосиф уехал из страны.

Он так никогда и не увидел свою старшую дочь.

О своем отце Настя узнала только в 1995 году.

Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве

все подозрительно: подпись, бумага, числа.

Даже ребенку скучно в такие цацки;

лучше уж в куклы. Вот я и разучился.

Теперь, когда мне попадается цифра девять

с вопросительной шейкой (чаще всего, под утро)

или (заполночь) двойка, я вспоминаю лебедь,

плывущую из-за кулис…

Это стихотворение, посвященное Марианне Кузнецовой, было написано Бродским в 1987 году.

Видимо, так, спустя годы, разрозненные воспоминания складываются в картину, предвосхитить возникновение которой невозможно.

Например, на полотнах Гюбера Робера, что находятся в собрании Государственного Эрмитажа, воспоминания уже стали добычей воображения, и нет никакой возможности отличить реальность от вымысла, потому что и реальности-то никакой нет.

Вернее, она была, но свидетели тому отсутствуют…

Из эссе Иосифа Бродского «Полторы комнаты»: «По-видимому, изъяны памяти суть доказательство подчинения живого организма законам природы. Никакая жизнь не рассчитывает уцелеть. Если вы не фараон, вы и не претендуете на то, чтобы стать мумией. Согласившись, что объекты воспоминания обладают такого рода трезвостью, вы смирились с данным качеством своей памяти. Нормальный человек не думает, что все имеет продолжение, он не ждет продолжения даже для себя или своих сочинений. Нормальный человек не помнит, что он ел на завтрак. Вещам рутинного, повторяющегося характера уготовано забвение. Одно дело завтрак, другое дело – любимые тобой. Лучшее, что можно сделать, – приписать это экономии места. И можно воспользоваться этими благоразумно сбереженными нервными клетками, дабы поразмыслить над тем, не являются ли эти перебои памяти просто подспудным голосом твоего подозрения, что все мы друг другу чужие. Что наше чувство автономности намного сильнее чувства общности, не говоря уж о чувстве связей. Что ребенок не помнит родителей, поскольку он всегда обращен вовне, устремлен в будущее. Он тоже, наверное, бережет нервные клетки для будущих надобностей. Чем короче память, тем длиннее жизнь, говорит пословица. Иначе – чем длиннее будущее, тем короче память. Это один из способов определения ваших видов на долгожительство, выявления будущего патриарха. Жаль только, что, патриархи или нет, автономные или зависимые, мы тоже повторяемся, и Высший Разум экономит нервные клетки на нас».

Память – это производное от времени. Однако коль скоро время есть субстанция трудно определимая, то уж о памяти рассуждать дозволительно, соответственно, по вторичным и даже третичным признакам, потому что память (воспоминания) находится уже вне пространства и вне времени, давно утратив с ними родственные (они же рудиментарные) связи.

Осколки памяти.

Разрозненные сюжеты из прошлой жизни.

Вспышки памяти.

Вспышка первая.

1966 год.

Иосиф видит себя сидящим в машине на заднем сидении у окна.

Машина несется в Комарово.

Иосиф смотрит на свое отражение в стекле – красные глаза,

всклокоченные волосы, полное отчаяние на лице, по которому скользят заснеженные деревья. От этого зрелища начинает тошнить.

Кружится голова.

Наконец машина подъезжает к воротам поселкового кладбища, разворачивается и замирает.

Первым из машины выходит Иосиф, его шатает, ему нехорошо.

Вспышка вторая.

Могильщики перекуривают и рассуждают о том, что место для могилы выбрано хорошее – всегда на ветру, будет продуваться, да и земля мягкая, на штык глины, а потом «белуга».

– Что такое «белуга»? – голос Иосифа дрожит.

– Белый песок – значит, – звучит в ответ.

Конечно, могильщики уже немного «приняли», и поэтому их движения плавны, а речи неспешны.

Иосиф достает из кармана старый геологический компас, невесть как сохранившийся еще с прежних экспедиционных времен, и начинает ориентировать могилу по сторонам света. Могильщики в недоумении замирают, такого им видеть еще не приходилось. Однако Иосиф не обращает на их замешательство никакого внимания, ведь самое главное, чтобы покойник лежал головой на восток.

Окончательно разобравшись со сторонами света, Иосиф громко возглашает:

– Копать вот так!

Вспышка третья.

Площадка перед Николой Морским.

Иосиф стоит рядом с автобусом, в который только что загрузили гроб с телом Анны Ахматовой.

Мимо передают цветы и венки, и за ними не разобрать лиц тех, кто их передает.

Вот, например, проплывает огромное сооружение из цветов и елового лапника, перетянутого черной летной, на которой написано «от Шостаковича».

Изо рта вырывается пар, но холода нет, есть возбуждение и отчаяние.

Иосиф видит стоящего в отдалении Арсения Тарковского.

Он опирается на палку.

Тарковский кажется Иосифу совсем старым и смертельно

уставшим. Наверное, таким же будет и он, И.А. Бродский, когда доживет до этих лет. Но он не доживет до этих лет.

Их храма выходят Ардов, Мейлах, Копелев, Рейн, Найман.

Иосиф, держась за стенку автобуса, медленно доходит до ближайшей лавки и садится на нее. Все плывет перед глазами – размытая картинка, гудение голосов, черные венки. В голове звучит:

Вы поднимете прекрасное лицо —

громкий смех, как поминальное словцо,

звук неясный на нагревшемся мосту —

на мгновенье взбудоражит пустоту.

Я не видел, не увижу Ваших слез,

не услышу я шуршания колес,

уносящих Вас к заливу, к деревам,

по отечеству без памятника Вам…

На колокольне Николы Морского раздается удар колокола.

Вспышка третья.

Гроб опустили в могилу и тут же заспорили, куда ставить крест – в ногах или над головой. Иосиф растерялся при этом совершенно, захотелось спрятаться, закрыть уши и глаза, чтобы всего этого позора не видеть и не слышать. Но спор крепнет, и больше всех негодует Лев Николаевич Гумилев, потому как находит нарушение церковных правил недопустимым.

Вспышка четвертая.

Над могилой Ахматовой стоит Сергей Михалков и по бумажке читает что-то про долг, благородство, смелость, талант и верность родине. Видно, что ему холодно, его губы посинели, и он хочет как можно быстрей дочитать эти избитые слова до конца и уйти греться. Например, в черную «Волгу», припаркованную недалеко от места погребения. Потом к могиле выходит Тарковский и начинает говорить почти шепотом. Никто ничего не слышит, но в полной тишине Комаровского кладбища этот шепот

значит много больше, чем громкая и бодрая речь предыдущего оратора.

По губам Тарковского Иосиф читает:

По льду, по снегу, по жасмину,

На ладони снега белей

Унесла в свою домовину

Половину души, половину

Лучшей песни, спетой о ней…

Похвалам земным не доверясь,

Завершив свой земной полукруг,

Полупризнанная, как ересь,

Чрез морозный порог и через

Вихри света смотрит на юг.

Что же видят незримые взоры

Недоверчивых светлых глаз?

Расступающиеся створы

Верст и зим, иль костер, который

Принимает в объятья нас…

Вспышка пятая и последняя.

Все сидят за столом в «будке» Ахматовой.

Горят купленные в местном хозмаге свечи.

Печь натоплена.

Однако Иосиф сейчас почему-то думает совсем о другом, о том, как в ночь с 31 декабря на 1 января 1964 года где-то здесь же, в Комарово, точно так же сидели за столом со свечами в руках Марина Басманова и Дима Бобышев.

Картина представляется ему необычайно выпуклой, объемной

и яркой. Может быть, приходит это видение, потому что когда-то, когда еще была жива Анна Андреевна, они собирались здесь все вместе и так же сидели при свечах – читали стихи, беседовали, выпивали.

Ахматова еще недоумевала: «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи!» Бродский тут же начинал оправдываться, ловя на себе насмешливый взгляд Марины.

А потом все выходили курить на улицу.

Вот и сейчас все тоже вышли на улицу.

Кто-то предложил зажечь костер, потому что Ахматова так любила.

Пошли искать в темноте дрова.

Нашли, но сырые.

В результате попытка не увенчалась успехом, только пропахли едким дымом, какой бывает, когда сухая щепа и обрывки газеты пытаются пересилить мерзлую кору и мокрый лапник.

После завершения эпопеи с издательством, вернее сказать, с неизданием рукописи «Зимняя почта» в «Советском писателе» Бродского (после длительного, следует заметить, перерыва) вновь пригласили в КГБ.

Беседовали дружелюбно, почти по-семейному.

Делали вид, что не интересуются его публикациями на Западе и многочисленными иностранными друзьями, которые постоянно посещали Иосифа в Ленинграде. Опять же делали вид, что обеспокоены тем, что такой молодой и талантливый поэт до сих пор не имеет своей книги в СССР, стране, где поэзия всегда была любима народом.

Из интервью Иосифа Бродского Соломону Волкову: «Поздоровавшись, они начинают разговор о погоде, здоровье и прочем… такая светская беседа… потом начинают играть на два смычка совершенно замечательную музыку. Один поет, что вот – ненормальная, Иосиф Александрович, ситуация сложилась с вашей биографией. И особенно с вашей – как бы это сказать – литературной деятельностью. “Ваши книги выходят на Западе, и я думаю, что и вы, и мы одинаково заинтересованы в том, чтобы внести во все это ясность. Мы хотели бы все поставить на свои места, чтобы вы были нормальным, печатающимся в Советском Союзе автором”. Я комментирую: “О Господи! Это – музыка для моих ушей!” Но с другой стороны раздаются звуки несколько иного рода: “Вот к вам все время приезжают какие-то иностранцы.

Среди них есть настоящие друзья Советского Союза. Но есть, как вы понимаете, и люди, которые работают на вражеские разведки…”

“Ну, – я говорю, – вам виднее. Я не знаю”. Они говорят: “Вы знаете, Иосиф Александрович, нам, конечно, виднее, но вы человек образованный…“ Это я-то, с восьмью классами! “…и потому мы чрезвычайно ценим ваше мнение». А с другой стороны человек поет: “Пора, пора вам уже книгу выпускать!” И это все идет параллельно! С одной стороны: “Время от времени мы были бы чрезвычайно заинтересованы в вашей оценке, в ваших впечатлениях от того или иного человека. Вы понимаете, что среди них…” А с другой стороны: “Надо вам уже книгу печатать!” И разговор этот, вы знаете, идет на таком… естественном уровне…

– Если я правильно понимаю то, что сейчас происходит, то вы предлагаете напечатать книжку моих стихов, если я соглашусь с вами сотрудничать, да?

– Ну зачем так резко ставить вопрос?

– Нет, я просто хотел бы понять, о чем идет речь.

– Мы считаем, что с вашей книжкой сложилась ненормальная ситуация. И мы с удовольствием вам поможем – напечатаем ее безо всякой цензуры, на хорошей финской бумаге».

Сейчас уже трудно сказать, кто в том разговоре делал вид и какой именно, а кто вид не делал.

Быть опубликованным «здесь» или «там» – этот вопрос носил, скорее, экзистенциальный характер, потому что в сложившейся ситуации и «там» и «здесь» русский поэт, чье имя после показательного процесса, ссылки и прочих «свинцовых мерзостей» совдепии, было хорошо известно на Западе, был обречен стать предметом особого внимания спецслужб по обе стороны «железного занавеса».

События, произошедшие на рубеже 60–70-х годов, это подтвердили.

Людмила Штерн в своей книге «Поэт без пьедестала» писала: «В компанию… входили Геннадий Шмаков, Константин Азадовский, Михаил Мейлах и несколько итальянских славистов. С “нашими” итальянцами Иосиф дружил всю жизнь, и они заслуживают отдельного рассказа… Итальянцы возникли в нашей жизни в 1965 году, приехав в Ленинград учиться в аспирантуре. Удивляло, что они, столь далекие по происхождению, воспитанию и жизненному опыту, оказались такими близкими нам по духу. Они любили ту же музыку и живопись, зачитывались теми же книгами, декламировали наизусть тех же поэтов и были “порчены” русской литературой. Среди них Иосиф особенно

сблизился с Джанни Буттафава, Фаусто Мальковати, Сильваной Давидович и Анной Дони… Красавица Сильвана казалась нам кинозвездой, наверно, потому, что была тезкой Сильваны Пампанини, очень тогда популярной. О ее семье мы мало что знали. А об Анне – что она венецианка и очень знатного рода. У Анны были рассыпанные по плечам золотые волосы, точеные черты лица и замечательная фигура. Ей только что исполнилось двадцать лет. Ее католическая семья – по непроверенным слухам, потомки Медичи – была очень религиозной. Детей воспитывали в строгости, о выпивках, куренье и поздних вечеринках не могло быть и речи. К тому же, Анна была очень застенчивой. Особенно она стеснялась говорить по-русски, хотя язык знала совсем неплохо. Ей казалось, что ее русский слишком книжный и искусственный, она хотела знать идиомы и сленг, записывала и выучивала наизусть песни Галича, Высоцкого и Окуджавы».

Следует понимать, что в те годы общение с иностранцами было явлением не столько весьма редкими, сколько весьма специфическим, особенно если встречались люди разных полов, молодые, аполитичные, не видящие никаких реальных возможностей реализовать себя в этой стране. Под «этой» страной подразумевался, разумеется, СССР.

Мысль о выезде из Союза витала в воздухе.

Кто-то не решался признаться в этом даже своим самым близким, а кто-то, напротив, превращал разговоры об иммиграции в браваду и цирк.

Напомним, что на тот момент существовало лишь три (общеизвестных) способа покинуть СССР.

Первый – бегство из страны. К этому способу прибегали люди, имевшие возможность, например, по долгу службы, пересекать государственную границу СССР (также именовались «невозвращенцами»). Речь в данном случае идет о дипломатах, сотрудниках спецслужб, ученых, деятелях искусства, спортсменах. Наиболее известными «невозвращенцами» в те годы стали: писатель Анатолий Кузнецов (1929–1979), танцовщик Рудольф Нуреев (1938–1993), филолог, переводчик Светлана Аллилуева (1926–2011), танцовщик Михаил Барышников (1948 г.р.), социолог Михаил Восленский (1920–1997), фигуристы Олег Протопопов (1932 г.р.) и Людмила Белоусова (1935 г.р.), шахматист Виктор Корчной (1931–2016), дипломат Аркадий Шевченко (1930–1998).

В УК РСФСР от 1960 года «бегство» из Союза было выделено в отдельную 64-ю статью «измена Родине», которая предусматривала наказание в виде «лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со

ссылкой на срок от двух до пяти лет, или без ссылки, или смертной казнью с конфискацией имущества». Второй способ – репатриация. В начале 70-х годов возможность легально покинуть СССР без приобретения билетов в обратную сторону давала только израильская виза. Согласно закону «О возвращении», принятом в Государстве Израиль в 1950 году, *алию* (возвращение на свою историческую родину) в праве совершить каждый этнический еврей, в какой бы стране мира он не жил. И СССР не стал исключением. Выезд на ПМЖ в Израиль осуществлялся, таким образом, на законных основаниях и предполагал утрату советского гражданства, а также утрату движимого и недвижимого имущества в СССР. Этот способ выезда для подавляющего большинства советских евреев был весьма болезненным. Со своими родственниками, друзьями, фактической родиной люди расставались навсегда. Опять же специфика ближневосточной жизни устраивала далеко не всех (после Москвы, Ленинграда, Киева, Вильнюса или Риги), поэтому подавляющее большинство еврейских репатриантов направлялось не в Тель-Авив, а в Нью-Йорк. Особую роль в определении права на алию имели родственные и семейные связи. Именно в те годы появилась знаменитая (и весьма циничная) поговорка: «еврейская жена – не роскошь, а средство передвижения».

И наконец, третий способ покинуть «империю зла» – брак с иностранцем.

Этот вариант был наиболее либеральным, если угодно, но и наиболее сложным в исполнении. С одной стороны, выезд из СССР в качестве мужа или жены гражданина иностранного государства не предполагал лишения советского гражданства, а также допускал двойное гражданство – СССР и той страны, куда выехал(ла) гражданин(ка) Союза. Но с другой стороны, все прекрасно понимали, что в 90 % случаев речь шла о фиктивном браке, который заключался только для преодоления границы СССР. Нравственная составляющая такого рода процедуры усложнялась и тем, что ряд стран рассматривали фиктивный брак как уголовное преступление и нарушение прав и свобод своих граждан (например, США).

Нет никакого сомнения в том, что все эти варианты (кроме, разве что, первого) обсуждались и рассматривались в кругу как ленинградских, так и иностранных друзей Иосифа. Однако ни в коей мере при этом не следует усматривать в подобных разговорах нечто антисоветское, антипатриотичное и злокозненное. Просто это был стиль молодых людей, вышедших из «оттепели», слушавших «Голос Америки» и BBC, читавших англоязычную литературу в подлиннике, любивших джаз и рок-н-

ролл, в известном смысле остроумных и саркастичных, а еще смертельно уставших от советского идиотизма и свято уверенных в том, что «там» все по-другому.

Те, кому в результате тогда удалось покинуть СССР, в большинстве своем убедились, что в Израиле или Штатах, Германии или Франции все действительно было совсем по-другому.

То есть совсем нет так, как об этом мечталось на московских и ленинградских кухнях.

Эписодий Пятнадцатый

В 1971 году на стажировку в Ленинград приехала американская студентка-славистка Кэрол Аншютц.

Белые ночи, Эрмитаж, уникальная архитектура Северной столицы не могли не восхитить юную Кэрол. Опять же, не для кого не было секретом, что знакомство с экзотикой поэтического Ленинградского андеграунда было непременным условием постижения русского языка, русской литературы, а также загадочной русской души в целом. Следовательно, вполне закономерно, что на одном из «квартирников», где в «угрюмой» питерской коммуналке собирались филологи, поэты, переводчики и музыканты, Кэрол познакомилась с Иосифом.

Конечно, Бродский не знал (да и не мог знать), что отцом его новой американской подруги был высокопоставленный американский дипломат, сотрудник Госдепартамента США, советник по делам послов США в Европе (в СССР в том числе) Норберт Аншютц. То есть, может быть, Кэрол и сообщила об этом своему русскому другу, но он, будучи настоящим русским поэтом, не обратил на это внимания или, напротив, осмыслил сие немаловажное обстоятельство как-то по-своему, уверился в том, что так распорядилась судьба и ей просто нужно соответствовать.

Мы не можем сейчас с уверенностью говорить о том, что эта встреча была случайной или неслучайной. Однако, по словам Кэрол Аншютц (прозвучавшим сорок лет спустя), события развивались по вполне внятной и читаемой схеме.

«Он очень хотел уехать за границу, жениться на иностранке. Таким образом, он надеялся вернуться в Россию, возвращаться, когда он хотел. Мне предстояло сделать этот проект возможным. Во всяком случае мы влюбились, и он предложить жениться на мне. Я ответила “да”.

Эта информация, что и понятно, стала немедленно известна как американской стороне (если не была ею сгенерирована), так и советской.

Кэрол Аншютц: «Американский консул в Москве, когда я к нему пришла, сказал: “русские очень этноцентричны, и этот брак кончится плохо; я не советую вам это делать”.

Но молодые люди были так увлечены друг другом и этой затеей, что, разумеется, не прислушались к словам профессионала.

Регистрация брака была назначена на 10 мая 1972 года.

Однако накануне этого события в квартире Бродских на Пестеля раздался телефонный звонок. Звонили из ОВИРа и в обязательном порядке приглашали Иосифа явиться в Отдел виз и регистраций.

Иосиф Бродский: «Я знал, что из ОВИРа гражданам просто так не звонят, и даже подумал, не оставил ли мне наследство какой-нибудь заграничный родственник. Я сказал, что освобожусь довольно поздно, часов в семь вечера, а они: пожалуйста, можно и в семь, будем ждать. Принял меня в ОВИРе полковник и любезно спросил, что у меня слышно. Все в порядке, отвечаю. Он говорит: вы получили приглашение в Израиль. Да, говорю, получил; не только в Израиль, но и в Италию, Англию, Чехословакию. А почему бы вам не воспользоваться приглашением в Израиль, спрашивает полковник. Может, вы думали, что мы вас не пустим? Ну, думал, отвечаю, но не это главное. А что? – спрашивает полковник. Я не знаю, что стал бы там делать, отвечаю. И тут тон разговора меняется. С любезного полицейского “вы” он переходит на “ты”. Вот что я тебе скажу, Бродский. Ты сейчас заполнишь этот формуляр, напишешь заявление, а мы примем решение. А если я откажусь? – спрашиваю. Полковник на это: тогда для тебя наступят горячие денечки. Я три раза сидел в тюрьме. Два раза в психушке… и всем, чему можно было научиться в этих университетах, овладел сполна. Хорошо, говорю. Где эти бумаги?… это было в пятницу вечером. В понедельник снова звонок: прошу зайти и сдать паспорт. Потом началась торговля – когда выезд. Я не хотел ехать сразу же. А они на это: у тебя ведь нет уже паспорта».

31 декабря 1971 года консульский отдел иерусалимского МИДа выдал Иосифу Бродскому разрешение под № 22894/71 на въезд в Государство Израиль в качестве иммигранта.

Приглашающей стороной значился якобы дядя Иосифа некто Яаков Иври, проживающий на ул. Мордей Агетаот, 24, в городе Реховот, что в 20 километрах к юго-востоку от Тель-Авива (в конце 70-х по инициативе советского диссидента Эдуарда Кузнецова (1939 г.р.) практика фиктивных вызовов в Израиль была прекращена).

Время действия въездной визы в Государство Израиль было установлено с 29 мая по 28 августа 1972 года.

Выездная виза из СССР была заверена в УВД Леноблгорисполкома, дата выезда поставлена – до 5 июня 1972 года.

Можно утверждать, что столь молниеносное развитие событий (оформление документов Бродского на выезд заняло не более трех недель, хотя по установленной процедуре длилось от полугода до года) стало результатом взаимодействия родственных ведомств (советского и американского), как ни странно.

Разумеется, каждая из сторон решала свои задачи.

Совпадение дня регистрации брака и вызова в ОВИР было, конечно, неслучайным. С одной стороны, было необходимо не допустить заключение брачного союза дочери высокопоставленного американского чиновника и советского поэта-диссидента. Особенно с учетом того, что фиктивный брак (а это, вне всякого сомнения, был фиктивный брак) в США был уголовно наказуемым преступлением. Иосиф этого не знал, в чем мы убедимся позже, на стыковке в международном аэропорту Вены.

С другой стороны, карта Бродского в СССР была отработана, и его надлежало немедленно выслать из страны на волне повышенного к нему интереса со стороны западной общественности (и спецслужб в том числе).

Поэт, эссеист Лев Владимирович Лосев (1937–2009) писал: «Почти герметическая закупоренность Советского Союза стала давать трещины в конце шестидесятых годов. Некоторому количеству граждан начали разрешать отъезд из СССР для воссоединения с родственниками за границей. Приблизительно по одной тысяче евреев выехали из СССР в Израиль в 1968, 1969 и 1970 годах. Эта цифра подскочила до тринадцати тысяч в 1971 году и перевалила за тридцать две тысячи в 1972-м. Советский Союз вступал в пору тяжелого экономического кризиса, который и привел к его развалу два десятилетия спустя. В начале семидесятых годов у правительства Брежнева не было другого выхода, кроме облегчения гонки вооружений и улучшения экономических отношений с Западом. Советские стратегические ракеты и советские граждане, желающие эмигрировать, были фишками в этой геополитической игре. Резкий скачок в числе разрешений на выезд весной 1972 года объясняется просто – в Москве ожидали приезда президента США Ричарда Никсона. Америка с ее сильным еврейским лобби всегда настаивала на облегчении условий эмиграции из Советского Союза, и вот Никсону выдавался аванс за будущие поставки зерна и политику “детанта”… У Бродского к этому времени имелся “вызов” – официально заверенное израильскими властями письмо от фиктивного родственника в Израиле с приглашением поселиться на земле предков. Многие советские граждане еврейского или полуеврейского происхождения обзавелись тогда с помощью знакомых иностранцев такими “вызовами” – на всякий случай. Бывало, “вызовы” приходили и безо всякой инициативы приглашаемого. Кажется, именно так было и с приглашением, полученным Бродским… Во всяком случае, воспользоваться этим приглашением он не собирался. В тот момент он все еще полагал, что обстоятельства переменятся и ему начнут позволять поездки

за границу, как позволяли иногда не только писателям с особым официальным статусом – Аксенову, Вознесенскому, Евтушенко, – но даже и тем, кто, как ему казалось, не слишком отличался от него в глазах властей: ленинградскому поэту-авангардисту Виктору Сосноре, например».

Опять же следует понимать, что неуклонный рост русской литературно-художественной диаспоры (если возможно такое словосочетание) в Европе и Америке требовал от «комитета» повышенной активности, а также поиска новых форм и новых персонажей на местах для решения продиктованных внешнеполитическим курсом СССР задач.

Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Александр Солженицын, Владимир Максимов, Юлий Даниэль, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Александр Галич, Анатолий Кузнецов, Саша Соколов, Эдуард Лимонов, Лев Копелев, Наум Коржавин, Юз Алешковский, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Борис Хазанов, Александр Зиновьев, Юрий Мамлеев, Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Анатолий Гладилин… Перед нами далеко не полный список бывших советских писателей, поэтов и журналистов, покинувших СССР в 70-х годах и сформировавших в англоязычной среде абсолютно уникальное русское литературное сообщество со своими журналами, издательствами и, самое главное, со своим читателем. Разумеется, советская пропаганда представляла каждого из них предателем и отщепенцем, что погнался за «длинным рублем» (долларом) и покинул свою Родину в поисках выгоды и сомнительной славы.

Однако невозможно было не согласиться с тем, что порой тексты, публиковавшиеся в «Посеве» и «Континенте», в «Ардисе» и в «Имка-Пресс» не уступали, а порой и превосходили по качеству, глубине и оригинальности тексты, выходившие в «Новом мире» и «Октябре», в «Советском писателе» и «Молодой гвардии». И наоборот, публикации в «Дружбе народов» и «Даугаве», «Сибирских огнях» и «Знамени» обращали на себя внимание далеко за пределами Союза.

Писатели-эмигранты и писатели страны-метрополии (СССР в данном случае) составляли собой единую языковую ойкумену, вольно или невольно ставившую русскую литературу выше идеологических и политических барьеров.

Так, например, Виктор Некрасов и Ченгиз Айтматов, Борис Хазанов и Анатолий Ким, Саша Соколов и Валентин Распутин, Василий Аксенов и Виктор Астафьев были частью одного литературного процесса, для которого не существовало виз и буферных зон, и не замечать это, а уж тем более воевать с этим

было глупо и бессмысленно.

Однако вернемся в май 1972 года.

Из воспоминаний Кэрол Аншютц: «Бродский вышел в слезах (из ОВИРа. – *Прим. авт.*). Его поставили перед выбором: то ли принудительного лечения в психиатрической больнице или эмиграция в Израиль. Он был почти в отчаянии. Я для него перестала существовать. Ему пришлось проститься со всем, кого он когда-нибудь знал в жизни. Как перед смертью. На этом наши отношения кончились».

Итак, отношения закончились ровно тогда, когда стало ясно, что план, придуманный молодыми людьми, провалился.

И наступило отчаяние.

Это когда…

Мысль занимает рассудок, как шестую часть

суши рваниной туч накрывает лето,

и хочется в их соучастии – мысли и тучи – пропасть

без вести и отмереть рудиментом. Насилу где-то

что-то случается, но ухом не поведя

и не моргнув лишившимся блеска глазом,

я занимаюсь тем, чем, когда провода гудят,

занимаются камень или сапог – независимо, оба сразу…

Отчаяние как разуверение в том, во что уверовал совершенно и безгранично, нарисовал в воображении картины удивительного будущего, но вдруг стало ясно, что все это лишь фикция, и ничего этого нет на самом деле. По крайней мере так описал это состояние в своем одноименном романе Набоков.

Тогда, в мае 72-го, надо думать, отчаяние испытали и он, и она.

Он, потому что мечта, казавшаяся реальностью, рассыпалась, разбилась вдребезги, потому что выяснилось, что тебя переиграли как школьника, а подобного рода затеи, безусловно, являются игрой, причем, весьма сомнительного свойства с чрезвычайно

серьезным и опасным соперником.

Она, потому что все оказалось до крайности банально и даже пошло.

Это была та самая пошлость, описанная Антоном Чеховым, которого Кэрол, как настоящий славист, конечно же читала и любила. Ей попользовались и бросили, а сказанные накануне слова, явленные чувства и обещания не значили ровным счетом ничего.

Иначе говоря, оказались ложью.

В книге Аркадия Львовича Львова (1927 г.р.) «О Бродском» читаем такие слова: «С чего начинается подлинная история сознания индивидуума? Начинается, постулирует Бродский, с первой лжи. Конечно, и до первой лжи сознание индивидуума проделало какую-то дорогу, но это еще не подлинная его история, это еще предыстория. А в тот день, когда человек солгал и впервые осознал, что солгал, начинается действительная биография сознания.

Первая ложь Иосифа, когда он еще был семилетним Осей, навсегда сохранилась в его памяти. В школьной библиотеке, куда он, первоклассник, пришел записываться, полагалось заполнить читательскую карточку. Передадим эпизод словами самого Бродского: “Пятый пункт был, разумеется, “национальность”. Семи лет от роду, я отлично знал, что я еврей, но сказал библиотекарше, что не знаю. Подозрительно оживившись, она предложила мне сходить домой и спросить у родителей. В эту библиотеку я больше не вернулся, хотя стал читателем многих других, где были такие же карточки. Я не стыдился того, что я еврей, и не боялся сознаться в этом”. Почему же Ося не вернулся в библиотеку, где сказал неправду библиотекарше? Не потому ли, что стыдно было перед библиотекаршей? Нет, не потому. Хотя у Оси и было чувство стыда, но стыда совершенно иного рода. “Я стыдился, – говорит Бродский, – самого слова “еврей”, независимо от нюансов его содержания”.

А стыдился потому, объяснял профессор Бродский тридцать лет спустя, что в печатном русском языке слово “еврей” встречалось так же редко, как “средостение” или “соломя”. Слово “средостение” читатели, в большинстве своем, знают и помнят. А кто запамятовал, может справиться в словаре Ушакова. Что же до слова “соломя”, не только в современном толковом, но и в орфографическом словаре читатель не найдет его. “Соломя” – это “пролив” в северном диалекте русского языка, заимствовано из старофинского.

В словах “средостение” и “соломя” ничего зазорного, непристойного нет. А вот слово “еврей”, которое, по

наблюдениям Бродского, встречалось в послевоенном русском печатном языке не чаще помянутых двух слов, “по своему статусу близко к матерному слову или названию венерической болезни”. В чьем же словаре по статусу своему слово “еврей” было близко к матерному или к лексике, связанной с венерологией? Читатель, коли ему охота, пусть сам гоняет в поисках ответа по улицам Москвы, Питера и других российских городов, а Иосиф Бродский, для которого слово превыше всех ценностей, полученных человеком от Творца, подносит в готовом виде свою опоку со словом “еврей”: “У семилетнего словарь достаточен, чтобы ощутить редкость этого слова, и называть им себя крайне неприятно; оно почему-то оскорбляет чувство просодии. Помню, что мне всегда было проще со словом “жид”: оно явно оскорбительно, а потому бессмысленно, не отягощено нюансами”. Признаться, никак не возьму в толк, с какой стороны слово “еврей” могло оскорбить чувство просодии у еврея Бродского, при всей его недюжинной чувствительности к протяженности и ударности слогов в слове, в стихотворной строке, – хотя со словом “жид” по этой части никаких проблем у него не было. Семилетний Ося лгал и вполне отдавал себе отчет в том, что в словах его, сказанных библиотекарше, не было правды. И эпизод этот так запомнился, что тридцать лет спустя квалифицировался Бродским как начало подлинной истории собственного его сознания. Мальчик Ося, первоклассник, который отлично знал, что он еврей, предпочел, натянув на себя маску, прикинуться неосведомленным, а тридцать лет спустя поэт Бродский, профессор американского университета, манипулируя словом “еврей”, как рыжий на манеже, – который демонстрирует то искусство жонглера, то циркового иллюзиониста, престидижитатора, – напяливает на себя маски по роли, какая играется для уважаемого публикума в потешном номере цирковой программы. Наделенный редким по гамме артистическим талантом, Бродский обожал всякого рода травести, но не прибегал к примитивным приемам, связанным с переменой платья, а обходился маской, которая с годами настолько приросла к лицу, что не было уже никакой возможности отделить, отодрать ее от физии, полученной при рождении. Маска эта, однако, не походила своей статичностью на те, какие были в ходу в античном театре, с заранее заданным характерологическим рисунком, где пороки и добродетели были столь отчетливо обозначены, что последний зритель-простак распознавал их тотчас, едва они появлялись на сцене. Маска Оси – с годами Иосифа, Иосифа Александровича – сделана была из живой, органической ткани, способной меняться вместе с ее

хозяином, отвечая всякому извиву души, всякому фортелю мысли, которые строго подчинялись велениям своего хозяина в младые и юные годы – по большей части интуитивно, а в пору интеллектуальной и профессиональной зрелости – всегда, или почти всегда, с расчетом на конечный эффект, без которого актеру никак не обойтись на подмостках театра жизни в такой же мере, как и на специально приспособленных театральных подмостках».

Таким образом, на «специально приспособленных подмостках» Иосиф оказался один.

4 июня 1972 год.

Ленинград.

Аэропорт «Шоссейная» (в «Пулково» он будет переименован в 1973 году).

Иосиф в джинсах, вельветовом пиджаке и водолазке сидит верхом на чемодане, который стоит на ступенях здания аэровокзала (сегодня это Пулково-2).

Разумеется, курит.

Друг Бродского, искусствовед Михаил Исаевич Мильчик (1934 г.р.) фотографирует происходящее.

По громкой связи сообщают, что начинается регистрация билетов на рейс «Ленинград – Вена».

Это «хороший» рейс – через Будапешт. Но есть и «плохой» – через Восточный Берлин, здесь стыковка напоминает прохождение КПП ограниченного контингента советских войск в Германии.

Иосиф улыбается в объектив фотокамеры, и совершенно невозможно понять, что означает эта улыбка: то ли он действительно счастлив, что наконец начинается большое путешествие, о котором он мечтал всю жизнь, или, может быть, он улыбается, потому что не верит до конца в то, что все «здесь» уже позади, и что-нибудь все-таки должно произойти, чтобы прервать череду этих по сути фантастических событий.

Но нет, ничего не произойдет!

Даже досмотр личных вещей – того самого кожаного, перетянутого двумя ремнями чемодана (какие-то рукописи, личные вещи, бутылка водки), будет происходить быстро, корректно, как будто именно так всегда и досматривают личные вещи пассажиров так называемого «жидовоза» (это название рейса Ленинград – Вена и Москва – Вена было придумано самими

отъезжающими).

Пограничник с уважением осматривает чемодан, потому что сразу видит, что это хорошая и надежная вещь. А Иосиф с улыбкой осматривает пограничника, потому что понимает, что это настоящий советский пограничник – бравый, румяный, словно сошедший с полотна студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова.

Пограничник поправляет целлулоидный лакированный козырек (два пальца выше бровей, согласно Уставу внутренней службы), и убеждается в том, что ничего запрещенного к провозу, а именно записных книжек с советскими адресами, фотографий не членов семьи, а также документов в багаже отъезжающего на постоянное место жительства в Израиль Иосифа Александровича Бродского нет.

Вежливо возвращает чемодан владельцу.

Конечно, чемодан гордится этим – таким к себе уважением, и почти ощущает себя памятником чемодану советского репатрианта.

Сергей Довлатов: «Как выяснилось, мне хватило одного-единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Восемнадцать из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате – один чемодан. Причем, довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось?! Книги? Но, в основном, у меня были запрещенные книги. Которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено: “Младшая группа. Сережа Довлатов”. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал: “говночист”. Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лоллобриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лоллобриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил – кто это? Я ответил, что дальний родственник… я достал чемодан. И раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции,

торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше – поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними – вельветовая куртка на искусственном меху. Слева – зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И наконец – кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница “Правды” за май восьмидесятого года. Крупный заголовок гласил: “Великому учению – жить!”. В центре – портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата. И особенно – Маркса. Обыкновенную кляксу размазал – уже похоже… Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс. На крышке – Бродский. А между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал – неужели это все? И ответил – да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать – “От Маркса к Бродскому”. Или, допустим – “Что я нажил”. Или, скажем, просто – “Чемодан”».

А тем временем со всеми подобающими моменту воинскими почестями пограничник переносит чемодан Бродского на оформление багажа, где тетка в синем «аэрофлотовском» пиджаке взвешивает его и наклеивает на него многочисленные разноцветные бирки.

Пограничник (картинно):
Скажи, о дщерь Аида, что значит взгляд твой грозный,
неподкупный?
Тетка в синем пиджаке (с раздражением):
А то и значит, что в трудах влачатся дни мои!
Вот этот чемодан, к примеру, есть воплощенье
праздности и лени!
Пограничник:
Откуда информация сия?
Тетка в синем пиджаке:
Да легок он, не весит ни черта!
Он пуст, как жизнь его владельца, который
убегает из страны, его взрастившей.
Польстился он на радости Сиона, и нет ему прощенья
никогда!
Пограничник:

А мне вот жалко чемодан, добротный, сделанный из кожи. Когда-то был он украшением квартиры, вероятно, коммунальной.

А нынче что? Летит он в Вену,
где никто не сможет оценить его достоинств благородных.

Тетка в синем пиджаке:

Говночист!

Пограничник (в изумлении):

Кто?

Тетка в синем пиджаке (исподлобья смотря на Иосифа, который что-то записывает в блокноте):

Он знает, кто!

Иосиф (едва слышно):

Завтра начнётся то, что ещё вчера

осточертело, и сменою декораций

будет только саднить; видимо, мне пора

просто пройтись, уехать, исчезнуть, убраться

вон. Но в пустой тоске

мысль занимает рассудок, хотя какое

там!? Я всего лишь держу в руке

шариковое стило и почти спокоен.

По громкой связи сообщают, что заканчивается регистрация билетов на рейс «Ленинград – Вена».

Впоследствии Елена Довлатова (жена Сергея Донатовича Довлатова) скажет: «Вена была важным этапом в жизни бывшего советского человека, ставшего эмигрантом. Она была буферной зоной. Зачастую люди, решившиеся на отъезд со своей родины, только в Вене принимали окончательное решение о том, в какую часть света или в какую страну отправятся жить».

Бродский, однако, знал наверняка, куда лежит его путь.

И теперь, когда загорелся сигнал «пристегните ремни», стало окончательно ясно, что дверь в прошлое закрылась навсегда.

Борт дернулся и медленно покатился по рулёжке.

Конечно, все повторялось, все было как тогда в 66-м году в

машине, которая неслась по заснеженной дороге в Комарово.

Другое дело, что теперь Иосиф видел себя сидящим у иллюминатора, движение времени и пространства за которым все более и более ускорялось.

В оцепенении он смотрел на свое отражение в стекле.

Это тогда были красные глаза, всклокоченные волосы, полное отчаяния лицо.

Сейчас уже не так, сейчас по лицу скользят перьевые облака.

От этого невыносимого зрелища начинала кружиться голова, и отсюда с эшелона десять тысяч метров вдруг четко и громко начинал звучать голос поэта-изгнанника, поэта-демиурга:

«Уважаемый Леонид Ильич,

покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому. Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика – в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота – доброта. От зла, от гнева, от ненависти – пусть именуемых праведными – никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я

надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу Вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится».

Хор (состоящий из пограничников и теток в синих «аэрофлотовских» пиджаках) стоит на ступнях аэровокзала и поёт:

Скатертью дорога!

Скатертью дорога!

Скатертью дорога…

Эписодий Шестнадцатый

Александр Иванович Бродский лежит на огромной двуспальной кровати, которую еще в 1935 году купила Мария Моисеевна.

Он подложил руки под голову и смотрит в потолок, украшенный гипсовой лепниной в мавританском стиле, испещренный трещинами и разводами от протечек соседей сверху.

Потолок напоминает карту.

Стало быть, получается, что сейчас он вознесся высоко над землей и с высоты птичьего полета или даже с высоты полета авиалайнера Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот» наблюдает за материками и водными пространствами.

Улыбается этому своему предположению.

Как, однако же, все оказывается просто, когда вот так – просто лежишь на кровати, смотришь в потолок и оказываешься над суетой вне времени и пространства.

Вполне возможно, что нечто подобное ощущал и Иосиф, когда летел на высоте десять тысяч метров сначала над территорией СССР, а потом и над Европой, когда зачитывал в уме письмо генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Леониду Ильичу Брежневу, когда пытался справиться с волнением и уверить себя, что все, к чему он так долго шел, наконец, свершалось.

А меж тем самолет начинал снижение и входил в густую облачность.

Александр Иванович специально не выключил телевизор в тот вечер, чтобы дождаться прогноза погоды, а, вернее, не это унылое и по своей сути абсолютно бессмысленное перечисление

цифр и фигур речи, но полюбившуюся ему мелодию «Manchester et Liverpool».

Французская певица и актриса Мари Лафоре исполняет песню «Manchester et Liverpool» перед окном, по которому стекают капли дождя.

Лицо ее печально, и кажется, что из ее глаз текут слезы.

Вот и в Ленинграде сейчас дождь.

Самолет вываливается из низкой облачности, описывает дугу и начинает заходить на посадку, а по иллюминатору почти параллельно приближающейся земле рвутся потоки воды.

И в Вене тоже дождь.

Стало быть, все получается так, как и мыслилось – наступило завтра, которое «еще вчера осточертело». Точно такой же питерский моросящий дождь и пасмурное небо, хотя было бы наивно и даже глупо думать, что здесь всегда светит солнце.

Совпадение и несовпадение желаемого и действительного.

Формула, которая имеет два варианта решения: или приводит к разочарованию и унынию, или, напротив, рождает ощущение счастья.

События, с которых началось пребывание Иосифа в транзитной зоне венского аэропорта Швехат, поставили под сомнение второй вариант в принципе.

Как уже было сказано выше, Вена являлась стыковочным узлом для советских иммигрантов так называемой «еврейской волны». Именно здесь на уровне окончательного визового обеспечения принималось решение, куда продолжит путь прибывший из СССР репатриант – в Израиль или в США.

Понятно, что очередь желавших отбыть за океан в разы превышала ряды тех, кто стремился вернуться на родину предков.

В транзитной зоне Вена-Швехат стало известно, что американская сторона не разрешает въезд в страну г-ну Бродскому, потому как располагает информацией о том, что он склонял к фиктивному браку гражданку США Кэрол Аншютц, что по законам страны является уголовно наказуемым преступлением.

Стало быть, имея на руках въездную израильскую визу за № 22894/71, Иосиф должен был проследовать на рейс Вена – Тель-Авив.

Для Бродского такой поворот событий стал настоящим потрясением.

Интересно заметить, что в Израиле Иосиф так никогда и не побывал, хотя всегда интересовался библейской проблематикой (что отражено в его творчестве), много путешествовал по миру, но почему-то подсознательно противился поездке в Землю

обетованную.

Как, впрочем, так и не посетил город своего детства и юности.

Вполне вероятно, что просто не мог осознать себя внутри того человека, которого уже давно нет, боялся умереть раньше времени, не доделав всех своих дел.

Однако именно здесь и сейчас, в Вене, он непреложно осознал нечто другое, о чем в Ленинграде и не догадывался.

Первое: американские спецслужбы, занимавшиеся «ведением» Бродского, по уровню казуистики ничем не отличались от советских спецслужб, с которыми находились в профессиональном контакте.

Второе: выезд в Израиль рассматривался как иммиграция по остаточному принципу, когда тот или иной репатриант являлся нежелательной персоной на территории США, а, следовательно, был (выезд в Израиль) своего рода наказанием и попранием свободы. И, наконец, третье: без участия высокопоставленных «игроков» с американской стороны разрешить данную коллизию было невозможно.

На помощь Бродскому пришли Карл Проффер и Строуб Тэлботт.

Карл Рей Проффер (1938–1984) – славист, переводчик, издатель, доктор философии, профессор Мичиганского университета, основатель издательства «Ардис». Впоследствии Бродский скажет о Проффере: «Он вернул русской литературе непрерывность развития и тем самым восстановил её достоинство… То, что Карл Проффер сделал для русской литературы XX века, сопоставимо с Гутенберговым изобретением, потому что Проффер заново открыл печать. Публикуя по-русски и по-английски книги, которым суждено было никогда не увидеть черноту типографской краски, он спас многочисленных русских писателей и поэтов от забвения, от искажения их слова, от нервной болезни и отчаяния. Более того, он изменил сам климат русской литературы… сделал для русской литературы то, что сами русские хотели сделать, но не могли».

Строуб Тэлботт (1946 г.р.) – американский дипломат, политолог, заместитель Госсекретаря США (1994–2001) по вопросам России и стран СНГ, президент Брукингского института в Вашингтоне. На момент нахождения Бродского в Вене – корреспондент журнала Time. Из интервью Тэлботта: «У меня

были друзья в американском дипломатическом корпусе, с которыми я общался, так как они проявляли интерес к России. Я сказал им, что Бродскому нужно помочь, он украсит американскую литературу. Соединенные Штаты должны оказать ему любую возможную помощь».

Мы не располагаем информацией о том, каким именно образом Соединенные Штаты в течение месяца (Вену с американской визой Иосиф покинул в июле) оказывали поэту эту самую «любую возможную помощь». Хотя, как думается, это не так важно, потому что, по воспоминаниям самого Бродского, в его жизни наконец совершился радикальный поворот, и ленинградские мечтания, они же поэтические фантазии, начали сбываться. Дипломатическая же рутина и торговля спецслужб находились где-то на периферии его сознания.

Иосиф Бродский: «В июне 1972 года. Когда я приземлился в Вене, меня там встретил американский издатель Карл Проффер, мой приятель. Я знал, что Оден проводит лето в Австрии, вот и попросил Проффера – нельзя ли его разыскать? Прилетел я в Вену 4 июня, а 6 или 7 мы сели в машину и отправились на поиски этого самого Кирхштеттена в северной Австрии, где Оден жил (в Австрии этих Кирхштеттенов три). Наконец, нашли нужный Кирхштеттен, подъехали к дому; экономка нас погнала, сказав, что Одена дома нет (собственно, погнала Карла, потому что я по-немецки ни в зуб ногой). И мы уж совсем собрались уходить, как вдруг я увидел, что по склону холма подымается плотный человек в красной рубахе и подтяжках. Под мышкой он нес связку книг, в руке пиджак. Он шел с поезда – приехал из Вены, накупив там книг… В первый же день, когда мы сели с ним в этом самом Кирхштеттене и завелись разговаривать, я принялся его допрашивать. Это было такое длинное интервью на тему: что он думает о разных англоязычных поэтах. В ответ Оден выдавал мне (с некоторой неохотой) довольно точные формулировки, которые и по сей день для меня – ну, не то чтобы закон, но все же нечто, что следует принимать во внимание… Говорил, что единственный русский писатель, к которому он хорошо относится, это Чехов. Еще, помню, Оден заметил, что с Достоевским он не мог бы жить под одной крышей; такое нормальное английское выражение. Да? Кстати, Оден написал вполне одобрительную рецензию на том Константина Леонтьева, переведенный на английский… Он пытался организовать, устроить все мои дела. Добыл для меня тысячу долларов от American Academy of Poets, так что на первое время у меня были деньги. Он пекся обо мне как курица о своем

цыпленке. Мне колоссально повезло. И кончилось это тем, что через две недели после моего приезда в Австрию мы сели в самолет и вместе полетели в Лондон, на фестиваль “Poetry International”, где мы вместе выступали».

Меж тем в результате совместных усилий Карла Проффера, гарантировавшего предоставление работы Иосифу в Мичигане, и Строуба Тэлботта, подключившего к освещению конфликта CBS TV, США все-таки одобрили въезд Бродского в страну, и уже в начале июля 1972 года он оказался в городке Анн-Арбор округа Уоштено штата Мичиган, что расположен в 56 километрах к западу от Детройта.

Здесь находился кампус Мичиганского университета, где и предстояло преподавать Иосифу.

Семья Карла и Эллендеи Проффер полностью приняла на себя попечение русского поэта-иммигранта, словно это был их близкий и любимый родственник, предоставив ему жилье и оказав непосредственную помощь с устройством на работу.

Для 32-летнего иммигранта из СССР, впервые оказавшегося в Америке, здесь все было необычно и умопомрачительно, в это было трудно поверить, но это была правда, реальная жизнь, которой надо было научиться жить.

Из поэтического послания Иосифа Бродского переводчику Виктору Голышеву:

Когда бы уложить я мог

Америку в два русских слога,

Я просто написал бы: МНОГО.

Всего – людей, автодорог,

стиральных порошков, жилья,

щитов с летящим «Кока-Кола»,

скайскрэперов, другого пола,

шмотья, истерики, жулья.

От этого в глазах рябит.

Тут нет смиряющего ГОСТа.

Когда несешься по Девяносто

Четвертой Интерстэйт на speed

под восемьдесят пять – миль в час

(вовек мы, рашенс, не усвоим

эквивалент), а справа с воем

летит междугородний bus,

а слева трейлер волокёт,

вихляясь, новенькие кары

в три яруса, и всюду фары,

а сзади, наседая, прет

рефрижератор, и нельзя

прибавить: перед носом жопа

газгольдера, и – брат потопа —

дождь лупит по стеклу…

А вот все-таки и в Мичигане тоже дождь.

Видимо, он преследует человека, приехавшего из Ленинграда.

То же самое, надо думать, происходит и с коренными лондонцами…

Дослушав «Manchester et Liverpool» до конца, Александр Иванович встает с кровати, выключает телевизор и подходит к столу, за которым работал Иосиф. Впрочем, он всегда не вполне считал то, чем занимался его сын, работой. Неоднократно говорил ему, что лучше было бы все-таки найти себе настоящую работу, с фиксированной зарплатой, ежеквартальными премиями, социальными гарантиями, потому что стихи приносят только несчастье, а денег так и вообще не приносят.

Это подобно тому, как Иван Павлович Ювачёв, вознося указательный палец к небесам, говорил своему сыну – «до тех пор, пока ты будешь Хармс, ты будешь несчастен».

Александр Иванович садится к столу, на котором отпечатались черные резиновые наконечники ножек пишущей машинки Иосифа.

И в это же самое время в доме Профферов в Анн-Арборе Бродский тоже садится к столу.

Нет, попытка повторить свой питерский закут в полутора комнатах или «рабочий кабинет» в Норинской здесь даже и не предпринималась, хотя, конечно, кое-какие детали узнаются сразу.

Пишущая машинка.

Портрет отца в кителе.

Двойной портрет матери и отца в рамке под стеклом.

Портрет Уистена Хью Одена.

Початая бутылка Johnnie Walker (хотя варианты возможны).

Блокноты (в одном из них мы узнаем тот самый, в который Иосиф что-то записывал во время оформления багажа в Ленинграде).

Настольная лампа в викторианском стиле.

Радиоприемник Sony.

Бюст Пушкина.

Сборники американской поэзии.

Разбросанные в беспорядке черновики.

Иосиф обводит взором все эти предметы.

Вставляет в машинку лист бумаги:

Пора. Я готов начать.

Не важно, с чего. Открыть

рот. Я могу молчать.

Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.

Или же – ничего.

Или же о вещах.

О вещах, а не о

людях. Они умрут.

Все. Я тоже умру.

Это бесплодный труд.

Как писать на ветру.

Кровь моя холодна.

Холод ее лютей

реки, промерзшей до дна.

Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.

Лицами их привит

к жизни какой-то непокидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,

что противно уму.

Что выражает лесть

неизвестно кому…

Спустя три года в этой же комнате в доме Профферов поселится еще один русский писатель, чье сочинение «Школа для дураков» высоко оценил сам Набоков, что уже само по себе было

событием невероятным.

Он будет сидеть за этим же столом, вот разве что предметы, его окружающие, будут совсем иными. То есть, их почти не будет – никаких фотографий pour memoire, никаких книг и электрических приборов, только записные книжки, аккуратно сложенные в стопку, и стакан с карандашами.

Говорят, что таким же образом, с помощью блокнота и карандаша, с вечностью разговаривал и великий Ингмар Бергман.

Эпод (заключение) Шестнадцатого Эписодия

Произносится хором неподвижно. Также может рассматриваться как «Deus ex machina» – неожиданный и нарочитый поворот событий, для придания предшествующей главе дополнительного смысла. В данном случае носит авторский характер.

Саша Соколов (Александр Всеволодович Соколов (1943 г.р.) – прозаик, эссеист, автор «Школы для дураков», «Между собакой и волком», «Палисандрии», «Триптиха»).

Он подобен кустодии, той самой страже при Вратах Иерусалимского Храма, надменен, пунктуален, немногословен, всем видом своим призывает к смирению. Он предваряет части, или эписодии, текста, содержит краткое их описание, а также эпиграф, он же – посвящение, впрочем, порой и овеваем тончайшей папиросной бумагой. И вот, щелкнув каблуками, рекомендуется по-армейски кратко и по-прусски четко, презрительно сжав при этом губы: «Шмуцтитул, от немецкого Schmutztitel». Опять же отмечает дни служения грифелем на деревянной доске, хронометрирует некоторым образом, «пе-ре-чис-ля-ет».

Например:

– Тысяча девятьсот девяностый год от Рождества Христова.

Весьма убогого обличия печатный продукт – горчичного оттенка дешевая газетная бумага, подслеповатый шрифт, рассохшийся до состояния янтарной пыли типографский клей.

Это, соответственно, «минусы»!

Но не без «плюсов», к которым следует отнести твердую глянцевую обложку и немыслимый тираж в 75 000 экземпляров, отпечатанный в Твери, скорее всего по инерции, агонизирующей советской книгоиздательской индустрией.

Шмуцтитул абсолютно пустынен и угрюм, чем-то даже и напоминает бетонный забор где-нибудь в предместьях Коптева или Тимирязевского парка.

Более того, вызывает раздражение своей претенциозной нищетой, рискует быть употребленным по не имеющей к изящной словесности надобности, если бы не одно краткое, почти нечитаемое посвящение, вынесенное в правый верхний угол: «Слабоумному мальчику Вите Пляскину, моему приятелю и соседу».

Вялотекущая шизофрения.

Раздвоение личности.

Богатое воображение, к услугам которого мы и прибегнем, чтобы переместить события из 1990 года в 2007.

Ну что сказать – шмуцтитул встречает нас так, будто эти самые годы и не пролетели! Разве что изрядно обветшал, но не потерял своего худородного достоинства.

Итак, что же произошло осенью 2007 года?

Саша Соколов неожиданно оказался в Коктебеле.

«Изрядно!» – иначе и не скажешь.

Впрочем, нет, можно сказать словами Якова Борисовича Княжнина (1740–1791):

– Был бы гвардии он завтра ж капитан.

– Того не надобно; пусть в армии послужит.

– Изрядно сказано! Пускай его потужит…

Да кто ж его отец?

Отец – Всеволод Соколов – разведчик.

Мать – Лидия Соколова – разведчица.

«Пускай его потужит!» – воистину.

Квартировал в доме бывшего СМОГиста поэта Владимира Алейникова (1946 г.р.), видимо, по старой дружбе.

Пауза обещала стать МХАТовской – Саша долго не появлялся.

Единственным известным на тот момент фотографическим изображением автора «Школы для дураков» был знаменитый «квадрат» Валерия Федоровича Плотникова, на котором Соколов, будучи облаченным в старого образца австрийскую шинель с отстегнутыми погонами, неотрывно смотрел в объектив фотокамеры.

Взгляд этот навевал ощущение запредельного.

При взгляде на эту карточку конца 80-х, неоднократно предпринималась попытка понять, что же это на самом деле за человек – курит трубку, носит шляпу, увлекается игрой в шахматы, немногословен, предпочитает дорогой французский коньяк и кофе, в меру учтив и абсолютно закрыт, надменен, само собой?

Вот разве что старорежимная австрийская шинель входила в этот ребус с каким-то своим особым смыслом, или не входила вообще!

О надменности.

Это столь необходимое каждому великому русскому писателю качество было унаследовано Соколовым от бабушки Антонины Александровны, той самой, которой, по словам Саши, был посвящен в годы оны знаменитый романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду…».

Далее по тексту: «Как и всякая уважающая себя полька бабушка была жестокосердна, много курила, читала французские романы и любила только меня – своего внука. Остальных же детей она не любила, потому что они были слишком шумные».

Наконец в комнату вошел Соколов.

Сделал это бесшумно, улыбнулся, поздоровался весьма сдержанно, отхлебнул из огромной туристического назначения кружки, как тогда могло ошибочно показаться, чай, завел разговор о синематографе, на который я реагировал как-то вяло и не вполне умело, видимо, не имея на тот момент никакой возможности избавиться от навязчивого образа проклятой австрийской шинели с оторванными или отстегнутыми погонами.

Однако вопрос о необходимости сценария и его роли в кинопроизводстве меня отрезвил.

Прекрасно отдавая себе отчет в том, что подобный ответ имеет все возможности завершить наше знакомство (ведь я приехал снимать Саше кино), изрек что-то типа:

– Думаю, что в документальном кино сценарий вообще не нужен, а в игровом только как официальная бумага для дающих деньги на производство.

Саша вышел из комнаты – как впоследствии выяснилось, для пополнения содержимого своей кружки – и по возвращении произнес фразу, во многом все расставившую на свои места:

– Это очень хорошо, что нет никакого сценария!

Лишь несколько дней спустя, когда мы поставили камеру в Тихой бухте и начали съемку, Соколов пояснил:

«Сюжет – меня эта сторона литературы никогда не увлекала. Сюжет – это надуманная вещь, сюжет – это на продажу. Для меня важно, как работает язык, этот своего рода лингвистический танец. Если бы я родился в другое время, в другом месте, в другой семье, я бы стал композитором, потому что язык одна из форм музыки. И, наконец, все зависит от состояния, ноты…»

Стало быть, речь идет о поиске состояния, в котором не может быть ничего заданного, в котором все возникает из ниоткуда или не возникает вообще.

В этом смысле, как думается, литература необычайно близка к неигровому кино, когда сценарная заданность оказывается данью формату и, соответственно, не может звучать. Саша

поднимается на гору Клементьева и слушает, как на теплом октябрьском ветру звучит, точнее сказать, скрипит планер, установленный здесь в память о покорителях Коктебельского неба.

Садится на облупившийся бетонный постамент, закуривает.

Состояние найдено?

Не исключено; другое дело, в какую форму оно должно быть облечено?

Например, в форму воспоминания, предполагающего традиционное в данном случае предуведомление типа:

«Впервые в Коктебель привезли родители, неизбежное участие в фанатичном сборе сердоликов в Лягушачьей бухте и походах на Кара-Даг с местного производства кислым вином, голые ночные купания, посещения летнего кинотеатра в Литфонде и, вероятно, тогда же родившийся замысел пересечь Черное море на надувной лодке». Теперь это Черное море можно наблюдать с высоты горы Планеристов (она же Клементьева) и пересекать его взглядом неоднократно.

Мысленно пересекать: «С чего все начинается? Начинается все конечно же с какого-то звука. Далее необходимо сделать сочетание звуков. Главное же интонация! У меня нет иногда первой фразы, но есть слова, из которых выстраивается целый ряд. Если же я ощущаю какую-то тупиковую ситуацию, то я ложусь спать на пять минут, и когда я просыпаюсь, то решение бывает найдено».

После дневного сна решение было найдено интуитивно, и мы отправились в пионерлагерь, расположенный в распадке между Тепсенем и подошвой Сюрю-Кая.

Тут, разместившись в амфитеатре, составленном из густо выкрашенных масляной краской скамеек, и обсудив местное предание о том, что где-то здесь, в предгорьях Кара-Дага, находится настоящая могила Александра Пушкина (Лермонтов-то, само собой, похоронен на Кавказе), Соколов приступил к чтению главы первой «Школы для дураков».

«Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно, начни словами: там, на пристанционном пруду. На пристанционном? Но это неверно, стилистическая ошибка…»

Воображение незамедлительно рисует некую станцию – весьма унылую, выжженную солнцем, полупустую, само собой, пропахшую креозотом и самсой, которую тут же продают чистоплотные крымские татары. Поймав интонацию, Саша предлагает продолжить съемки на железнодорожном вокзале Феодосии, куда он прибыл еще из Киева, так как пробирался в Коктебель через Украину. Услугами авиационного сообщения

принципиально не пользуется.

Итак, тут нет пристанционного пруда, но есть сувенирные ларьки, в которых можно встретить запаянного в целлофан циклопических размеров краба и рыбу-ежа, напоминающую гигантский репейник, а еще на этой станции играет духовой оркестр местной феодосийской милиции.

Саша продолжает читать: «Хорошо, тогда я так и начну: там, на околостанционном пруду. Минутку, а станция, сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию, какая была станция, какая платформа: деревянная или бетонированная, какие дома стояли рядом, вероятно, ты запомнил их цвет или, возможно, ты знаешь людей, которые жили в тех домах на той станции?»

Попытаемся смонтировать эти сменяющие друг друга планы, представив их поэпизодно.

Эпизод первый – в кадре возникает один из обитателей станции Феодосия, который сначала пытается дирижировать духовым оркестром; а затем весьма нетвердой походкой подходит к Соколову и просит у него закурить.

Эпизод второй – мальчик лет пяти-шести долго и задумчиво смотрит в камеру, взгляд его ничего не выражает, что и дает возможность предположить, что это и есть Витя Пляскин.

Эпизод третий – Саша эмоционально разговаривает по мобильному телефону, чем привлекает к себе внимание местных жителей, столпившихся у подножия памятника Сергею Мироновичу Кирову.

Эпизод четвертый – Саша стоит у дороги, по которой вереницей проезжают велосипедисты. Они танцуют на седлах, с трудом ломают передачи, а их улыбающиеся лица озаряет красное закатное солнце…

В тот день в Коктебель мы вернулись затемно.

Собрались на кухне.

Холодильник не предвещал ничего хорошего, предвещал – морозильник.

Тема Бродского тогда возникла кто-то сама собой.

Вернее, к Иосифу перешли после воспоминаний Соколова о дяде Сереже Довлатове, воспоминаний, кстати, очень теплых, что при его сдержанности, а также известной холодности было удивительно.

– Нет, с Бродскими не дружил.

– Почему?

– Не о чем разговаривать, о чем можно разговаривать с человеком, который в своей жизни не дочитал до конца ни одного романа!

– Неужели! Ведь в Штатах Бродский по сути «рулил» всей

русской эмигрантской литературой!

– Одно другое не отменяет.

– Ты (мы перешли на «ты») обиделся на него за то, что он не напечатал твою «Школу» и перепутал тебя с Марамзиным?

– Нет, – вот она набоковская надменность и безразличный взгляд, устремленный мимо собеседника, – это нормальный ход, питерская мафия – она такая. Ленинградцы в эмиграции всегда были очень активны, казалось, что их больше, чем на самом деле… Я ему почему-то не понравился. Думаю, есть две причины – во-первых, я был не из Ленинграда; во-вторых, я шел точно по его стопам – с разрывом в три года. Этот разрыв как раз соответствовал разнице в возрасте. Я стал жить в его бывшей комнате… Меня тоже чудесно встретили, тоже устроили учительствовать в колледж, была такая же пресса.

– Тебе не нравятся его стихи?

– Ну почему же, мне нравится музыка его ранних стихов.

На следующий день мы просто гуляли по пустынному Коктебелю.

На набережной из динамика, привинченного к фонарному столбу, доносится – «уходи, дверь закрой, у меня теперь другой, мне не нужен больше твой номер в книжке записной».

Саша останавливается:

– Закрой, другой, твой, записной… недурно, стихи, однако!

Без камеры.

На тот момент стало очевидно, что количество отснятых планов полностью соответствует спонтанно возникшему настроению.

Снимать впрок – значит нарушить естественность и непринужденность общения, значит заставлять героя делать то, к чему он не готов, что для него будет противоестественным на данный момент, а это абсолютно недопустимо в документальном кино.

Что же тогда делать?

Ждать.

И я дождался, хотя тогда замысла настойчиво дожидаться чего-либо не было.

Просто так сложилось. И уже в конце нашей прогулки Саша сказал, что хотел бы прочитать свой новый текст.

Представим себе такую мизансцену – пустая комната, на журнальном столике стоит ваза с воткнутым в нее букетом пожухлых цветов. Интерьер вполне соответствует интерьеру комнаты в доме Профферов, где сначала жил Иосиф, а потом Саша.

Соколов появляется на фоне совершенно безликой, так

напоминающей шмуцтитул стены и остается один на один с камерой и своим текстом.

Голос его вырастает откуда-то из ветра, что гонит облака над Святой горой, из прибоя, из шелеста сухостоя, из пустоты коктебельского пляжа, типа того…

«Типа того что, мол, как-то там, что ли, так…

Что по сути-то этак.

Таким приблизительно образом. Потому-то и потому-то.

Иными словами, более или менее обстоятельно, пусть и не слишком подробно. Подробности, как известно, письмом, в данном случае списком, особым списком для чтения в ходе общей беседы…»

Чтение длится ровно семнадцать минут.

Во время просмотра этой сцены в кинозале часть зрителей встает и со словами: «Это издевательство какое-то…» – выходит из зала, другая же, напротив, – встречает окончание чтения аплодисментами.

Потом наступает тишина.

Перед отъездом из Коктебеля я показал Саше ту самую, 1990 года выпуска, «Школу для дураков».

И на сей раз шмуцтитул был облачен в австрийскую, периода взятия Перемышля, наглухо застегнутую на все пуговицы шинель без погон. Уже давно лишен чина и звания, оставлен здесь быть привратником, озадачен блюсти, выступать в роли соглядатая. Подносит ладонь к выцветшему, желтушного оттенка лицу и складывает ее над глазами наподобие козырька.

Отсюда, с высоты горы Клементьева (она же Планеристов), можно подолгу смотреть на море.

В одном из своих писем Соколов сообщил, что намерен приобрести двухместную байдарку – для того чтобы все-таки переплыть его.

Осуществить задуманное еще в годы юности.

Иосиф отодвигает печатную машинку.

Нет, сегодня что-то не складывается.

Подходит к окну, закуривает.

Видит, как мимо дома Профферов медленно проезжает полицейский Ford Galaxie, в котором сидит кустодия, стража при Вратах Иерусалимского Храма.

Эписодий Семнадцатый

«Беззащитен оказался Бродский против издёрганности нашего века: повторил её и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить. (А ведь до какой бы хаотичности ни

усложнялся нынешний мир – человеческое созданье всё равно имеет возможность сохраниться хоть на один порядок да выше)… Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике – это человеческой простоты и душевной доступности. От поэзии его стихи переходят в интеллектуально-риторическую гимнастику. Этот эффект усиливается от столь же устойчивого, сквозного мировосприятия автора: он смотрит на мир мало сказать со снисходительностью – с брезгливостью к бытию, с какой-то гримасой неприязни, нелюбви к существующему, а иногда и отвращения к нему… Не удивительно, что сильнейшую встряску испытал Бродский, в его 24 года, от судебно-ссыльных испытаний. Впечатления эти он выразил в преувеличенно грозных стихах… Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломлённым городским студентом угодив в лошадиный обоз, испытал сходное – и уже втягивал как радость. Думаю: поживи Бродский в ссылке подольше – та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться. Но его вскоре помиловали, вернулся он в родной город, деревенские восприятия никак не удержались в нём. Мировая слава Бродского вокруг его судебного процесса поначалу сильно перешагнула известность его стихов. И, по-видимому, произвела сильное впечатление на самого поэта. На процессе защищав, по сути, лишь свой поздний тезис, что «искусство есть форма частного предпринимательства», он позже, в успехе, отклонился от верной самооценки. Ему начало мниться, что он провёл гигантскую борьбу с коммунистическим режимом, нанёс ему страшные удары, он сравнивает себя с Тезеем, победителем Минотавра… После нескольких лет запретной цензуры и, вероятно, растущего раздражения, Бродский эмигрировал. И так получилось, что, выросши в своеобразном ленинградском интеллигентском круге, обширной русской почвы Бродский почти не коснулся. Да и весь дух его – интернациональный, у него отприродная многосторонняя космополитическая преемственность… В угоду сложной форме строф Бродский увлекается многоречием до захлёба, бывает вынужден разжижать текст, наполнять иные строфы вставными сторонними или банальными, а то и пустыми строками, только отвлекающими наше внимание… Принятая Бродским снобистская поза диктует ему строить свой стиль на резких диссонансах и насмешке, на вызывающих стыках разностильностей, даже и без оправданной цели… Тормошение Времени и Пространства ещё не создаёт метафизической поэзии. (Ещё: из-за своего ли высокого внимания к Пространству, Бродский не раз и не два

злоупотребительно теребит имена Эвклида и Лобачевского, притом без смысловой точности и глубины)».

Эти слова принадлежат высланному из СССР по статье «измена родине» (публикация в издательстве ИМКА-Пресс романа «Архипелаг ГУЛАГ») в феврале 1974 года Александру Исаевичу Солженицыну.

Было бы большим заблуждением комментировать этот пассаж хотя бы по той причине, что речь в данном случае идет вовсе не о литературных недостатках (достоинствах) Бродского-поэта, а о ментальном и экзистенциальном несовпадении двух ключевых фигур русской литературной эмиграции 70–80-х годов XX века.

Это несовпадение, по своей сути неизбывно, ведь слишком многое лежит в его основе – воспитание, образование, круг общения, место проживания, чтобы пытаться его разрешить (примирить) или хотя бы комментировать.

Это данность.

Думается, что мы имеем дело с извечным и, увы, неразрешимым спором между «западниками» и «славянофилами», между русскими европейцами и державниками-почвенниками, которые как в пределах отечества, так и за его пределами категорически не принимали друг друга.

Читаем у И.А. Бродского: «Если поднести микрофон Солженицыну, он выложит тебе всю свою философию. Думаю, что это колоссальный моветон. Дело писателя – создавать художественную литературу для развлечения общественности. Писатель может вторгаться в государственную политику только до той степени, до которой политика государства вторгается в сферу его профессиональной деятельности. Если государство начинает тебе диктовать, что ты должен писать, – можешь на него огрызнуться. Не исключено, что мое отношение к этой проблеме определяется тем, что я пишу стихи. Если бы я писал прозу, возможно, я рассуждал бы иначе. Не знаю. То, что говорит Солженицын, – монструозная бредятина. Как политик он полный нуль. Обычная демагогия, только минус изменен на плюс… Что касается языка Солженицына, могу сказать лишь одно: это не русский язык, а славянский. Впрочем, это старая история… Как каждый знаменитый писатель, он слышал, что у такого писателя должен быть собственный стиль. Что выделяло его в 1960–70-х годах? Не язык, а фабула его произведений. Но когда он стал великим писателем, он понял, что ему должна быть присуща своя собственная литературная манера. У него ее не было, и он поставил задачу ее создать. Стал использовать словарь Даля. Хуже того, когда он писал “Красное колесо”, он узнал, что уже был подобный писатель, Джон Дос-Пассос. Предполагаю, что

Солженицын его никогда не читал – если и читал, то в переводах. Что сделал Солженицын. Позаимствовал у Дос Пассоса принцип “киноглаза”. А чтобы кража не бросалась в глаза, стал излагать тексты, в которых он применял этот принцип, размером гекзаметра. Вот все, что я могу тебе сказать о языке Солженицына… Солженицын не понимал и не понимает одной простой вещи. Он думал, что имеет дело с коммунизмом, с политической доктриной. Не понимал, что имеет дело с человеком… Это русская провинциальная тенденция во всем, что происходит, во всяком страшном опыте видеть руку Провидения».

Разумеется, предложенные выше цитаты являются лишь вершиной того айсберга, который на протяжении последних десятилетий (на момент полемики Бродского и Солженицына) двигался по водам Атлантики от Нормандии и Ла-Рошели до Нью-Йорка и Филадельфии (и обратно).

И не то чтобы раскол внутри русского эмигрантского сообщества был спровоцирован вездесущей «конторой» (разумеется, среди взаимных обвинений наших новых «западников» и «славянофилов» первое место занимало обвинение в сотрудничестве с КГБ, и не всегда беспочвенно).

Просто широта мировидения русского человека (кстати, именно эту «широту» и предлагал сузить Федор Михайлович) предполагала лишь крайние формы своего проявления, русский центрист был или незаметен, или слишком робок, или, в конце концов, приравнивался к предателю и приспособленцу. Это был (и остается по сей день) своего рода нравственный перфекционизм – максимально громкий, даже крикливый, ориентированный в первую очередь на пассионариев, на харизматические личности, но при этом абсолютно зависимый от объективных обстоятельств и потому беззащитный при всей своей внешней браваде.

Иосиф Бродский: «На протяжении этого столетия русскому человеку выпало такое, чего ни одному народу (ну, может быть, китайцам досталось больше) не выпадало… Мы увидели абсолютно голую, буквально голую основу жизни. Нас раздели и разули, и выставили на колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого не должна быть ирония. Результатом должно быть взаимное сострадание. И этого я не вижу. Не вижу этого ни в политической жизни, ни в культуре. Это тем горше, когда касается культуры, потому что в общем-то самый главный человек в обществе – остроумный и извивающийся».

Интересно, что в данном случае Иосиф говорит о самом себе, полностью признавая болезненное раздвоение собственного сознания: с одной стороны, страдающий, сопереживающий художник, а с другой, – поэт – участник трагифарса, где у каждого своя маска, причем уже давно приросшая к лицу.

Так, например, Бродский помогал Сергею Довлатову, Юзу Алешковскому, Эдуарду Лимонову, связывая их с издателями и снабжая рекомендательными письмами. При этом он не принимал Сашу Соколова и Василия Аксенова, хотя идеологически они были очень близки, в то же время пикировался с Солженицыным, с которым идеологически они находились на разных планетах. И одновременно в ответ на поддержу получал от Эдички обвинения в шарлатанстве и буржуазности.

Читаем у Лимонова: «Изгнание Бродского – это изгнание импозантное, шикарное, декадентское, изгнание для людей со средствами. Географически – это Венеция, это Рим, это Лондон, это музеи, храмы и улицы европейских столиц. Это хорошие отели, из окон которых видна не облупленная стена в Нью-Джерси, но Венецианская лагуна. Единственному из сотен эмигрировавших русских поэтов Бродскому удается поддерживать уровень жизни, позволяющий размышлять, путешествовать и, если уж злиться, то на мироздание. Стихи Бродского предназначены для того, чтобы по ним защищали докторские диссертации конформисты славянских департаментов американских университетов. Автора же таких стихов следует выбирать во многие академии, что и происходит, и, в конце концов, с помощью еврейской интеллектуальной элиты города Нью-Йорка, с восторгом принявшей русскоязычного поэта в свои, я уверен, Иосиф Александрович Бродский получит премию имени изобретателя динамита… Одно время я очень завидовал его благополучию».

Писательские склоки, которые Иосиф презирал еще в Союзе, оказались (как и русский язык) выше государственных границ и политических барьеров.

Ровно, как и в Ленинградском отделении СП, в Нью-Йорке и Энн-Арборе, Париже и Мюнхене шла борьба за публикации и гонорары, за выступления и кафедры, иначе говоря, за «место под солнцем». А советский неистребимый менталитет, помноженный на твердокаменный ригоризм русской эмиграции «первой волны» и западную щепетильность, стал жирным удобрением для возникновения новой литературной номенклатуры на местах,

когда Бродский и Максимов (журнал «Континент»), Морозов и Струве (издательство ИМКА-Пресс), Иловайская-Альберти (газета «Русская мысль») и Солженицын принимали решение, кто будет напечатан, а кто нет.

Хотя сама по себе ситуация была вполне узнаваемой и даже естественной, ведь кто-то должен был управлять литературным процессом – привечать или отсеивать авторов, обнадеживать или, напротив, уничтожать, выступать в роли А.А. Прокофьева и Д.А. Гранина, С.В. Михалкова и А.Т. Твардовского, М. А. Дудина и К.А. Федина.

Генерал! Мне все надоело. Мне

скучен крестовый поход. Мне скучен

вид застывших в моем окне

гор, перелесков, речных излучин.

Плохо, ежели мир вовне

изучен тем, кто внутри измучен.

Генерал! Я не думаю, что ряды

ваши покинув, я их ослаблю.

В этом не будет большой беды:

я не солист, но я чужд ансамблю.

Вынув мундштук из своей дуды,

жгу свой мундир и ломаю саблю…

Поломка сабли приравнивается к дезертирству.

Если из горна изъять мундштук, то в него нельзя будет дудеть.

А отсутствие позывного не позволит войскам подняться в атаку.

Видел ли Иосиф себя литературным «генералом», которым он стал неожиданно и, следует заметить, бессмысленно и беспощадно?

Едва ли, хотя, конечно, ощущение власти и собственной значимости, это не то искушение, от которого так легко отмахнуться – сломать саблю, выплюнуть мундштук и гордо покинуть поле боя. Особенно трудновыполнимо последнее – можно получить пулю в спину.

После двух лет проживания в Штатах Бродский признавался в двух вещах:

1 – Он по-прежнему ощущает себя здесь туристом.

2 – Ему так странно думать, что все, что он ни напишет, будет здесь напечатано.

Из книги Льва Лосева «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии»: «В Америке Бродский жил в трех городах: в Энн-Арборе, Нью-Йорке и Саут-Хедли. Энн-Арбор был его первым американским городом. Поначалу, после Ленинграда, а также Вены и Лондона, Энн-Арбор показался Бродскому захолустьем. Это ощущение отразилось в первых американских стихах о “скромном городке, гордящемся присутствием на карте”… А вот Саут-Хедли в штате Массачусетс, где Бродский начал преподавать и обзавелся жильем в 1981 году, городок действительно крошечный – несколько кварталов вокруг кампуса небольшого женского колледжа Маунт-Холиок. У Саут-Хедли было перед Энн-Арбором то преимущество, что оттуда два часа на машине до Нью-Йорка (а если не попадешься на глаза дорожной полиции, то полтора часа). Бродскому нравилась возможность убегать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк… В 1974 году Бродский снял квартиру в доме 44 на Мортон-стрит, там, где эта тихая боковая улица в западной части Гринвич-Виллидж, начинающаяся от Восьмой авеню, делает изгиб. Дальше, через два квартала, Мортон упирается в Гудзон. Этот типичный для жилых кварталов Нью-Йорка неширокий по фасаду трехэтажный краснокирпичный «таунхаус» принадлежал профессору Нью-Йоркского университета Эндрю Блейну. Сам Блейн, специалист по истории православия, неплохо говоривший по-русски, занимал нечто вроде флигеля во дворе, а квартиры предпочитал сдавать знакомым… С улицы квартира Бродского выглядела полуподвалом, но, так как двор был ниже уровня улицы, со двора это был первый этаж. Во дворе-садике, отделенном от и без того не шумных улиц домами, было тихо. Дверь из комнаты Бродского открывалась на небольшую мощеную террасу с садовым столиком. Начиная с теплых весенних дней и до ноября Бродский вытаскивал туда пишущую машинку. Для россиянина Нью-Йорк – южный город, как-никак по широте южнее Крыма. Обстановка в уютном дворе, куда бриз доносил запах моря, под лозами дикого винограда была почти средиземноморская. К тому же жилье

Бродского находилось на границе тех кварталов Гринвич-Виллидж, которые называются “Маленькой Италией”. Типично итальянские кафе “Реджио” и “Борджиа”, с их прекрасным крепким кофе-эспрессо, были на расстоянии нескольких кварталов… Он говорил, что все вместе – влажный ветер, плеск воды о деревянные сваи, старый обшарпанный корабль, кирпичные пакгаузы на берегу – напоминает ему его любимые ленинградские места на берегах Малой Невы и Невки. Хотя Гудзон шире, чем Большая Нева в самом широком месте, и совсем близко не мелководный залив, а океан».

Иосиф снимает телефонную трубку и набирает ленинградский номер.

Ожидание в виде длинных гудков, которое кажется бесконечностью, наконец прерывает голос отца. Он звучит из воображаемой глубины и советской дали глухо, и для этого приходится говорить громче, плотно прижимая трубку к губам, почти кричать:

– Папа, представляешь, вчера мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что мне нужно отсюда, из Гринвич-Виллиджа, отправиться куда-то на 120-ю или 130-ю улицу. И для этого мне надо сесть в метро. А когда я подхожу к метро, то вдруг вижу, что весь этот Бродвей – то есть отсюда, скажем, Гарлема или даже дальше – поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица внезапно превратилась в жуткий небоскреб. И поэтому метро перестает быть метро, а становится лифтом. И я поднимаюсь куда-то, ощущая при этом, что Бродвей становится на попа! Ты представляешь?

– Не очень, сынок, – доносится из телефонной трубки, – но это не важно.

– Потрясающее зрелище, папа, – Иосиф встает из кресла и продолжает говорить, расхаживая по небольшой мощеной террасе с садовым столиком, – а доехав таким образом до 120-й улицы, я выхожу из лифта на перекресток, как на лестничную площадку. Это был совершенно новый для меня масштаб сна, папа! При этом за Иосифом наблюдает кот, отдыхающий на подоконнике, который в квартире Бродского является его местом.

– Я очень рад за тебя, Иосиф, – отвечает Александр Иванович, пытаясь при этом вообразить себе подобную фантасмагорическую картину здесь, в Ленинграде. Нет, представить себе такое на Невском абсолютно невозможно, ведь тогда Адмиралтейство нависнет над Александро-Невской лаврой, или, наоборот, лавра

нависнет над Адмиралтейством, и обрушение станет неизбежным, что приведет к многочисленным жертвам среди населения и хаосу.

Потом отец и сын еще какое-то время говорят о разных мелочах, но образ вертикального города не идет из головы.

Кстати, подобный эпизод будет точь-в-точь воссоздан в картине Кристофера Нолана «Начало» (Inception) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Иосиф кладет трубку на рычаг, накидывает плащ и, закуривая на ходу, направляется на Гудзон, на старый пирс, что расположен в пяти минутах ходьбы от дома.

В это время года и суток тут пустынно.

В закатных сумерках здесь горят огни в иллюминаторах стоящего на вечном приколе крейсера времен Второй мировой войны, в котором нынче расположилась школа поваров, и потому на пирсе часто пахнет вареной кукурузой, креольским пловом и доходящим на гриле бифштексом.

Иосиф смотрит на это светящееся сооружение, некогда наводившее ужас на противника в водах Атлантики, и тут же представляет свою школу в Соляном переулке, которая когда-то, в прежней жизни – наводила ужас на него – смотрящего на этот пассажирский четырехпалубный паротурбоход «Советский Союз», построенный в Гамбурге в 1935 году и имевший название Albert Ballin.

Там, в «Советском Союзе», на верхней палубе за столом сидит секретарь парторганизации школы, историчка Лидия Васильевна Лисицына, известная тем, что при невыполнении домашнего задания учеником истошно орала на него – «вон из класса, слабоумный!», а орден Ленина, приколотый у нее на пиджаке (говорили, самим Андреем Александровичем Ждановым) начинал трястись, словно как от страха. Трепетал.

И это было абсурдом, потому что в школе учили, что Ленин ничего не боится.

Конечно, студенты боялись Бродского …

Его отсутствующего взгляда боялись.

Поджатых губ, когда он выслушивал очередную ахинею.

Язвительных комментариев и насмешек.

Его не очень хорошего английского, который, когда Иосиф начинал сердиться, становился совсем дурным.

Из воспоминаний Свена Биркертса, литературного критика, бывшего студента Иосифа Александровича Бродского: «Бродский был в одно и то же время худшим и самым живым и увлекательным изо всех моих учителей. Худшим, потому что он не делал ничего, совершенно ничего, чтобы наша встреча с

трудным поэтическим текстом стала приятной или, в обычном смысле, поучительной. Отчасти это происходило от его неопытности – прежде учить ему не приходилось, – отчасти потому, что его английский тогда еще оставлял желать лучшего. Но более всего это было выражением того, чем он был и что он понимал под поэзией. Поэзия не была чем-то, что можно "объяснить", усвоить и перемолоть в парафразе. По поводу чего можно сделать зарубку: постиг. Скорее, это была битва, в которую бросаешься полный страха и трепета, встреча лицом к лицу с самой материей языка. Такая встреча могла заколебать почву под нашими основными представлениями о бытии. Бродский выводил учеников, нас, на арену, но сражаться вместо нас он не собирался. В этом было что-то почти садистическое. По временам казалось, что нас окончательно разоблачили – не только наше невежество и банальность представлений о поэзии, но и то, как мы представляем себе мир вообще.

"Что вы об этом вот думаете?" – начинал он, указывая на стихотворение, которое было задано прочитать, Мандельштама или Ахматовой, или Монтале. В голосе Бродского в таких случаях слышалась (я не думаю, что мне это просто казалось) слегка скучающая, высокомерная интонация, но еще и, если процитировать его любимого Одена, который цитировал Сергея Дягилева, оттенок: "Удивите меня". Из-за этого каждому из нас хотелось сказать что-нибудь блестящее, заслужить высшую из похвал: "Замечательно!" Но обычно страх пересиливал. Вопрос был задан, и в классе нарастала тишина, глубокий осадок тишины. Как-то мы все-таки тащились вперед, даже сумели выработать какую-то форму товарищества, вроде как между однокамерниками, которая, странным образом, включала и самого Бродского. Это не значит, что он хоть на йоту ослаблял бдительность, требование адекватного отклика на то, что мы читаем. Но как-то он, несмотря на скучающие вздохи, включался в неадекватность наших коллективных стараний. Как это ему удавалось?

Изо дня в день Бродский приходил в класс с опозданием, когда все уж начинали нетерпеливо ерзать. Он мял в пальцах незажженную сигарету, давая тем самым понять, что предпочел бы нашей компании покурить где-нибудь в одиночестве. Затем, почти неизменно, слышался глубокий, громовой, с пристанываниием, вздох. Но все это было не без юмора. Минуту спустя крючконосая трагическая маска его лица начинала смягчаться. Он медленно оглядывал комнату, вбирая всех нас взглядом, улыбался, словно бы для того, чтобы дать нам понять, что на каком-то уровне он знает, каково нам приходится, как бы

прощая нам нашу заурядность.

Но вслед за этим он начинал опять неустанно месить язык. Строка Мандельштама, вопрос, молчание. И только когда молчание становилось невыносимым, вел он нас сквозь заросли звука и ассоциаций, с отступлениями, посвященными логике поэтического образа, краткими лекциями по этике высказывания, метафизике имен существительных, рифмам…

…Я уходил с этих встреч за семинарским столом с ощущением, что существуют невидимые силы, клубящиеся вокруг меня, вокруг всех нас, и что жизнь, которую я веду, была отрицанием их власти над моей жизнью».

Так, вероятно, и Иосиф брел из школы домой с ощущением того, что жизнь, которую он ведет, есть отрицание того, что происходило вокруг него – всех этих классных собраний, уроков, субботников, пионерских линеек в актовом зале, а еще венозного лица исторички, которым она, не двигая при этом ни единым мускулом, могла остановить толпу несущихся вниз по лестнице школяров.

Они останавливались и замирали в равнине школьного вестибюля, на кафельном полу, под сводчатым потолком, прячась по возможности за выкрашенные масляной краской колонны.

Тяжело дышали, конечно, но не могли пошевелить и рукой, чтобы вытереть со лба пот.

У Одена есть очень точное описание этого состояния, схожего с коллапсом или даже окоченением:

Я запросто себя воображу

На старость лет унылым попрошайкой

В питейном заведении в порту.

Я запросто представлю, как опять,

Подростком став, в углу кропаю вирши,

Чем непроизносимей, тем длинней.

Лишь одного не в силах допустить:

Не дай мне бог стать жителем равнины.

Чудовищно представить эту гладь —

Как будто дождь сровнял с землею горы, –

Лишь каменные фаллосы церквей

Ждут разрушенья, словно пробужденья.

Субстанция пологой пустоты,

Слепая полость в глиняном кувшине,

И гравий – как гранит или асфальт —

Бесполостью калечащий пространство.

Равнина в дельте реки Невы на самом деле является огромной заболоченной поймой, в которой государь император Петр Алексеевич I заложил город «назло надменному соседу».

Буфет на Балтийском вокзале и есть то питейное заведение, где может обретаться старый унылый попрошайка в куртке с нашивкой «Олимпиада-80» на рукаве.

Полуподвальная квартира на Мортон-стрит напоминает полуподвальную комнату, в которой Иосиф жил с матерью, бабушкой и дедом в эвакуации в Череповце.

Прогулки по Петроградке и Васильевскому острову есть подобие прогулок по «Маленькой Италии».

И, наконец, Гудзон можно сравнить с Финскими заливом в Комарово.

Иосиф возвращается домой уже затемно.

Тихо, чтобы не разбудить спящего на подоконнике кота, проходит к столу.

Он даже и не может предположить, что сейчас в Ленинграде отец все еще пытается представить себе сон своего сына, но у него ничего из этого не выходит, потому что он никогда не бывал в Нью-Йорке, да и в последнее время ему почему-то все время снится блокадный Ленинград, например, как он фотографировал рабочих Кировского завода во время ночной смены и экскурсоводов Эрмитажа за уборкой снега на Дворцовой площади.

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.

В эту пору – разгул Пинкертонам,

и себя настигаешь в любом естестве

по небрежности оттиска в оном.

За такие открытья не требуют мзды;

тишина по всему околотку…

Вот разве что с Гудзона доносится далекий надрывный гудок буксира.

Неужели это «Флягин»?

Коммос 2

В древнегреческой трагедии скорбный плач, который играет роль кульминации и одновременно финального обобщения.

Дос Пассос

Мария Моисеевна Вольперт любила повторять своему сыну, что вместо Доса Пассоса ему все-таки лучше читать русскую классику, Тургенева, например, «Записки охотника» или «Отцы и дети».

Иосиф отвечал: «Хорошо, мама», но все равно читал Джона Доса Пассоса.

Например, «42-ю параллель»:

«Мы катались на коньках на пруду возле заводов серебряных изделий;

от фабричной свалки возле пруда шел чудной свербящий запах

мыло из китовой ворвани

объяснил кто-то

им чистят серебряные ножи вилки и ложки.

Наводят на них блеск перед продажей.

На лед тоже будто навели блеск и первый черный лед чуть тронутый белыми царапинами от первых коньков звенел как пила.

Я никак не мог научиться бегать на коньках и все падал.

Берегись этого хулиганья предупреждали меня.

Эти чешские и польские мальчишки закладывают камни в снежки пишут на

стенах гадкие слова гадко ведут себя по закоулкам их родные работают на

фабриках.

А мы были чистенькие американские мальчики
корсары
умели обращаться с инструментами
следопыты
и играть в хоккей
бойскауты
и выписывать восьмерки на льду.
Я никак не мог научиться бегать на коньках и все падал».

Это случается, разумеется, нечасто, но иногда по берегам Гудзон замерзает, и тогда жители западной части Гринвич-Виллиджа вываливают на пирс, чтобы наблюдать это редкое природное явление. Одни (и их большинство) приходят с фляжками, из которых они потягивают виски (пронзительный ветер дует с Атлантики), другие берут с собой коньки.

Тут же переобуваются и бесстрашно встают на лед.

Смеются озорно.

Режут лед лезвиями.

Держатся за руки, держатся ближе к берегу, и лишь самые отчаянные уезжают далеко, к границе воды и льда, возвращаются, сохраняя на лицах восторг, даже экстаз от увиденного, кричат, но не в силах описать своих ощущений.

А потом вновь уезжают в опасную даль.

Иосиф наблюдает за происходящим с пирса и думает о том, что эта забава ему хорошо знакома еще с детства, когда он прогуливал школу и ходил на Фонтанку, где выбирался на лед, едва занесенный снегом, вставал на колени и пытался заглянуть сквозь него в черную глубину, где плавали рыбы.

Время года – зима. На границах спокойствие. Сны

переполнены чем-то замужним, как вязким вареньем.

И глаза праотца наблюдают за дрожью блесны,

торжествующей втуне победу над щучьим веленьем.

Хлопни оземь хвостом, и в морозной декабрьской мгле

ты увидишь опричь своего неприкрытого срама —

полумесяц плывет в запыленном оконном стекле

над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.

Куполов что голов, да и шпилей – что задранных ног.

Как за смертным порогом, где встречу друг другу

назначим…

Конечно, никаких рыб разглядеть он не мог.

Конечно, никому из собравшихся, в том числе из тех, кто в данный момент режет коньками лед, не приходит в голову задуматься над тем, что между пирсом и льдом, вмерзшим броненосцем времен Второй мировой войны и рыбами на глубине, конькобежцами и согревающимися на ледяном ветру виски, существует пространство и существует время.

Первое ограничено обстоятельствами и произволением каждого, второе не ограничено ничем, но тоже связано с произволением каждого.

Вот, например, девушка-фигуристка в полосатом свитере и вязаной шапке с помпоном, молодой парень в куртке-бомбере с нашивкой Los Angeles Lakers, или пожилая пара, для которой подобного рода зрелища не являются редкостью (зима 43-го, 56-го, 61-го, 68-го – было как вчера!), и они пришли сюда просто потому, что из года в год именно в это время и именно здесь совершают свой прогулочный моцион – все они относятся ко времени по-разному, и время тоже относится к ним по-разному.

Иосиф смотрит на них и думает об этом, ведь и он тоже имеет со временем свои счеты, а оно – с ним. Особенно, когда он перемещается по воздуху и по земле, совершенно не признавая никаких объективных законов, даже игнорируя их, подобно тому как сейчас игнорируют законы физики и здравого смысле те, кто доезжают на коньках до самой воды, где лед тонок, но инъекция адреналина (она же – свободы) пересиливает инстинкт самосохранения.

Постоянно быть на таком сильнодействующем препарате смертельно опасно, но об этом никто не думает, находя чувственное выше рассудочного, а сложное предпочтительней простого.

Из эссе Иосифа Бродского «Место не хуже любого»: «Чем больше путешествуешь, тем сложнее становится чувство ностальгии. Во сне, в зависимости от мании или ужина, или того и другого, либо преследуют нас, либо мы преследуем кого-то в закрученном лабиринте улиц, переулков и аллей, принадлежащих одновременно нескольким местам; мы в городе, которого нет на карте. Паническое беспомощное бегство, начинающееся чаще

всего в родном городе, вероятно, приведет нас под плохо освещенную арку города, в котором мы побывали в прошлом или позапрошлом году. Причем с такой неотвратимостью, что в конце концов наш путешественник всякий раз бессознательно прикидывает, насколько встретившаяся ему новая местность потенциально пригодна в качестве декорации к его ночному кошмару. Лучший способ оградить ваше подсознание от перегрузки – делать снимки: ваша камера, так сказать, – ваш громоотвод. Проявленные и напечатанные, незнакомые фасады и перспективы теряют свою мощную трехмерность и уже не представляются альтернативой вашей жизни. Однако мы не можем все время щелкать затвором, все время наводить на резкость, сжимая багаж, сумки с покупками, локоть супруги. И с особой мстительностью незнакомое трехмерное вторгается в чувства ни о чем не подозревающих простаков на вокзалах, автобусных остановках, в аэропортах, такси, на неспешной вечерней прогулке в ресторан или из него».

«Ограждением своего сознания от перегрузки» занимались, как правило, вместе с Барышниковым, с которым Иосиф познакомился осенью 1974 года.

Из воспоминаний Михаила Барышникова: «Сохранилось много фотографий, когда я снимал Иосифа, а он – меня. Помню, у него была хорошая камера. Nikon. Серьезная такая, камерка… С широкоугольником… когда мы шли гулять, то всегда брали две пленки. Одна пленка – он меня снимает, другая – я его снимаю… Он считал, что он больше фотограф, чем поэт… Он действительно любил фотографию и ценил ее. “Семейные карточки” – его выражение. “Вот это – настоящие карточки”, – он говорил… Я снимал. Иосиф говорил: “Эти карточки должны остаться на всю жизнь”».

С учетом того, что архив Бродского, согласно его воле, будет открыт только в 2046 году (через 50 лет после смерти Иосифа Александровича), словам великого танцовщика Михаила Николаевича Барышникова остается только верить.

И остается лишь предполагать, каковы были эти «настоящие карточки».

Иосиф на фоне кирпичной стены.

Барышников отражается в витрине магазина.

Иосиф закуривает рядом с телефонной будкой.

Барышников висит на турнике на спортивной площадке.

Иосиф стоит посреди пустой улицы с закрытыми глазами.

Барышников замер в позе танцующего сатира.

Иосиф изумленно смотрит на счетчик кадров на своем фотоаппарате.

Барышников указывает на номер дома – 36.
Вот и пленка закончилась, отснято 36 кадров.
Иосиф, конечно, чувствует разочарование:

… где еще, кроме разве что фотографии,

ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела,

глумлива?

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает

о своем бесправии.

Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Разумеется, он помнит ту старинную черно-белую фотографию, на которой Марина Басманова стоит на платформе Московского вокзала – длинные волосы, обрезанные ниже плеч, бледный, словно заснеженный лоб, настороженный и в то же время сосредоточенный взгляд, устремленный куда-то мимо объектива фотокамеры. Здесь она так напоминает Зару Леандер, которая своим низким, почти мужским голосом исполняла любимую песню Иосифа «Die Rose Von Nowgorod» на музыку итальянского композитора Нино Рота.

Тогда еще «Воркутинский» подавали на второй путь.

Разочарование, переходящее в обиду, обида – в гнев, гнев – в безразличие.

Свое последнее стихотворное послание МБ (Марине Басмановой) Бродский напишет в 1992 году, за четыре года до смерти.

Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне.

Зеркальце там не слыхало ни о какой царевне.

Речка тоже рябит; а земля в морщинах —

и думать забыла, поди, о своих мужчинах.

Там – одни пацаны. А от кого рожают,

знают лишь те, которые их сажают,

либо – никто, либо – в углу иконы.

И весною пахать выходят одни законы.

Езжай в деревню, подруга. В поле, тем паче в роще

в землю смотреть и одеваться проще.

Там у тебя одной на сто верст помада,

но вынимать ее все равно не надо…

Вполне возможно, что «Воркутинский» с Московского вокзала в те места и направлялся.

Иосиф Бродский: «Что роднит память с искусством, так это способность к отбору, вкус к детали. Лестное для искусства (особенно для прозы), для памяти это наблюдение должно показаться оскорбительным. Оскорбление, однако, вполне заслужено. Память содержит именно детали, а не полную картину сценки, если угодно, но не весь спектакль. Убеждение, что мы каким-то образом можем вспомнить все сразу, оптом, такое убеждение, позволяющее нам как виду продолжать существование, беспочвенно. Более всего память похожа на библиотеку в алфавитном беспорядке и без чьих-либо собраний сочинений…

Всякое сказанное слово требует какого-то продолжения. Продолжить можно по-разному: логически, фонетически, грамматически, в рифму. Так развивается язык, и если не логика, то фонетика указывает на то, что он требует себе развития. Ибо то, что сказано, никогда не конец, но край речи, за которым – благодаря существованию Времени – всегда нечто следует. И то, что следует, всегда интереснее уже сказанного – но уже не благодаря Времени, а скорее вопреки ему».

Детали, из которых складывается картина, которая решительным образом отличается от того, что было на самом деле, и тем более от того, что замышлялось. Именно по этой

причине подобного рода описание будоражит воображение, вдохновляет и требует продолжения. Рождается текст, что в какой-то момент начинает генерировать сам себя (заниматься самовоспроизводством), и остается лишь поддерживать градус состояния, не терять интонацию. Как утверждает Андрей Битов, «такой текст можно написать только в особом состоянии. Это внезапность, спонтанность, абсолютная связанность всех слов, текст, который невозможно в другом состоянии ни начать, ни закончить».

Однако быть постоянно в подобного рода возбуждении невозможно, как невозможно до бесконечности извлекать из себя воспоминания, слова, звуки, вычерпывать интонации, в противном же случае окончательная утрата связи с реальностью может привести к сумасшествию, которое, разумеется, для себя зачастую приходится именовать симуляцией сумасшествия, имитацией безумия.

Из воспоминаний Саши Соколова: «Меня отправили в Кащенко, в полубуйное отделение. Это была величайшая жизненная школа. Это фантастика! Это самое интересное и свободное заведение вообще в стране было, это вертеп, это невероятный живой театр, театр сумасшедших, где сто человек не имеют права находиться днем в палатах, и они вынуждены метаться только в длинном коридоре, туда-сюда, и ты можешь только остановиться, стоять у стены и просто наблюдать за этими людьми, за их лицами, за их речами. Какие речи! А сколько людей, которые находились там десятилетиями… пациенты с вялотекущей шизофренией. У меня вообще-то крепкая нервная система. Мне повезло… как всегда… Внутри любого, я думаю, нормального сумасшедшего дома есть группа лиц. Это так называемая секретная полиция, которая помогает врачам и сестрам держать все это заведение в порядке, то есть, в случае каких-то эксцессов, они подключаются. Могут повязать человека, чтобы ему, скажем, сделали укол, и тогда он затихнет надолго. И ко мне подошел, как я понял потом, знаменитый сумасшедший Миша Таланов. Представился, протянул руку и сказал – “Ну что, косим? Ты будешь с нами”. И он помог мне отменить уколы. Он взял шефство надо мной».

Подобный опыт для Иосифа оказался много менее плодотворным и жизнеутверждающим, нежели для автора «Школы для дураков».

Хотя поэма «Горбунов и Горчаков» в полной мере передала тот самый «невероятный живой театр, театр сумасшедших», о котором говорит Соколов, когда каждый из персонажей, будучи зацикленным на себе, составляет некий совершенно немыслимый

и апокалиптический хор.

«Огромный город в сумраке густом».

«Расчерченная школьная тетрадка».

«Стоит огромный сумасшедший дом».

«Как вакуум внутри миропорядка».

«Фасад скрывает выстуженный двор,

заваленный сугробами, дровами».

«Не есть ли это тоже разговор,

коль все это описано словами?»

«Здесь – люди, и сошедшие с ума

от ужасов – утробных и загробных».

«А сами люди? Именно сама

возможность называть себе подобных

людьми?» «Но выражение их глаз?

Конечности их? Головы и плечи?»

«Вещь, имя получившая, тотчас

становится немедля частью речи».

«И части тела?» «Именно они».

«А место это?» «Названо же домом».

«А дни?» «Поименованы же дни».

«О, все это становится Содомом…

Части тела и части речи переплетаются в сознании поэта, и

уже невозможно прервать эту череду видений, отделить одно от другого, например, сердечную боль от сердечной услады.

Инфарктика

13 декабря 1976 года в возрасте 36 лет Иосиф Александрович Бродский перенес обширный инфаркт миокарда и до конца года находился в кардиологическом отделении Пресвитерианского госпиталя Нью-Йорка, откуда был выписан с четкими рекомендациями и огромным списком таблеток для ежедневного приема.

Однако ни рекомендации, ни таблетки не помогли, что и понятно при том образе жизни, который вел пациент, и 5-го декабря 1978 года в том же Пресвитерианском госпитале Бродскому было произведено аортокоронарное шунтирование. Однако ровно через год Иосиф вновь оказался в госпитале в связи с недостаточностью кровообращения. После 12-дневного курса лечения он был выписан с еще более обширным списком препаратов, необходимых к употреблению, а также категорическим требованием – бросить курить. На последнее Бродский согласиться не мог в принципе.

Шведский филолог-русист, переводчик и издатель, друг Иосифа, Бенгт Янгфельд вспоминал: «Закурив, Бродский всегда следовал одному и тому же ритуалу: он откусывал фильтр своего “Кента” или “Честерфилда” и отшвыривал его указательным пальцем – у себя дома прямо в камин, иногда попадая, иногда нет. Зачем он покупал сигареты с фильтром, не совсем ясно. Несмотря на то что он прекрасно знал, как опасно для сердечника курение, он никогда не делал серьезных попыток бросить».

13 декабря 1985 года Бродский перенес второй инфаркт, а во время второго шунтирования, которое ему сделали две недели спустя, у него случился третий инфаркт прямо на операционном столе.

Из интервью Иосифа Бродского Соломону Волкову: «На самом деле все очень просто. Был инфаркт, после чего я два года кое-как мыкался. Состояние нисколько не улучшалось, а даже ухудшалось. Я, правда, тоже хорош – курил и так далее. И тогда врачи решили меня разрезать, поскольку они сделали всякие там анализы и убедились, что из четырех артерий, три – “но пасаран”, да? Совершенно забиты. И они решили приделать артерии в обход, в объезд. Вскрыли меня, как автомобиль. Все откачали – кровь, жидкость… В общем, операция была довольно-таки массивная. И, значит, они вставили три объездных, запасных пути. Развязки, если угодно. Но впоследствии выяснилось, что из

трех путей только два действуют как следует, а третий – смотрит в лес. И операцию эту пришлось повторить. И от этого всего жизнь временами чрезвычайно неуютна, а временами все нормально, как будто бы ничего и не происходит. А когда болит, тогда, действительно, страшно. Чрезвычайно неприятно. И делать ты ничего не можешь. И не то чтобы это был действительно страх… Потому что ко всему этому привыкаешь, в конце концов. И возникает такое ощущение, что когда ты прибудешь туда, то там будет написано – “Коля и Маша были здесь”. То есть ощущение, что ты там уже был, все это видел и знаешь. Но тем не менее болезнь эта несколько обескураживает. Выводит просто из строя».

Известно, что ишемическая болезнь сердца кроме постоянного физического страдания приносит больному и значительные испытания психического характера, вызывает тревогу, страх, ухудшает сон. Так, зачастую после бессонной ночи, проведенной в одиночестве в гостиничном номере, Иосиф был вынужден долго приходить в себя, и потому довольно часто запланированные мероприятия переносились или вообще отменялись.

Бенгт Янгфельд: «Он никогда не поднимал шума по поводу своей болезни; он скорее пытался говорить о ней поменьше. Но болезнь все время давала о себе знать. Однажды… позвонив ему в Рим, я расслышал в его голосе зловещую тревогу. Он жаловался на боли в груди. Он был один в номере. На мой вопрос, почему он не вызвал доктора, он ответил, что не доверяет итальянским врачам. Мы созванивались несколько раз за вечер, но, несмотря на боль, он не мог себя заставить связаться с врачом. В конце концов он сдался и разрешил себя обследовать. Потом осыпал врача комплиментами: врач оказался что надо, он был совершенно замечательный, и теперь Иосиф чувствовал себя лучше. Консультация смягчила его тревогу».

В марте 1987 года Бродскому была произведена коронарная ангиопластика (хирургическая процедура по расширению суженых сосудов сердца). Однако самочувствие пациента не улучшилось, и уже к 1988–1989 годам, по свидетельству лечащих врачей, да и самого Иосифа, из-за острых болей за грудиной он порой мог пройти лишь несколько сотен метров и только с нитроглицерином, медленно и с частыми остановками.

Летом 1988 года Бродского проконсультировал видный шведский кардиолог, профессор Юхан Карнелл, который сразу понял, что требовать от Бродского отказаться от курения бесполезно, и потому уделил большее внимание психосоматике пациента, иначе говоря, его психологическому настрою,

достигнув при этом впоследствии некоторых позитивных результатов.

Свое состояние в те годы Иосиф с печальной усмешкой определял одним словом – инфарктика.

С 1988-го по 1993 год Бродский находился в более или менее стабильном состоянии. Однако зимой 1994 года он был госпитализирован с диагнозом «unstable angina» – нестабильная стенокардия.

Бенгт Янгфельд вспоминал: «Летом 1994-го его самочувствие вновь стало получше, хоть он и жаловался, что множество лекарств, которые он принимал, “изменили его личность”. Когда мы встретились в последний раз в Нью-Йорке весной 1995 года, он уже двигался с трудом. За короткое расстояние от китайского ресторана до машины боли в сердце заставляли его несколько раз останавливаться, чтобы перевести дух.

Поскольку третье шунтирование исключалось по медицинским причинам, оставался выбор – или пересадка сердца, или оставить все как есть. В любом случае было категорически необходимо бросить курить. А чтобы сделать трансплантацию, надо было подписать бумагу, что он знает о риске, связанном с такой операцией. Но на это ему было трудно решиться. “Говорят, что смертность – 11,3 процента, но для тех, кто попадет в этот процент, он все 100”, – сказал мне Иосиф. А даже если и выживет – он боялся, что превратится в инвалида в коляске. “Ковбоями” называл он этих врачей-технарей, которые не понимают, что значит носить чужое сердце.

Время шло, а Иосиф все не мог решиться ни на трансплантацию, ни на то, чтобы бросить курить. Было что-то роковое в этой нерешительности, которая ведет к смерти, – он прекрасно всё понимал, но парадоксальным образом видел в этой нерешительности и признак жизни. “У меня было три инфаркта, я сделал одну ангиопластику, – отмечает он в поздней записи (по-английски). – Очевидно, что я кончаюсь. Тем не менее меня постигает странная бездумность, как только начинаю обдумывать меры, которые должен предпринять, чтобы отодвинуть, если не избежать вообще (и я знаю разницу между отодвинуть и избежать) неизбежное. И эта бездумность есть, мне кажется, голос неизбежного. Она позволяет мне жить, существовать изо дня в день; эта бездумность могла бы даже приниматься, неправильно приниматься, за жизнь как таковую”».

«Странная бездумность» как тотальное несовпадение времени внутри и извне.

Казалось бы, возможности предоставлены – пересадка сердца, необходимость строго соблюдать режим, гарантии ведущих

кардиологов мира. Возможности впечатляющие! Но при это есть неизбывный страх измененного сознания, боязнь перестать быть сами собой, превратившись в последнее достижение медицинской науки, и самое главное, ужас утраты собственного пространства и времени, сделавшись при этом заложником чужого сердца.

Таким образом, «странная бездумность» не столь уж и странна, хотя с точки зрения обывательского здравомыслия предумышленное приближение собственной смерти (непротивление ему) выглядит по меньшей мере странно, если не безумно.

Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков (1812–1891) любил повторять, что испытывать постоянное недомогание и болеть полезно для истончения души и внутреннего аскетизма.

Едва ли Иосиф знал об этих словах подвижника из Оптиной Введенской пустыни, собеседника Толстого и Достоевского, но интуитивно находил собственную болезнь средоточием чего-то очень личного, доступного только ему одному и необходимого. Конечно, по мере бесконечных госпитализаций, операций и обследований это внутреннее пространство сжималось все более и более, а расстояние между руками и водной гладью Невы у Адмиралтейской набережной все более и более сокращалось.

Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини.

Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани.

За твоею спиной умолкает в кустах беготня.

Мне пора уходить. Ты останешься после меня.

До свиданья, стена. Я пошел. Пусть приснятся кусты.

Вдоль уснувших больниц. Освещенный луной. Как и ты.

Постараюсь навек сохранить этот вечер в груди.

Не сердись на меня. Нужно что-то иметь позади…

27 января 1996 года Михаил Николаевич Барышников отмечал свое 48-летие в Майами. Ближе к вечеру раздался телефонный звонок, это звонил Иосиф с поздравлениями. Договорились встретиться, как только Барышников вернется в

Нью-Йорк.

Потом Бродский спустился к гостям. В тот вечер у него были пианистка и музыкальный педагог Елизавета Леонская и Александр Сумеркин, переводчик, редактор. За разговорами о поэзии и музыке засиделись допоздна.

После того, как супруга Иосифа, Мария Соццани, проводила гостей, Бродский вновь поднялся к себе в кабинет, чтобы приготовить книги и рукописи для завтрашней поездки в Саут-Хедли.

Но эта поездка не состоялась, потому что в ночь с 27 на 28 января Иосиф Александрович Бродский умер.

Утро 28 января 1996 года

– Мы очень сожалеем о случившемся, но просим вас сконцентрироваться и подробно рассказать о том, что произошло в ночь с 27 на 28 января 1996 года.

– Мне очень трудно сейчас говорить об этом.

– Мы приносим вам свои искренние соболезнования, но нам необходимо соблюсти процедуру и по возможности восстановить ход всех событий этой печальной ночи.

– Хорошо, я постараюсь, но мне очень тяжело, я могу ошибаться.

– Ничего страшного, мы слушаем вас.

– В субботу вечером у нас были гости, а после их ухода Иосиф собирал рукописи и книги, потому что готовился к началу семестра.

– Пожалуйста, назовите имена ваших гостей.

– Елизавета Леонская и Александр Сумеркин.

– Они русские?

– Да.

– В их поведении не было ничего необычного, подозрительного? Как вам показалось?

– Нет, все было как всегда, мы беседовали о поэзии, Иосиф читал стихи, а потом они ушли.

– В котором часу?

– Точно не могу сказать, может быть, в половине первого, или около того…

– Хорошо, что было дальше?

– Иосиф сказал, что ему нужно еще поработать, он пожелал мне спокойной ночи и поднялся к себе в кабинет.

– Как себя чувствовал господин Бродский?

– А как себя может чувствовать человек, перенесший столько инфарктов?

– Простите за нетактичный вопрос, мэм, но я имею в виду его душевное состояние вчера.

– Он выглядел усталым, очень усталым…

– Понятно, что было потом?

– А потом я обнаружила его только утром, мне невыносимо тяжело об этом вспоминать…

– Вы слышали ночью какой-то шум?

– Нет.

– Нет – вы его не слышали, или этого шума не было?

– Я не слышала, я спала.

– Мы понимаем, что вам трудно, но просим вас подробно рассказать о том, что вы увидели, когда утром вошли в кабинет господина Бродского. Это очень важно.

– Хорошо.

– Во сколько вы увидели тело господина Бродского?

– В девять утра, я поднялась к нему в девять часов утра. Иосиф лежал на полу. Он был полностью одет.

– Значит, он не ложился спать, не собирался ложиться.

– Получается, что так.

– Скажите, как он лежал лицом – вниз или вверх?

– Не могу точно сказать, кажется, лицом вверх, а его очки лежали на столе рядом с книгой. Он улыбался.

– Что это была за книга?

– Греческие эпиграммы.

– Прибывший на место происшествия утром 28 января наряд полиции показал, что тело господина Бродского лежало лицом вниз, а его очки разбились. Как бы вы это могли объяснить?

– Не знаю…

– Вы переворачивали тело до приезда полиции?

– Нет… я не помню… это ужасно…

– Мы сочувствуем вам, но еще один очень важный вопрос – ночью 27 января господин Бродский совершал телефонные звонки кому-либо?

– Нет, не совершал.

– А мы располагаем информацией, что господин Бродский звонил господину Барышникову. Что вы знаете об этом звонке?

– Да-да, он звонил Барышникову в Майами, у него вчера был день рождения.

– И господин Барышников может это подтвердить?

– Наверно, может! Я не знаю, что он может, а что не может… Пожалуйста, оставьте меня в покое! Я сказала вам все, что смогла вспомнить! Мне очень тяжело сейчас, вы это можете понять?

– Конечно, мэм, конечно, можем. Но мы всего лишь делаем свою работу.

Все это время за происходящим своим немигающим взглядом наблюдает расположившийся на подоконнике кот Миссисипи.

Когда же следственные мероприятия наконец заканчиваются и Миссисипи остается в комнате один, он закрывает лапами глаза и так долго неподвижно лежит. Ему кажется, что этот день уже закончился, и наступила ночь.

Так с зарытыми лапами глазами он напоминает кота Василия из плацкартного вагона поезда Ленинград – Коноша.

Неужели такое совпадение возможно? Конечно, нет, потому что никакого кота Василия в том вагоне не было, а была всего лишь обычная темно-серая ушанка с кокардой офицера внутренних войск.

Эксод

В древнегреческом театре заключительная часть трагедии, которая сопровождается торжественным уходом актеров и хора с орхестры.

Представление

Хор размещается на подиуме полукругом таким образом, что правое и левое полухорие как бы нависают над орхестрой, которая выдается в зрительный зал более чем на десять саженей.

Один за другим действующие лица медленно выходят из-за кулис и занимают места на проскении – прямоугольной площадке, что возвышается над орхестрой.

Свет в зрительном зале постепенно гаснет.

Освещенными остаются только центр орхестры, правое и левое полухория, а также рампа проскения, причем таким образом, что мы можем разглядеть только маски на лицах стоящих на сцене актеров.

Это маски простых смертных, героев, богов, теней, видений, мифологических чудовищ, циклопов, сатиров, фавнов, а также маски горя и радости, ужаса и восхищения.

И вот раздаются звуки авлоса – двойной свирели. Они приходят откуда-то из-за кулис, постепенно набирая силу звучания, рождая напряжение, предчувствие начала сценического действа.

Словно улавливая эти звуки увертюры, хор начинает раскачиваться вместе с ними, овевая своим движением орхестру, выдыхая низкий непрерывный звук, более походящий на гудение морской раковины, когда ее прикладываешь к уху.

Музыка затихает, и представление начинается.

Актеры поочередно убирают маски и открывают свои лица.

Мы, конечно, узнаем их.

Даниил Гранин:

Эта местность мне знакома, как окраина Китая!

Александр Прокофьев:

Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо тела
Многоточие шинели. Вместо мозга – запятая.
Вместо горла – темный вечер. Вместо буркал – знак деленья.

Правое полухорие:

«А почем та радиола?»
«Кто такой Савонарола?»
«Вероятно, сокращенье».
«Где сортир, прошу прощенья?»

(на орхестру выходит Михаил Барышников в образе Пушкина и исполняет танец, на голове у него надет летный шлем)

Сергей Довлатов:

В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.
И нарезанные косо, как полтавская, колеса
с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника жиром.
оживляют скатерть снега, полустанки и развилки
обдавая содержимым опрокинутой бутылки.

Левое полухорие:

«Жизнь – она как лотерея».
«Вышла замуж за еврея».
«Довели страну до ручки».
«Дай червонец до получки».

(на орхестру в образе Николая Васильевича Гоголя выходит Владимир Британишский, на его голове надета бескозырка. Он читает: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах».

Андрей Битов:

В продуктовом – кот наплакал; бродят крысы, бакалея.
Пряча твердый рог в каракуль, некто в брюках из барана.
превращается в тирана на трибуне мавзолея.

Правое и левое полухорие вместе:

«Говорят, открылся Пленум».
«Врезал ей меж глаз поленом».
«Над арабской мирной хатой
гордо реет жид пархатый».

(на орхестру в образе Льва Толстого, облаченного в пижаму, выходит Сергей Михалков)

Александр Уманский:

По Европе бродят нары в тщетных поисках параши,
натыкаясь повсеместно на застенчивое быдло.
Размышляя о причале, по волнам плывет «Аврора»,
чтобы выпалить в начале непрерывного террора.

Правое полухорие:

«Где яйцо, там – сковородка».
«Говорят, что скоро водка
снова будет по рублю».
«Мам, я папу не люблю».

(в образе Заграницы на орхестру спускается Кэрол Аншютц, о которой сказано в либретто – «Входит с криком Заграница, с запрещенным Полушарьем и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен. Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем, придирается к закону, кипятится из-за пошлин, восклицая: «Как живете!» И смущают глянцем плоти Рафаэль с Буонарроти – ни черта на обороте».

Кэрол Аншютц:

Как живете?

Василий Аксенов:

Мы кайфуем!

Хор:

Пролетарии всех стран
Маршируют в ресторан!

(на орхестре появляется Иосиф Джугашвили, в зрительном зале тут же воцаряется паника, испуг, оцепенение, персонаж во френче долго ходит в молчании, заложив руки за спину, он пристально вглядывается в темноту, как будто кого-то выискивает, и при этом абсолютно невозможно понять, кто исполняет эту роль)

Джугашвили:

Лаврентий, ты где?

Голос из-за сцены:

Я тут!

Евгений Евтушенко:

Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку,
и дымящаяся трубка… Так, по мысли режиссера,
и погиб Отец Народов, в день выкуривавший пачку.
И стоят хребты Кавказа как в почетном карауле.
Из коричневого глаза бьет ключом Напареули.

Левое полухорие:

«Мне – бифштекс по-режиссерски».
«Бурлаки в Североморске
тянут крейсер бечевой,

исхудав от лучевой».

(наконец Иосиф Джугашвили удаляется с орхестры, и его место занимает Саша Соколов в образе Мыслей о Грядущем, он облачен в гимнастерку цвета хаки, резиновые сапоги, на плече у него висит охотничье ружье)

Екатерина Савельева, судья:

Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядом.

Они пляшут и танцуют: «Мы вояки-забияки!

Русский с немцем лягут рядом; например, под Сталинградом».

И, как вдовые Матрены, глухо воют циклотроны.

В Министерстве обороны громко каркают вороны.

Правое полухорие:

«Ляжем в гроб, хоть час не пробил!»

«Это – сука или кобель?»

«Склока следствия с причиной

прекращается с кончиной».

(на орхестре появляется Солженицын, которого зал встречает долгими и продолжительными аплодисментами, когда же наконец овация заканчивается, персонаж возглашает)

Солженицын:

«Теперь я – главный.

У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.

Дайте мне перекреститься, а не то – в лицо ударю».

(после этих слов все сразу приходит в движение, на орхестре появляется строй пионеров – «кто – с моделью из фанеры, кто – с написанным вручную содержательным доносом», строй пионеров возглавляет историчка Лидия Лисицына, милиционер, что размахивает руками и кричит – «хватит», пограничники, многолюдные еврейские семьи с чемоданами и прочим барахлом, комсомольцы с лозунгами – «убирайтесь в свой Израиль!», футболисты ленинградского «Зенита», а также Мысли о Минувшем, которые изображают Рудольф Нуреев и Михаил Барышников)

Лидия Лисицына (кричит):

Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену!

Голос из-за сцены:

Я тут!

Правое и левое полухорие вместе:

«От любви бывают дети.

Ты теперь один на свете.

Помнишь песню, что, бывало,

я в потемках напевала?

Это – кошка, это – мышка.

Это – лагерь, это – вышка.
Это – время тихой сапой
убивает маму с папой».

(постепенно шум затихает, и все актеры замирают в различных позах, словно каменеют в детской игре «море волнуется раз», а на орхестру с проскении спускается Иосиф Бродский)

Согласно дресс-коду White Tie он облачен в черный фрак с белым платком в левом нагрудном кармане и белый галстук-бабочку. Под фрак надет белый жилет на трех пуговицах, которые застегнуты.

Иосиф кланяется актерам, затем он поворачивается и кланяется зрителям.

Бродский:

Входишь в спальню – вот те на:
на подушке – ордена…

(эти слова Иосифа зрительный зал и стоящие на орхестре актеры встречают бурной овацией, к Бродскому подходит король Швеции Карл XVI Густав и вручает ему Нобелевскую премию по литературе в размере 340 тысяч долларов)

Карл XVI Густав:

Joseph Brodsky!

(свет в зрительном зале вспыхивает)

Хор:

Никто никогда не знает, что боги готовят смертным.

Они способны на все: и одарить несметным,

и отобрать последнее, точно за неуплату.

оставив нам только разум, чтоб ощущать утрату.

Многоязыки боги, но с ними не договориться.

Не подступиться к ним, и от них не скрыться:

боги не различают между дурными снами

и нестерпимой явью.

И связываются с нами.

Именно так эта сцена и описана в Прологе и Хорах из трагедии Еврипида «Медея».

Остров мертвых

Известно, что перед тем, как быть сфотографированным на память о вручении Нобелевской премии, Иосиф очень волновался и очень хотел курить. Подготовка к этому мероприятию шла по-шведски обстоятельно – фотограф неспешно заряжал Hasselblad, ставил свет, замерял экспозицию, наконец, собирал всех, кто обязательно должен присутствовать в кадре, а быстро это сделать, разумеется, не получалось. И все это время надо было бессмысленно стоять на одном месте.

Иосиф томился, и в конце концов не выдержал и сбежал.

Сказал, что не очень хорошо себя чувствует и хочет подышать свежим воздухом.

Вышел на декабрьский мороз и вдохнул балтийского холода полной грудью.

Закурил, конечно, сразу и почувствовал себя лучше.

Окунулся с удовольствием в табачным дым.

Иосиф Бродский: «Человек принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям: чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтоб запечатлеть душевное состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить – как он думает в эту минуту – след на земле.

Он прибегает к этой форме – к стихотворению – по соображениям, скорее всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, – немедленное последствие этого предприятия – ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее – ощущение немедленного впадения в зависимость от оного, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено…

Зависимость эта – абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает».

И вот сейчас, когда Иосиф смотрит в морозное небо над Стокгольмом, которое в той же степени сейчас морозно и над Ленинградом, воспоминания совершенно перестают быть таковыми, становясь явью, для которой нет ни времени, ни

пространства, ни огрехов памяти.

Вот, например, в парадном на улице Глинки сверху раздается хлопок открывшейся двери, и тут же приглушенные голоса скатываются эхом вниз по лестнице, по перилам, теряются в каменных закутах и альковах.

Дверь захлопывается.

– Молодой человек, вы опять курите на нашем этаже! Немедленно прекратите, иначе я вызову милицию! – Иосиф оборачивается: перед ним стоит пожилая, благообразного обличия женщина в надвинутой на глаза мохнатой мохеровой шапке, безразмерном болоньевом плаще и резиновых ботах, приобретенных, скорее всего, на «Красном треугольнике».

– Вы меня слышите, молодой человек? Немедленно прекратите!

Иосиф нехотя сползает с подоконника и, не говоря ни слова, выходит из парадного на улицу.

Вдогонку он слышит:

– Это просто возмутительно!

С Крюкова канала тянет ледяной сыростью, а пронизывающий ветер играет с зазвонными колоколами Николы Морского.

Небо зажато между крышами доходных домов.

На сквозняке бьются незакрытые форточки.

Иосиф видит, что чердачное окно в доме напротив отворено.

Чердачное окно отворено.

Я выглянул в чердачное окно.

Мне подоконник врезался в живот.

Под облаками кувыркался голубь.

Над облаками синий небосвод не потолок напоминал,

а прорубь.

В проруби плавают рыбы.

Мать рассказывала, как до эвакуации она ходила на Неву, где из такой же проруби черпала кастрюлей воду, потому что водопровод уже не работал.

Еще один, последний глоток ледяного воздуха вперемешку с табачным дымом, и Бродский возвращается в зал.

Его потеряли, его обступают со всех сторон, просят

сфотографироваться, он улыбается, он благосклонен, и чествование продолжается.

При этом Иосиф оборачивается и смотрит на уже пустую сцену, где еще совсем недавно в течение 29 мин 57 секунд совершалось сценическое действо по мотивам его стихотворения «Представление», поводит плечами в недоумении – неужели все это было на самом деле?

Иосиф Бродский: «А что касается этого зала, я думаю, всего несколько часов назад он пустовал и вновь опустеет несколько часов спустя. Наше присутствие в нем, мое в особенности, совершенно случайно с точки зрения стен. Вообще, с точки зрения пространства, любое присутствие в нем случайно, если оно не обладает неизменной – и, как правило, неодушевленной – особенностью пейзажа: скажем, морены, вершины холма, излучины реки. И именно появление чего-то или кого-то непредсказуемого внутри пространства, вполне привыкшего к своему содержимому, создает ощущение события».

Привыкание к пространству наступает в тот момент, когда становится ясно, что оно конечно, и ничто нельзя повторить, изменить. Стало быть, уже поздно, и представление окончено. Остается лишь уповать на время, но это весьма слабое упование и довольно мерцающая надежда. Конечно, можно идти по набережным Невы или венецианских каналов, обгонять течение-время, отставать от него, быть с ним наравне, даже оказываться на его поверхности. Такой вариант, разумеется, существует, но устроит он далеко не всех, что и понятно – на воде сыро, на воде укачивает (морская болезнь), постоянно кричат прожорливые чайки, тут под ногами отсутствует твердая почва, и горизонт подвижен, в смысле завален, опять же велика опасность стать добычей описанного праведным Иовом левиафана.

Из эссе Иосифа Бродского «Набережная Неисцелимых»: «В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, нёбо, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней – палуба – у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыться, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Возможно, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, – это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие

другого человека обостряется, словно усиленное общей – и взаимной – опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньше, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя разошлись самое меньшее на сорок пять градусов. Вероятнее всего, потому, что эта часть Canal Grande лучше освещена».

Вапоретто (морской трамвай) отходит от пристани Венеция Мурано и берет курс на остров Сан-Микеле, более известный как Остров мертвых.

Здесь похоронены Паунд и Дягилев, Стравинский и Доплер.

Ветер отсутствует.

Переход Стикса занимает не более десяти минут.

Тогда, в 1943 году, переход Шексны занимал значительно больше времени.

Или это только казалось трехлетнему Иосифу?

Старик в плаще греб из последних сил, и лица его было не разглядеть.

Вода стояла вровень с бортами лодки.

Спрашивал: «Мама, скоро мы будем тонуть?»

А на причале уже стоял хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА как в античной трагедии. Лица их были напряжены, словно скованны судорогой. Они ждали команды…

Хотя нет, не было там никакого хора, была только охрана НКВД с собаками.

Собаки рвались с поводков, но мать никого не боялась. Она брала Иосифа на руки, выходила из лодки и, ни на кого не обращая внимания, шла к бараку лагерной администрации.

И все вежливо расступались перед ней, а некоторые даже и кланялись.

Примечания

1

Председатели Правления СП СССР в то время.

Вернуться

2

С 1964 года назначен 1-м заместителем начальника Управления КГБ по Ленинградской области.

Вернуться

3

Из эссе И.А. Бродского «Меньше единицы».

Вернуться